ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12] 2003

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "УСНУТЬ И ВИДЕТЬ СНЫ...": РАССКАЗЫ И ЭССЕ ЭНЖЕ КАЙУА, ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ, РАМОНА ГОМЕСА ДЕ ЛА СЕРНЫ, ГРЭМА ГРИНА, АНТОНИО ТАБУККИ, ЖОРЖА ПЕРЕКА, ДЕЛМОРА ШВАРЦА И ЭТЬЕНА ДЕ БЕРНЬЕРА / СТИХИ АНХЕЛЯ ГОНСАЛЕСА И ЛУИСА АРМЕНТЫ МАЛЬПИКИ / "ПРИВИДЕВШИЕСЯ РАССКАЗЫ" ИВА БОНФУА

Основан в 1891 году

[12]
2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Ив Бонфуа. *Привидевшиеся рассказы.* Перевод с французского Марка Гринберга. Вступление Бориса Дубина

12 Анхель Гонсалес. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

20 Дон Делилло. *Мао* II. Роман. [Окончание.] Перевод с английского С. Силаковой

121 Луис Армента Мальпика. *За спиной Бога.* Фрагменты поэмы. Перевод с испанского А. Щетникова

Литературный гид "Уснуть и видеть сны..."

127 Роже Кайуа. *Чары и проблемы снов.* Перевод с французского С. Зенкина

151 Татьяна Толстая. *Зверотур.* Эссе.

161 Рамон Гомес де ла Серна. *Новая теория сновидений.* Эссе. Перевод с испанского Е. Матерновской

163 Грэм Грин. *Мой Собственный Мир.* Фрагменты книги. Перевод с английского Е. Зиминой

188 Антонио Табукки. *Сны о снах.* Главы из книги. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой

202 Жорж Перек. *Темная лавочка.* Фрагменты книги. Перевод с французского Ирины Радченко. Вступление Бориса Дубина. Роже Бастид. Послесловие к французскому изданию

235 Делмор Шварц. *Сны порождают обязательства.* Рассказ. Перевод с английского Л. Беспаловой

241 Луи де Берньер. *Клад Мамаситы.* Рассказ. Перевод с английского Ильи Кормильцева

249 Мария Горбачева. Жизнь есть сон...

Наша почта 253 *"There was a Young Lady of Russia" Эдварда Лира*

Курьер "ИЛ" 255

Авторы номера 258

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2003 год [1—12] 262

Анкета + Чайнворд 269

© "Иностранная литература", 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ив Бонфуа

Привидевшиеся рассказы

Перевод с французского Марка Гринберга

Следующие ниже строки — не попытка ввести обширное и продолжающее расти наследие Ива Бонфуа в круг чтения моих соотечественников и современников: написанное им слишком многомерно, непросто для понимания, да и все-таки уже сравнительно неплохо, пусть пока еще в отдельных частях, известно читающим по-русски. То, что я хочу сказать — даже не традиционное для журнала пояснительное вступление к публикации двух новых переводов Марка Гринберга, которому российские читатели последнего десятилетия обязаны все более глубоким знакомством со стихами, прозой и эссеистикой французского поэта. Это всего лишь — условно приуроченное к юбилею Бонфуа — краткое выражение моей благодарности "далекому другу" (решаюсь употребить эти ответственные слова, поскольку ими не раз пользовался сам автор, надписывая и передавая мне свои книги).

Читатель может спросить: благодарности — за что? На подобный вопрос мне ответить нетрудно, я как раз и думаю это сделать. И начну с того, что, пожалуй, не могу назвать в современной словесности, насколько о ней осведомлен, другую фигуру, которая бы с такой живой полнотой, как Ив Бонфуа, олицетворяла сегодня дело и место поэта. Поэта в том смысле — цитирую здесь речь Бонфуа памяти Борхеса, — "в каком его понимал Кьеркегор, а именно как человека, который на жизненном пути одержимо стремится к пределам этического и религиозного, всегда остающимся вдали". Так понятая — и очень рано! — задача сделала и делает Бонфуа сегодня поэтом собирания смысла, а не его рассеивания и расточения (об отрицании, больше того — поругании любой осмысленности у иных нынешних литераторов сейчас не говорю). Смысл речи, смысл имен, данных вещам, а стало быть, и смысл работы поэта-именователя для Бонфуа — предел, а не произвол, символический горизонт, а не виртуальный фантазм. "Символы — это вещи и слова, обладающие смыслом, потому что сведены в одно, — настаивает

© William Blake & Co. Edit, 2001
© М. Гринберг. Перевод, 2003
© Б. Дубин. Вступление, 2003

французский поэт в эссе, посвященном Рильке. — Бодлеровские "живые колонны" места, выстроенного сознанием, самодостаточные первоэлементы мира — вот она, перед нами, явь, для бытия которой не нужно никакой материи. <...> В этом согласии сознания с местом на земле уже есть пространство для другого. А значит, наша связь с миром больше не замкнута, она в силах шириться и расти".

"Место" здесь — слово для Бонфуа не случайное. Больше того — это одно из его главных, несущих слов. "Потребность в образах", как он сам, вслед, опять-таки за Бодлером, определяет свою творческую тягу, всегда разворачивается у него как поиск места, а оно, предельно конкретное, вместе с тем предстает местожительством в мире, "испытанием нашей принадлежности земле" (об этом написана автобиографическая повесть-эссе "Внутренняя область", может быть, самая важная книга французского мастера). Отсюда картинность, архитектурность стихов и прозы Бонфуа, их связь с дорогой, улицей, путешествием, символика процессий, проплываний, облетов в его творчестве; не упоминаю уж о многочисленных трудах поэта, напрямую посвященных пейзажной живописи, скульптуре и архитектуре Ренессанса, барокко и Нового времени.

Казалось бы, место (почва, камень, дом) — это опора творческой мысли, а живопись, тем более скульптура, архитектура — твердыня поэтического воображения. Как бы не так! В сквозном метафорическом мотиве места — характерная для Бонфуа неустранимая двойственность художественного сознания, поэтической речи. Не зря все шествия и странствия, которыми живут его стихи и проза, как правило, разворачиваются во сне (так сложился у него и созданный им жанр "привидевшихся рассказов", к которым примыкают миниатюры, публикуемые ниже). Он помнит про хрупкость, даже предательскую зыбкость мраморного изваяния, живописного контура, поэтического слова. И не забывает: "Пейзаж в искусстве возникает с первой обеспокоенностью нашего сознания метафизикой, когда его вдруг начинает волновать движущаяся тень, которая падает от предметов".

Однако и при этом — вернее, именно при этом, в этой своей неутолимости! — работа поэтического разума направлена у Бонфуа на то, что *есть*, на сущее, каким бы невероятным оно ни представало ("Посвящаю эту книгу невероятному, то есть сущему", — так открывался первый сборник эссеистики поэта), а не на то, чего *нет*, что кому-то кажется потерянным, но только потому и значимо, только этой призрачностью и существует. Скажу иначе и короче: французским поэтом движет надежда, а не ностальгия. Бонфуа, говоря опять-таки его же словами, стремится "воссоздать образ единственной и неповторимой жизни, ее след в исторической реальности". Но ни на миг не упускает из виду, не скрывает от себя и собеседника тот драматический для художника факт, что "*сущее* превосходит любой вымысел. Равно как любой вымысел, поскольку об этом забывают, таит в себе вину".

Откуда здесь вина? Она для Бонфуа входит в само существо искусства, в том числе — словесного искусства, писательского самоопределения. "Письмо, — подчеркивает Бонфуа, — отменяет реальность окружающих нас существ в их собственном времени и месте. Мы подрываем абсолют, который должны были почитать и любить, — ту единственную реальность, на которой стоит любовь. Говоря кратко, вымыслы предают явь". Сознанием невозможности раз и навсегда примирить слово с явью (но не любованием, не упоением этой своей "слабостью"!) отмечено все, что пишет Бонфуа. Поэтому, среди прочего, и женские, детские образы, часто связанные у поэта с символикой места, картины, дороги, — это не островки беззаботности и умиротворения, а источники неуспокоенности, побудители к дальнейшему пути. Словом Ива Бонфуа движет не мораль непоколебимых ответов, а этика неустанного вопрошания.

Борис Дубин

Америка

I

Я жил тогда в маленьком доме, который стоял чуть в стороне от других таких же домиков на песчаном холме, поросшем невысокой ярко-зеленой травой. Каждый день рано утром я выходил из дома и направлялся к ближайшему кафе: оно виднелось примерно в километре, от силы в полутора, за большой дорогой, тянувшейся вдоль Тихого океана на некотором расстоянии от берега. Мне нравилось смотреть на машины, катившие в глубокой тишине по ленте дороги, у дальнего края пустынного поля, вглядываться в окна кафе, где по-прежнему, хотя кругом уже разливался красивый золотистый свет здешней зари, горели ночные лампы. Иногда на оконные стекла наплывали тени: тормозил автомобиль, какие-то люди подходили к дверям. Легко шагая пологой тропкой, я приближался к этой жизни, еще погруженной, казалось, в далекий, другой мир, несмотря на то, что мне, начиная с определенного места, становился слышен ее шум, постепенно нараставший, — и это были минуты полного покоя, когда не происходило ровно ничего, разве что зажигалась под солнечным лучом мгновенная звезда на бампере машины или вспыхивало и тут же меркло поле цветущей горчицы на невысокой синей горе справа от меня. Да, свет не изменял своим привычкам, и все, что он делал, было похоже на нежданный, но, как я сразу понимал, доброжелательный шепот, на слова поддержки и ободрения. Свет был моим другом: я знал, что в этот день, как и раньше, он меня не оставит.

Однако в то воскресенье — до чего же резкой мне показалась перемена после этих однообразных утренних прогулок, приучивших меня к чувству, что время течет совсем беззвучно, как струи, скользящие по морскому берегу в часы отлива! Дорога — с моего холма ее можно было окинуть взглядом на несколько километров — была совершенно свободна от машин. Вместо их мерного потока я увидел группы людей, а чуть позже, присмотревшись, понял, что это были дети, бесконечная череда детей, которые идут в одном направлении, появляясь из-за горизонта на севере и точно так же скрываясь за горизонтом на юге, причем непричастность этих детей к обычной реальности подчеркивалась тем, что они несли паривших на разной высоте и фантастическим образом заполнявшие пространство над дорогой большие воздушные шары — всевозможных, зачастую переливчато-блестящих расцветок и еще более удивительных очертаний. Часто шары имели строгую форму какого-нибудь одного из пяти простых тел: они радовали глаз идеальной красотой граней и ребер, обтянутых полупрозрачным — вероятно, тканым — материалом; но встречались и хитроумно перевитые, иной раз с непонятными отростками, придававшими им шутовской вид, — ручками и ножками в сверкающих браслетах, в башмачках. Нити, которые дети держали в руках, были очень длинными, они позволяли шарам свободно, можно сказать, с задорной бесшабашностью реять в воздухе. И если некоторые из этих хрупких аэростатов двигались в точности над головой малыша, управлявшего их движением, то другие — неуклюжие добродушные драконы — прядали в разные стороны, заваливались набок, как бы со смехом теряя равновесие, третьи переносились то вперед, то назад над головами идущих, а кое-какие сновали поперек дороги. Поблескивали на солнце шелковые нити; гранатово-красные, сине-фиолетовые, желтые пят-

на, схожие с парусами, выплывали там и тут, порой мягко сталкиваясь и тотчас же разлетаясь в стороны.

Внизу, на шоссе, процессия временами редела, возникали небольшие, в пять-шесть шагов, разрывы, но вскоре детям — некоторые из них замедляли шаг, возвращались назад, перебегали из группы в группу — удавалось восстановить прежний порядок; я же, все сильнее удивляясь по мере приближения, понимал, что их здесь действительно великое множество, и замечал в этой толпе все больше странного и неожиданного. Оказывается, не все шагали пешком: иные ехали на велосипедах, держа в одной руке свои особенно большие шары — настоящие монгольфьеры, изрыгавшие огонь; несколько раз я видел мальчиков и девочек, тащивших открытые повозки, в которых возвышались, покачиваясь, подобия статуй, тоже объятые пламенем — во всяком случае, буроватыми клубами густого дыма, отдававшего, как я теперь чувствовал, ладаном. Вереница детей тянулась без конца, и поводам для удивления тоже не было счета. Крайняя необычность этого грандиозного шествия, все еще остававшегося для меня почти беззвучным, поражала не меньше, чем его завораживающая нескончаемость. Даже саранча, внезапно налетающая на парки и сады города, расположенного рядом с пустыней, у последнего рубежа населенной местности, — крохотные и словно зажмурившиеся безземельные царьки в зеленых тиарах, — не выглядела бы, я думаю, столь таинственно. Но еще острее, чем удивление, ощущал я редкое веселье, которое рождается в нас лишь тогда, когда мы застигнуты врасплох чем-то, чего никак не можем понять, — радостную надежду, что вот-вот разорвутся узы моего вчерашнего, моего всегдашнего разумения и неполнота знания обернется наконец полнотой бытия.

II

Так, испытывая по меньшей мере двойственное чувство — восторг и замешательство, — я приблизился к дороге, перешел с травы на асфальт и принялся прокладывать путь к привычному месту завтрака (еще вчера здесь, пропуская меня, степенно останавливались автомобили) сквозь толпу роившихся детей, которые не обращали на меня никакого внимания: они были целиком поглощены собой, что-то выкрикивали, смеялись, окликали друг друга. Войдя в кафе, я увидел, что там, потягивая напитки красного, белого, желтого цвета, расположились несколько детишек и совсем юных подростков в классических светло-голубых джинсах, футболках и шортах-бермудах (так от тучи саранчи отбивается, усыпав землю, малая стайка). Теперь они были совсем близко, к тому же некоторые сидели в полном одиночестве перед своим оранжадом или оршадом, и я мог бы спросить любого из них, в чем причина этого исхода в пустыню, — мог бы, но не спросил. С меня было довольно мысли, что там, в дюнах, во главе процессии не шагает, увлекая всех за собою, какой-нибудь злонамеренный флейтист.

Я ничего не говорил, не выспрашивал, сознавая в глубине души, что в этом не будет никакого толку, что несколько бессвязных реплик, которыми мы могли бы перебросить, мне ничем не помогут и немедленно сотрутся из памяти; но молчание мое объяснялось еще и тем, что на самом деле я уже понимал, понимал лучше, чем эти дети, в своем блаженном неведении только и знавшие, что толкать друг друга локтями и весело хохотать, в чем заключался смысл их великого

шествия. Большой, поистине гигантский шар, намного превосходивший размерами остальные, пролетел, дергаясь и рассыпая отсветы, мимо окон, и в них остался какой-то красный блеск: легко было вообразить, как, стремительно обгоняя колонну, он помчался на юг, чтобы упасть там далеко-далеко, где-то в глубине материка или в открытом море. Да, божеством этого дня был случай... И я начал догадываться, что означал этот всеобщий сбор, этот праздник. Больше того, мне раскрывалось и многое другое, я видел, как проясняется смысл самой Америки, смысл этой цивилизации, которая уже давно, много лет назад, стала для меня очень близкой, хотя до сих пор сохраняла в себе и нечто чуждое, — я постигал тайну за тайной, и мне даже удалось лучше понять некоторые события моей собственной жизни, навсегда оставившие во мне чувство удивления и печали. Казалось, то, что предстало моим глазам на этом калифорнийском шоссе, было не просто происшествием, а особым знаком, под воздействием которого моя мысль теперь расправлялась, точь-в-точь как эти неяркие разноцветные пирамиды и кубы, еще проплывавшие в окнах: само бытие, играющее всеми своими гранями... Настоящее озарение, стремительно разраставшаяся цепь умозаключений, которые я тут же принялся записывать — сначала за столом, потом, останавливаясь на обочине тропы или возле больших камней, на обратном пути в мой домик на холме.

Это были совсем короткие заметки на бумажках, кое-как расправленных на ладони, — оборванные, неполные фразы, а то и просто пара слов. Ничего, сойдет! Совсем скоро — и завтра, и позже, в те годы, что мне еще отпущены, — у меня будет достаточно времени, чтобы придать четкую и завершенную форму моему истолкованию Америки, да и всего остального, что в то утро так живо трепетало, захваченное моим широким неводом.

III

Днем, однако, меня отвлекли другие дела; потом я вернулся в Париж, прошли недели, месяцы, годы, а у меня все не доходили руки до этих записей, пока наконец не настала минута, когда я сказал себе, что должен все же написать мою "Америку". Я отыскал пожелтевшие страницы, вырванные из старого блокнота. Следы карандаша, еле различимые на фоне тоненьких типографских линеек, уже начали стираться — так долго эти листки, которые я без конца разворачивал и складывал, кочевали по карманам дорожных плащей, валялись среди бумаг то на одном, то на другом письменном столе. Я вновь разгладил листки и прочитал мои заметки, или, лучше сказать, попытался прочитать — ведь, просмотрев их раз и два, потом еще и еще, все больше недоумевая, даже раздражаясь, не обнаружил никакого смысла. Какие-то разрозненные слова: идея, некогда их соединявшая, бесследно исчезла. На месте связной картины, которую эти слова должны были уловить и зафиксировать, — полная сумятица; мне даже начало казаться, что некоторые карандашные штрихи на замусоленной бумаге — это случайные каракули, не то что возносящиеся над уровнем языка, но к нему и близко не подступавшие.

И я засыпал себя вопросами. Может быть, я не сумел как следует записать все, что мне пришло в голову тем утром в Калифорнии, или слишком опрометчиво положился на собственную память, и какая-то мысль, вполне разумная и способная сослужить мне службу, действительно улетучилась из слов, которые я намарал, — так что мне теперь, ве-

роятно, никогда не узнать самую важную для меня истину? А может, я просто грезил в тот момент, когда писал или думал, что пишу? Само по себе это большое шествие, при всей его фантастичности, безусловно происходило в реальном мире, и видел я его наяву, в этом не было, да и сейчас нет ни малейшего сомненья... Но разве можно с уверенностью судить обо всем остальном? О том, что происходит в нашем уме, осмысляющем знаки? О наших воспоминаниях, наших фантазиях – и о прозрениях, которые, впрочем, приходят лишь после того, как сознание осуществит свою цензуру, – словом, обо всем, что с такой силой пробуждают в нас неожиданные события? Мои старые заметки больше всего напоминали те слова без начала и конца, без формы и содержания, которые с разочарованием обнаруживаешь утром на клочке бумаги, где наспех записал, проснувшись среди ночи, удивительный сон.

Я задавал себе эти вопросы, потому что кто-то, живущий во мне, непременно хотел понять – если не суть Америки и нашего мира, то хотя бы игру, которую вела сама с собою моя мысль, моя жизнь. Но эту растерянность и это желание я ощущал совсем недолго, всего несколько мгновений: почти сразу же бумага у меня на глазах стала темнеть, слова, которые я никак не мог разгадать, – зыбиться, слегка розоветь, и передо мной опять возникли какие-то картины, сначала расплывчатые, но вскоре прояснившиеся до конца, как если бы мне уже было известно то, что меня сквозь них влекло.

Что же мне привиделось? Еще одно шествие, но совсем в другой местности: на узкой горной тропе. И опять школьники, опять они несут шары, но на этот раз глубокой ночью, при необычайно сильном ветре. Несмотря на все это, дети – да, они совсем еще маленькие, меньше даже, чем тогда на шоссе, – бесстрашно взбираются на крутые, почти отвесные склоны, где нередко приходится с трудом протискиваться между двумя камнями, один из которых нависает над пропастью, так что малыши вынуждены подталкивать идущих впереди, только бы не оставаться долго на этом головокружительном пороге, обрывающемся в непроглядный мрак. Они идут не поднимая глаз. Над их головами колышется смутная масса шаров, и нити, которые они держат в руках, иногда рвутся под напором ветра, слепо веющего в непостижимой, надмирной вышине. А я – я или стою, оттесненный к обочине этой бесконечной толпой, или шагаю вместе со всеми: точно так же спотыкаюсь от усталости, вижу, как тяжело дети дышат, слышу здесь и там короткие смешки, зазвучавшие было и сразу же оборванные песенки, а то и крики боли, всхлипы. Шорох шаров над головой: они налетают друг на друга, трещат, с шумом лопаются, подпрыгивают на волнах черного небесного воздуха. Мгновенные огненные струйки пробегают по их бокам, и тогда в темноте взблескивают красные или желтые пятна. Время от времени выше, много выше, в горах, слышится грохот оползня, но и в этом, как во всех звуках, как во всем, что происходит, есть примесь безмолвия. Только что надо мной пролетел самый большой шар: видна была лишь нижняя его часть, сетка, которую лизало, но не могло зажечь пламя. Позже я замечу его вновь: он висит без движения над какой-то невидимой, может быть, вовеки недостижимой землей, усеянной камнями, а над ним теперь – все небо, все звезды. И я вижу: один ребенок пытается, хотя тропка совсем узенькая, вернуться назад... к кому он возвращается? Он все время сталкивается с другими детьми, а те, стараясь продвигаться вперед и не выпускать свои шары из рук, настолько выбились из сил, что даже не обращают на него внимания. Я беру его за руку, задерживаю. “Куда ты?” – говорю я ему. Он

поднимает глаза — расширенные, переполненные мыслью, о которой я до сих пор ничего не знал.

И еще я спрашиваю его: "Как тебя зовут?" Но он, ничего не отвечая и не сводя с меня задумчивых глаз, качает головой.

Я никогда не забуду тебя, ребенок, который хочет вернуться, сам не зная куда. Я вижу тебя сквозь каждое словечко, написанное мной на бумаге, вижу даже тогда, когда замечтавшиеся предложения, составленные из моих слов, несут на концах своих нитей, натянутых легким ветром, поблескивающие, хотя и не очень яркие сферы, — и мне кажется, что эти шары блестят от росы, как если бы на земле снова занимался день. Я знаю: ты скрываешься во всех картинах, которые я люблю. Я слышу, как ты бредешь, спотыкаясь, в каменистых глубинах книг, которые я читаю, которые я научился читать, — и мне хочется взять в ладони твое пылающее лицо. Иногда я почти прикасаюсь к твоему лбу, встречаю глазами твой вопрошающий взгляд, но как раз тут все знаки бесследно исчезают. А вместе с ними — день и ночь, и весь наш мир, и даже ветер.

1998

Божественные имена

I

ОНИ рассуждали так: Бог не может хотеть, чтобы мы дали ему имя, ведь понятие имени подразумевает и понятие подлежащего, понятие глагола, сказуемого, а значит, мы сразу же пожелаем, чтобы Бог был тем-то или тем-то, начнем перебирать наш опыт, сравнивать, искать то, что лучше всего подходит, отстаивать свое мнение — словом, перегрыземся во имя Бога. Наделяя именем того, кто не вмещается в мир, мы его не называем и тем более не восхваляем, мы, увы, попадаем в западню, поставленную языком. Имя Бога — безусловное зло. Как только у Бога появляется имя, по пшенице бежит огонь, нож пронзает шею ягненка.

Но едва лишь они пришли к этому нехитрому выводу, ими овладел страх. Действительно: стоило им оказаться перед пшеничным полем и опрометчиво произнести название пшеницы, как они тут же спохватывались, ибо, зачерпывая этим словом красоту пшеницы, ее несомненную, абсолютную силу, они уже, пусть и самым отдаленным образом, именовали Бога, а стало быть, творили зло. Глядя на ниву, освещенную солнцем, они видели, как название, которого им не следовало бы произносить даже мысленно, наползает на нее тенью — и вот уже эта трепещущая тень заливает мраком далекий косогор, усаженный виноградными лозами, и сверкающую реку! Впрочем, любая из вещей, которые они любили, и любили вполне заслуженно, могла стать поводом для роковой оплошности. Ни о чем нельзя было подумать так, чтобы избежать угрозы, и уж точно нельзя было ни о чем заговорить — ведь когда что-то любишь, то испытываешь восторг, все сущее кажется тебе божественным, и ты хочешь выразить это чувство. Они боялись вечерних прогулок, и если выходили в это время из дому, то шли в лучах закатного света потупясь, не глядя по сторонам; тревожились даже при виде темно-синих камней на дороге: может быть, это дьявол их подложил. Опасным казалось и любовное ложе. Преподаватели в учебных заведениях нудно на-

низывали бесчисленные абстракции — ибо достаточно было упомянуть розу или вино в прекрасных стихах, как на мгновение приоткрывались сами эти вещи, причастные к Богу и потому лишавшие мысль привычного блага: иметь дело со словами, в которых он отсутствует.

Как же быть? Вовсе не глядеть — чтобы, неровен час, не увидеть? Прикасаться к чему бы то ни было не иначе как с помощью инструментов, позволяющих держаться на расстоянии, — похожих на те металлические руки, которыми орудуют роботы, проникая в огонь, в нечеловеческий холод, в мельчайшие тела, в безвоздушное пространство?

Они стали еще решительнее устранять из своей жизни любые ситуации, когда что-нибудь могло вызвать в них слишком сильное чувство любви. Старались, чтобы их дни и ночи были по возможности ничем не заполнены. И все, что они говорят, тоже. Они отвергли искусства, изображавшие мир, и даже то, которое показывало его лишь косвенно и величие которого, видимо, заключалось именно в том, чтобы, простодушно воспламеняясь, довольствоваться этими окольными путями. Отвергли все, в чем могли заподозрить хотя бы тень серьезности, поскольку серьезное неотделимо от эмоций, пристрастий, воспоминаний. Конечно, по-настоящему ослепнуть или онеметь они не могли, а потому решили устраивать некие подобия спектаклей, но так, чтобы не привлекать ничьего внимания, — случайные свидетели лишь мимоходом бросали на них безучастный взгляд, продолжая заниматься своими делами. Происходило это на берегу, чаще всего ночью. Несколько мужчин сгружали с корабля большие сундуки. Они громоздили их друг на друга на мокром причале, покрытом лужами. Переставляли их, двигали — тяжелые, наполненные, судя по всему, массивными железными брусками, глухо ворочавшимися в замкнутой глубине. Это так и называлось: “играть в Бога”. Лучше было играть в Бога, чем поклоняться ему, — ведь поклонение невозможно без метафор, метафора же членит мир, а всякая расчлененность есть смерть.

Они решили умереть — слишком велик для жизни оказался Бог. Некоторые сразу же покончили с собой. Другие медлили, коснея в недоверчивом безразличии ко всему на свете. И тоже умерли в свой час. На этом острове можно видеть следы их цивилизации: красивые храмы, ныне лежащие в руинах. Кое-где на стенах еще высятся восхитительные статуи — улыбающиеся, с бесцветными глазами, удлиненными и гибкими кистями рук. Среди них встречаются изображения обнаженных мужчин и женщин, чей облик исполнен глубочайшей невинности, но вместе с тем дышит какой-то острой печалью, — они как будто уже предчувствуют, что должно произойти в будущем. Трудно не задать себе парадоксальный вопрос: может быть, это искусство было слишком прекрасным, внушало слишком сильную радость? Так или иначе, известно, что в этих местах когда-то появился проповедник странной и мрачной веры, обвинявший человечество в том, что на земле существуют вещи, достойные любви, и люди, чьи руки с наслаждением берешь в свои, — существуют источники, утоляющие нашу жажду свежей водой. Бог выше всего этого, восклицал он. Ему было невдомек, что, сжигая все без разбора, он по-прежнему дает своему богу имена: “огонь”, “смерть”, — и предает того, кто, возможно, нуждается в счастье, какое могли бы ему даровать только люди, предает бога, которому понравилось бы разделить свое имя с любой, даже самой скромной вещью на нашей земле: становясь пшеничным полем, солнцем, локонами, рассыпавшимися в полумраке постели, становясь вновь и вновь, без конца, переплесками ветра, тоненькой луговой былинкой.

II

Мы спустились с гор и вышли к морю. Часовня стоит на берегу, почти у воды: это простая саманная хижина с единственным узеньким оконцем, разделенным надвое вертикальной железной перекладиной. Вокруг все заросло густой травой, она оплела даже порог, и дверь можно открыть лишь с некоторым усилием. На худую черепичную крышу, кое-где перекрытую срезанными ветвями, бросает сквозистую тень пальма. Близится полдень. Мой провожатый — мой друг — поворачивает старый ключ в старом замке, и мы входим. Внутри пусто: светло-желтый песчаный пол, несколько высохших до синевы апельсинов, закатившихся в угол, а прямо перед нами на полу — она выглядит брошенной — какая-то статуя или, скорее, заготовка для статуи. Лик святого скульптор даже не наметил, в этой почерневшей от времени колоде можно различить только самые общие, едва обозначенные контуры стоящего человека; угадывается выдвинутая вперед нога, обнаженный торс и характерная широкая набедренная повязка из тех, что можно видеть на водоносах и писцах в Египте, до которого, очевидно, отсюда не так и далеко: если держать на юг, можно всего за два или три дня, смотря по погоде, приплыть к другим пескам и другим пальмовым рощам, чей аромат часто долетает до островка, где находимся мы, — причалить к этому великому острову, глядящемуся в великую реку, к этой горе, возносящейся в облаках между двумя “ничто”.

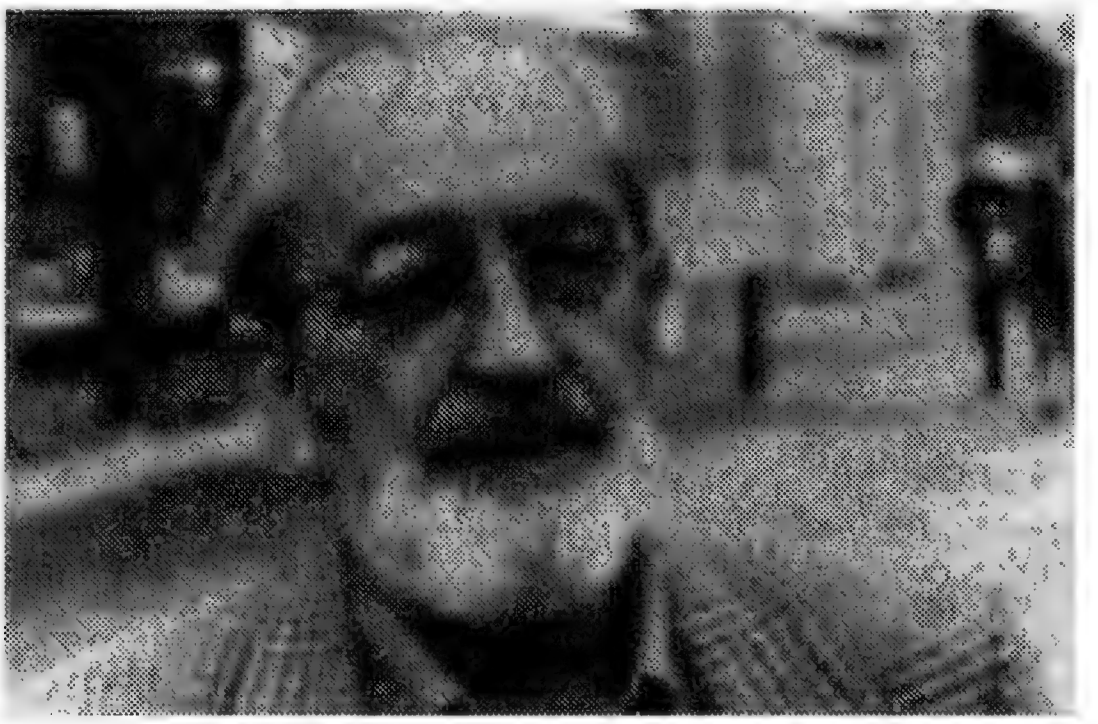
Лик святого даже не намечен. Я все же наклоняюсь, приподнимаю чурбак (оказывается, довольно тяжелый) и внимательно рассматриваю деталь, наиболее проработанную скульптором, который прервал свой труд несколько дней или, может быть, несколько веков назад: это руки, прижимающие к груди нечто вроде сферы, хотя и совсем неправильной, — видно, что он не слишком старался придать ей плавные и закругленные очертания этого геометрического тела. Как я вскоре убеждаюсь, он не только не боялся неправильности, но, должно быть, сознательно ее добивался. И вот что еще: пальцы неизвестного святого стиснули эту странную вещь с заметным напряжением; материал, из которого она сделана, слегка вмялся под их напором.

Я ставлю статую на место, поднимаю глаза и обвожу взглядом часовню, однако ничто больше не привлекает моего внимания, разве лишь краска на стропилах, облезшая в тех местах, где во время дождей, редких в этой местности, внутрь просачивается вода. Входная дверь прикрыта не до конца: сквозь щель между темным деревом и глинобитной стеной пробивается узкий, но очень яркий, почти ослепительный луч. А мой провожатый вышел наружу: похоже, это он там разговаривает с какими-то детьми.

Этих детей я видел несколькими минутами раньше. Самый старший катался на велосипеде: отталкиваясь от земли ногой, обутой в старый шлепанец, он выписывал зигзаги вокруг своих приятелей. А другие — не то двое, не то трое — были совсем маленькие; один из них, кажется, разгуливал нагишом, нежась под теплым солнцем. Их тела, напоминавшие бронзовые статуи (в Египте таких, насколько помню, не было), переливались в огне заката. Проходя мимо, я подумал: вот эти знают, в чем дело, — или, по крайней мере, еще не совсем забыли.

2001

Анхель Гонсалес



Стихи

Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен

Материал к биографии

Кто-то из восточных мудрецов говорил: "Пока не поймешь, что таракан — брат твой, ты недостоин называться человеком". Едва ли испанский поэт Анхель Гонсалес вспоминал эту максиму, размышляя с сочувствием о свойствах тараканьей души, неуловимо похожей на человеческую. Герой его лирики грустен и ироничен. Он много видел, много думал, вряд ли пришел к утешительным выводам, но при всех огорчениях только пожимает плечами и вдруг... улыбается печальной, иронической, усталой и всепонимающей улыбкой.

Вспоминаются стихи Ильи Эренбурга:

Я много жил и видел многих,
высокомерных и убогих,
и тех, кто открывает звезды,
и тех, кто разоряет гнезда...

В этом эренбурговском стихотворении, "взглянув на дамские убранства, на глупое, пустое чванство", не может сдержать улыбки слоненок в зоопарке. Что-то похожее сквозит и в поэтическом настрое Анхеля Гонсалеса.

Анхель Гонсалес принадлежит к плеяде испанских поэтов, вошедших в литературу в пятидесятых годах XX века. Это Хайме Хиль де Бьедма, Хосе Агустин Гойтисоло, Карлос Барраль, Хосе Мария Вальверде, Кабальеро Бональд, Хосе Анхель Валенте, Альфонсо Костафреда, Франсиско Бринес, Клаудио Родригес.

© 1992, Angel González
© Н. Ванханен. Перевод, вступление, 2003
Редакция благодарит А. Гонсалеса, любезно предоставившего право на безвозмездную публикацию.

Поколение, чья юность пришлась на время после гражданской войны, тоскливо озиралось по сторонам, не находя вокруг ничего настоящего, живого — пейзаж после битвы невесел. Из рупоров неслись победные марши, радио воспевало спасителя отечества великого вождя Франсиско Франко. Проникновенные голоса дикторов вкрадчиво вещали о том, каких успехов достигла Испания под его мудрым руководством. В особую заслугу славному генералу ставились высокие показатели испанской экономики, а также то, что благодаря заблаговременно установленному фашистскому режиму Испания ухитрилась избежать участия во всемирной бойне, фактически не вступив во Вторую мировую войну. В середине пятидесятых в стране широко демонстрировался документальный фильм "Двадцать лет без войны" — этакое "испанское чудо". Под успокоительные мелодии по экранным улицам прогуливались чистые, сытые люди с веселыми щекастыми детишками — у их родителей есть работа, достаток, право на отдых. В конце концов, все тоталитарные режимы похожи.

Многие представители интеллигенции покинули страну. Многих не стало. На чужбине, в маленьком провинциальном Кольюре на юге Франции, похоронен Антонио Мачадо. Тело Лорки второй десяток лет лежит в общей яме, в одном из оврагов где-то на неприметном повороте шоссе в местечке Виснар под Гранадой.

Все итоги подведены, все счета подписаны.

"Глухой порой", "пустыней" окрестили поэты нового, молодого поколения ту эпоху. "Горький мир" назвал свою первую книгу Анхель Гонсалес.

> Мадрид. Год тысяча девятьсот пятьдесят четвертый.
> Одинок человек. Одинок, —

пишет он в одном из стихотворений этого сборника.

Творчество испанских поэтов-пятидесятников принято относить к "лирике протеста". В каком-то смысле это правильно. Анхель Гонсалес признаёт, что искать свой путь не особенно-то и приходилось: поневоле он оказался связан с эпохой, с судьбой Испании. О выборе креста речь не шла, тяжкая, давящая ноша досталась детям застоя, жившим в стране, где дух умер на многие десятилетия и казалось, "воскресенья не будет".

"Я родился в тысяча девятьсот двадцать пятом, в Овьедо, — пишет Гонсалес в предисловии к одной из своих книг. — Эпоха, по воле случая совпавшая с моей жизнью, не спешила дать мне роль на исторической сцене, зато с малых лет превратила меня в зрителя — очевидца многих кровавых событий: революция, гражданская война, диктатура. Едва выйдя из пеленок, я за короткий период, точно по мановению волшебной палочки, стал сперва гражданином республики, потом жертвой тирании. И вот теперь, на склоне лет, вновь вижу то, что уже было, — корону, монархию".

Анхель Гонсалес рано лишился отца. Семья поэта сильно пострадала во время гражданской войны: один из братьев расстрелян фалангистами, другой выслан. Сестре новая власть не дала закончить образование: очередная политическая "чистка" помешала ей стать учительницей.

В восемнадцать лет Анхель заболел туберкулезом. Во время болезни он пристрастился к чтению стихов и сам начал сочинять. Учился он на юридическом факультете Университета Овьедо, потом увлекся журналистикой в Мадриде. В столице Гонсалес сблизился со многими поэтами, среди которых Габриэль Селайя, Кабальеро Бональд.

За книгой "Горький мир", увидевшей свет в 1956 году, последовали "Без надежды, с уверенностью" (1961), "Первая ступень"(1962), "Трактат об урбанизме" (1967), "Материал к биографии" (1969) и другие. Вот уже много лет, начиная с

1968 года, антологии Анхеля Гонсалеса, как правило, выходят под одним и тем же названием "Слово за́ слово".

За свою долгую жизнь поэт был удостоен многих литературных премий. Среди них премия Антонио Мачадо, Литературная премия принца Астурийского, Международная поэтическая премия Салерно, премия королевы Софии. В 1996 году Анхель Гонсалес был избран членом Испанской королевской академии. С середины семидесятых он живет в Америке, преподает литературу в различных университетах Мексики и Соединенных Штатов.

Критики любят называть поэзию Гонсалеса "живой историей". Он не возражает против подобного определения, но и не приходит от него в восторг. Прежде всего потому, что не слишком верит в эту самую Историю с большой буквы. И то сказать, что остается от пламенных политических речей, документов, некогда казавшихся "судьбоносными"? В лучшем случае архивная пыль. "Парад перемен — тлен", — мрачно шутит он. Поэт не зеркало истории, у него совсем другая задача (если хоть в какой-то мере тут вообще можно говорить о задачах).

Анхель Гонсалес развенчивает мифы. И не только исторические, политические: он прежде всего не щадит мифов, обосновавшихся в его собственном сознании. Нет и никогда не было никакого "золотого вчера", нет и никогда не будет "прекрасного завтра". Мы, живущие в другой стране, читая стихотворение "Вчера", включенное в нашу подборку, совсем не соотносим пронизывающую его тоску с франкизмом. Стихотворение "Перечень мест, отведенных для любви" тоже воспринимается сегодня вне времени, хотя социальный подтекст в нем присутствует. Во франкистской Испании насаждался ханжеский тип поведения: боже упаси влюбленным прилюдно поцеловаться или даже взяться за руки (в памяти невольно всплывает родное: "У нас в стране секса нет"). За вполне невинную вольность можно было угодить в участок, а то и получить срок. До сих пор курьеза ради в некоторых городках оставлены старые надписи, оповещающие: "В данном месте совершение аморальных поступков преследуется по закону".

Нет, не только и не столько социально-политические аллюзии привлекли внимание публики к поэтам новой волны. Гораздо важнее человеческая, почти разговорная интонация их стихов, отсутствие какой бы то ни было позы, пафоса, устаревшей риторики.

Лирический герой Анхеля Гонсалеса — просто человек, каких много, один из нас. Не мессия и не пророк, простой смертный, подверженный греху уныния, ищущий веры, опоры и не находящий ее. Он пьет кофе, смотрит в окно, проходит по улице. Словом, живет жизнью, в которой, похоже, совсем нет места подвигу. Но это его (ее, моя, твоя) жизнь. Единственная. Бесценная. Как часто повторяются в его стихах названия дней недели — среда, четверг, пятница. Что может быть обыденнее? Удивительно только, как из этой рутины возникает поэзия.

"Мне не интересно идеальное человеческое "я", в которое многие до сих пор еще верят... Не интересно прежде всего потому, что его не существует," — говорит Анхель Гонсалес.

Когда я пишу свое имя, я каждый раз удивляюсь.
Что ни день — удивляюсь больше.
Кто бы это мог быть? Анхель. Ангел.
Согласитесь, что это странно.

У Лорки:

И на границе тростника и ночи
как странно, что зовусь я Федерико.

Стих Анхеля Гонсалеса уже почти и не стих — проза, обыденный рассказ. Пусто, почти безнадежно земное будущее. Пусты и небеса: "И я мертвец. И мне никто не скажет: — Встань и иди!"

Казалось бы, все страшно и беспросветно. Но почему-то голос поэта не звучит безрадостно. Его спасает мир простых и вечных вещей, которых мы в обыденной жизни часто вовсе не замечаем. Простой, вещный и вечный мир, роднящий Гонсалеса с его любимым поэтом Антонио Мачадо.

Но иное время — иные песни.

Вещи в поэзии Анхеля Гонсалеса — не древние камни, не пыльные тополя, не струйка фонтана, звенящая о край глиняного кувшина на раскаленной площади в пустынной кастильской глубинке. Герой Гонсалеса — горожанин, живущий в типовом многоквартирном доме. Случается, он слушает битлз, а вовсе не народное пение канте-хондо, шатается по столичным барам и пьет виски, а не традиционное красное вино.

Простая, откровенно непоэтичная деталь — важнейшая часть его поэзии.

Стихи Гонсалеса сродни работам одного из самых знаменитых современных испанских скульпторов — гиперреалиста Антонио Лопеса, который умудряется создать такой скульптурный портрет, скажем, утюга или швейной машинки, что, глядя на них, хочется плакать от волнения.

И еще одно чувство спасает поэзию Анхеля Гонсалеса от мрачности и уныния — это любовь. Самое хрупкое и недолговечное оказывается самым стойким. "Вот наша жизнь прошла — а это не пройдет", — писал русский поэт Георгий Иванов. От любовной лирики Анхеля Гонсалеса остается похожее ощущение.

"Анхель Гонсалес? — реагируют на его имя испанцы. — Чудный, правда? Милый, тонкий". И многие радостно улыбаются, словно вспомнив о близком друге.

Кого у нас-то так любят? Может быть, Окуджаву?

Смерть от забвения

Я знаю, что существую,
потому что ты думаешь обо мне.
Я высок ростом,
потому что ты видишь меня высоким,
у меня нет задних мыслей,
потому что ты смотришь на меня
ясным взглядом.
Твое воображение делает меня умным,
твоя нежность — добрым.
Но если ты забудешь меня,
я умру — тихо, неприметно
для посторонних глаз.
Люди по-прежнему будут видеть мою оболочку,
но в ней поселится совсем другое существо —
мелкое, недалекое, злое.

Грядущее

Тебя называют грядущим,
потому что ты всегда грядешь, но никогда не приходишь.
Тебя называют будущим,
ждут, что ты вот-вот явишься
и кротко, как ручной зверек,
будешь брать корм из рук.
Но нет, ты прячешься в каком-то глухом углу —
там, где не считают часов.
Завтра!
А ведь завтра опять будет день,
такой же, как сегодня, вторник или среда,
будет что угодно, только не то, чего мы так ждем —
всё еще, по-прежнему, как всегда.

Не всякий день годится для полдника

Не всякий день годится для полдника —
некоторые вообще несъедобны.

Хорошо на море.
Там я первым делом принимаюсь за скалы,
потом заедаю их сизыми облаками и небом —
чаек я обычно выплевываю, —
а на десерт у меня купальщицы,
растрепанные, играющие в мяч на берегу.

В городе все не так —
тут частенько приходится питаться всухомятку.
Я тщательно пережевываю минуты,
предварительно очистив их от колючек,
а когда уже ни минуты не остается,
принимаюсь за тени былого,
и время, съеденное в течение жизни,
отдает пустотой и вызывает изжогу.

Вчера

Вчера утром была среда,
ближе к вечеру все переменилось —
вдруг настал чуть ли не понедельник,
тоска пробралась в душу,
а у трамваев,
отвозящих купальщиков на речной пляж,
случился легкий переполох.

Часов в семь
по небу проплыл аэроплан,

но даже дети
не обратили на него никакого внимания.
Вскоре похолодало.
Кое-кто даже надел шляпу.
Это было вчера. Все как обычно.
Страсть как интересно, сами видите!
Ох, уж это мне вчера, вечное вчера — по сей день.
Туда-сюда ходят по улицам
незнакомые люди
или, скажем, сидят по домам, полдничают —
кофе с молоком и рогалик, —
то-то весело!
Вчера быстро стемнело,
зажглись теплые желтые фонари,
а после, хочешь не хочешь,
наступило сегодняшнее утро,
такое похожее на вчерашнее,
только совсем-совсем другое —
иной свет, запах.
Вот почему —
надеюсь, вы меня понимаете —
позвольте мне еще поговорить про вчера,
еще хоть разок про вчера —
удивительный, необыкновенный день,
какого никогда,
никогда больше не будет на свете!

Материал к биографии

Стоит мне оказаться в Мадриде,
как мои тараканы впадают в бурное негодование:
— Опять он читает по ночам!
Свет не дает им высунуться наружу,
лишая возможности пофланировать в свое удовольствие
по моей спальне,
к которой — по невыясненным причинам —
у них непреодолимая тяга.

Ходят слухи, будто они даже подумывают
подать на меня жалобу президенту.
Поневоле спросишь себя: да понимают ли они хоть немного,
в какой стране живут?!
Боюсь, мои тараканы совсем не читают газет.

Больше всего им хотелось бы,
чтобы я почаще надирался в каком-нибудь кабаке
и до утра выплясывал танго.
Тогда, ничем не рискуя, они могли бы обделывать свои
делишки
и шнырять в потемках по спальне, путаясь в занавесках.

Порой я доставляю им это удовольствие
и вовсе не потому, что люблю потакать чьим-то слабостям.
Просто — по невыясненным причинам —
у меня тоже непреодолимая тяга
к плохо освещенным местам,
где я обыкновенно и задерживаюсь без особых намерений,
пока восходящее солнце не возвестит о начале нового дня.
Возвращаясь под утро домой,
я частенько натыкаюсь в коридоре
на снующие туда-сюда маленькие существа,
которые при моем появлении
бросаются врассыпную и разбегаются по глухим щелям.

Я желаю им доброй ночи —
не вовремя, зато от души, —
мучаясь от такой же неуместности,
несвоевременности
и светобоязни,
да и прочего разного,
что — увы! увы! — не делает чести
ни одному порядочному прямокрылому.

Перечень мест, отведенных для любви

Их мало.
По традиции в особой цене весна,
хотя, по-моему, лето лучше.
Осень тоже предоставляет разные укромные уголки,
особенно по воскресеньям
в некоторых городках,
пожелтевших, как спелые бананы.
Зима, напротив, приводит ряд площадок в негодность:
холодные подворотни,
речные набережные,
садовые скамьи.
Случается, внешние опоры старинных церквей
предлагают удобные для любви ниши
даже в период густых снегопадов,
но обольщаться не следует:
низкая температура
и повышенная влажность
существенно затрудняют процесс.
На нас шквалом обрушиваются разного рода указы и предписания.
Ласки допускаются только на строго обозначенных
участках кожного покрова — разумеется, совершенно непривлекательных.
В виде исключения, изредка, можно погладить ребенка, собаку
или другое какое животное.
В сотнях глаз явственно читается: “Не влезай — убьёт!”

Куда деваться?
Отовсюду косые взгляды,
поблекшие радужки,
невосприимчивые сетчатки,
буравящие зрачки —
следят, подозревают, угрожают.
Только и остается, что, бродя в одиночку,
мало-помалу вытравить из сердца всю нежность
и заполнить его скукой и омерзением
в это наше время, строго отведенное для ненависти.

***

Чтобы мне зваться Анхель Гонсалес,
чтобы тело мое имело вес и объем,
какая понадобилась ширь пространства,
какая даль времен!
Мужчины всех морей и земель,
плодовитые лона женщин, тела, тела
и снова тела, веками выплавлявшие в одном другое —
новое.
Солнцестояния и солнцевороты
под несхожими небесами
озаряли различным светом
тысячелетнее странствие моей плоти —
она неутомимо карабкалась вверх
по костям и столетиям.
Я всего лишь плод этого томительного горького кочевья,
этого торопливого бегства, переживший все
кораблекрушения,
чудом удержавшийся на волоске, на ниточке последнего
вздоха.
Я тот самый плод, теперь гниющий в корзине
среди прочих, таких же, как он.
Я то, что ты видишь,
только это —
щепка, упрямая развалина,
которая противится разрушению,
борется с ветром
и вновь устремляется вперед по дороге,
ведущей в никуда.
Триумф всех поражений.
Несокрушимая сила отчаяния.

Дон Делилло
M*ao* II

Роман

Перевод с английского С. Силаковой

6

Вглядываясь во мрак, Скотт рассказывал третью за день историю. И периодически включал дворники — протереть запотевшее лобовое стекло.

Карен он приметил, проезжая по главной улице городка Уайт-Клауд (северо-восток Канзаса, двести десять жителей). Девушку мотало из стороны в сторону, точно машину, за рулем которой сидит пьяный. Скотт решил проследить за ней. Она остановилась перед красным кирпичным зданием с заколоченными окнами, жмущимся к земле под низким недобрым небом. Скотт припарковался, не разворачиваясь, и стал смотреть, как она пытается вытащить из липкого пакетика леденцовую палочку, поддевая ее ногтем. Мимо прокатил трактор, которым управлял голый по пояс парнишка с носовым платком на голове. Улица была широкая, с серой, как речной песок, мостовой, в щелях между бордюрными камнями рос высокий бурьян. Закусочная. Мастерская "Автомоторемонт". Над дверями — старомодные жестяные навесы. Девушка все-таки вытащила палочку, но та была завернута в бумажку, и борьба возобновилась. Выпуклые буквы на вывеске универмага складывались в какое-то таинственное слово.

Скотт долго гадал, почему эта картина кажется ему до боли знакомой. Он возвращался на Восточное побережье, повидавшись с сестрой, которая жила в Канзасе с мужем-врачом и вывезенным из Перу грудничком-приемышем. Хорошо, что удалось удрать на пару недель от Билла — тот как раз заново открыл для себя виски и с заката до рассвета, еле ворочая языком, выдавал словесные импровизации.

Скотт вылез из машины и, облокотившись о крыло, стал наблюдать, как девушка сражается с тающим в руках лакомством. Теоретически это был леденец, а не желе, но с оберткой он расставаться не хотел — цеплялся за отдираемую бумагу прозрачными щупальцами.

Как думаете — это зной виноват или несовершенные методы производства, не способные конкурировать с заморскими?

Она словно бы не услышала.

Неужели у нас до сих пор не научились леденцы делать?

Он достал из нагрудного кармана солнечные очки и, выпростав из джинсов рубашку, начал их протирать — надо же было чем-то себя занять на время этой пустой канители.

Она сказала:

— Вы приехали меня депрограммировать?

Тут он понял, откуда ему все это знакомо. Сцена прямо из Билла Грея, как он только раньше не догадался. Девушка-чудачка на фоне полу-

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 11, 2003 г.

заброшенного города, над которым висит неопределенная опасность — грозовая туча или просто какое-то ледяное слово, зачин заклятья, обрекающего на несчастье.

— Если вы за этим приехали, лучше сразу плюньте, — сказала она, — попытка уже была, они где сели, там и слезли.

Вскоре Скотт и Карен уже катили вдоль верхней границы штата Миссури, знакомились, а теперь, в той же самой машине, по дороге в Нью-Йорк, он рассказывает, как Карен, извлекая из памяти деталь за деталью, говорила о своем мунитском периоде, хотя сама слова "мунит" не употребляет и никому в своем присутствии произнести не позволит.

С одеждой — в том числе нижним бельем — в фургоне совершенно не церемонились: все сваливали в одну кучу и стирали чохом, а потом выдавали по столько-то предметов на нос, не считаясь с тем, кому они изначально принадлежали и кто их носил последним. В этом истина Общего Тела. Но все равно как-то странно себя чувствуешь, когда на тебе носки с другой девушки и трусы с какой-то третьей. Мурашки по коже. При ходьбе так и подмывает съежиться, не соприкасаться с тем, что на тебе надето.

Кроме того, ее перевели из цветочной бригады — поставили торговать арахисом. Вроде как разжаловали — невольно думала она. Опасная, греховная мысль. А сестры в арахисной бригаде подобрались не слишком целеустремленные, перекати-поле; им не хватало якоря — убежденности, что их единодушные молитвы изменяют жизнь всех и каждого на нашей планете.

А еще она часто думала о своем муже Киме, прикомандированном к одной из миссий в Англии, о неведомом муже. Через полгода разлука закончится, но лишь в том случае, если каждый из них привлечет в Движение трех новых членов.

В Учителя она верила всем сердцем, по-прежнему считала свою жизнь поиском, была готова раскрыться навстречу великим истинам. Но тосковала по мелочам, по дням рождения родителей, по коврику у кровати, по ночному сну на простынях — не в спальном мешке. Заподозрила, что простые и жесткие лекала церковной веры ей не по росту. Под вечер ее одолевала мигрень. Боли начинались с вспышки, со сполохов электрохимической реакции, со света, возникающего ниоткуда, порожденного мозгом, — с запредельного мерцания человеческого "я".

Скотт отвез ее в мотель и чуть ли не всю ночь напролет слушал — а она говорила. Зайдя в туалет, оставляла дверь открытой; "О-го-го", — подумал он. Впрочем, до секса пока не доходило. Приступы словоохотливости длились у нее минут по десять. Спать она то ли не могла, то ли боялась. Он сто раз бегал за пепси в холл к автомату и всякий раз опасался, что, вернувшись, ее не увидит: окно открыто, занавески реют по ветру, — хотя шторы там были слишком плотные, чтобы реять, да и окна все равно не открывались.

Потом был кинобоевик, передвижения войск под покровом ночи. Только-только она начала сомневаться, задумываться, отвлекаться на посторонние мысли, однажды вечером вышла из фургона под забинтованное облаками небо, и тут со школьной ограды спрыгнули трое. И прямо к ней — два незнакомца и ее двоюродный брат Рик в майке-безрукавке, стриженный под "ноль" футболист, — он только на макушке жидкий чуб оставляет, красит его, представь себе, в зеленый попугайский цвет. Незнакомцы были в костюмах и действовали с отработанной слаженнос-

тью, которая явно приелась им самим. Разве сообразишь, как следует приветствовать людей, когда они спрыгивают с ограды в безымянном городе и даже у твоего двоюродного брата, у этого безмозглого здоровяка, вид непроницаемо-зловещий.

Они втолкнули ее в какую-то машину и отвезли в какой-то мотель, где в кресле с огнеупорной обивкой сидел ее отец, почему-то разутый. Он говорил долго и с чувством, распространялся в стиле бульварной прессы насчет родительской любви, матери и домашнего очага, а она схитрила — выслушала его умилительно-занудные речи, и папа прослезился, и поцеловал ее, и обулся, и ушел вместе с Риком, который, когда им было по десять лет, как-то залез к ней в трусики, — воспоминание об этом вечно висит между ними в воздухе, точно мускусный запах, приставший к пальцу Рика, к пальцу, который Рик тогда долго обнюхивал; а Скотт сидел, тоже в мотеле, но в другом, изумляясь, что мотив белья проходит через всю жизнь этой молодой женщины.

Брита слушала, закрыв глаза, прижавшись к подголовнику затылком; когда голос Скотта становился громче, она догадывалась, что он повернулся к ней.

Два незнакомца, два психолога депрограммировали ее восемь дней кряду, по восемнадцать часов в сутки. Зачитывали чужие истории болезни. Твердили ключевые фразы. Проигрывали магнитофонные записи и показывали на стене кино. Все это время окна оставались зашторенными, а дверь — на запоре. Ни наручных часов, ни будильника. Когда она засыпала или пыталась заснуть, мужчины уходили, сдавали дежурство женщине из местной методистской церкви: та приходила с плеером, садилась в кресло и слушала через наушники пение горбатых китов.

В эти минуты тишины, минуты полудремы ее порой охватывала нежнейшая любовь к родителям. А еще — волнующее чувство, что с ней произошло нечто драматичное, из ряда вон выходящее: она пала жертвой секты.

Тебя загипнотизировали.

Тебя запрограммировали.

Ты смотришь, точно кролик на удава.

Но бывало и по-другому: ненависть ко всем, причастным к ее похищению, догадка: это же садистская пародия на педагогику — сидишь под замком, как наказанный ребенок, и тебе читают банальную мораль. Занятно, что сами психологи именно так описывали то, что с ней якобы проделывали в Церкви.

Позвонила мать, и они мило побеседовали о практических вопросах: хорошо ли ты питаешься, мы пришлем одежду.

Мигрени участились, к ним прибавились кошмары. Стало появляться ощущение, что в этом мире она лишь проездом. Она никак не могла уразуметь, кто она и что делает в этом теле. Ее имя распалось на отдельные звуки, казалось совершенно чуждым. Она рвалась назад, к наставникам и сестрам. Все, что не Церковь, сотворено Сатаной. Чему учит Церковь? Вернитесь в детство. Если у вас есть теория, отбросьте ее. Если у вас есть знания, пожертвуйте ими ради открытой младенческой души.

Запрограммирована.

Загипнотизирована.

Заморочена.

Когда она попыталась как бы в шутку сбежать, ненароком выскользнуть за дверь, ее грубо отшвырнули к стене. Их руки ощупывали ее сверху донизу, она уж думала, что сейчас они разорвут на ней одежду — просто чтобы насладиться треском корейской синтетики; и Скотт в сумраке придвинулся к ней поближе, проявляя дружеское участие, компенсируя нежностью то, что было отнято другими мужчинами, но для секса в знак сочувствия еще рановато, старичок (сказал он себе).

Какое-то время они ехали молча.

Брита сказала:

— Что-то я не совсем поняла насчет мужа. Вид у нее — незамужнее не бывает.

— Массовое бракосочетание. Публичная церемония с участием еще нескольких тысяч пар. Билл называет это "Истерия конца тысячелетия". Сжимая миллион минут ухаживаний, нежности, любви в единый сгусток, в снежный ком, стремительно набирающий скорость, ты заявляешь: жизнь должна стать более напряженной, более зримой и сюрреалистичной, должна в панике наращивать темп собственных метаморфоз, — иначе какой в ней смысл? Берешь брак, механизм продолжения рода, дарующий нашему биологическому виду уверенность в его праве на существование, — и обращаешь его в катастрофу, в полный коллапс будущего. Это Билл так говорит. Но, по-моему, он кругом не прав.

Они ехали по Айове, потом по Иллинойсу, и Скотт созерцал два ландшафта сразу — своего первого путешествия в поисках Билла и своего возвращения с персонажем, вышедшим из книг Билла. Они видели скачущую по шоссе лошадь — оседланную, но без всадника. В передвижном медпункте Карен измерила себе давление — ей просто нравилось, когда пухлое, упругое кольцо постепенно стискивает руку.

Ты смотришь, точно кролик на удава.

Но если "нормальная жизнь" означает возвращение домой, тихую комнату с кроватью, завтрак, обед и ужин в положенный час, тогда, пожалуй, можно для виду поддаться уговорам, ведь родители ее любят, а провести еще одну зиму в фургоне как-то не хочется.

Они привели Джунетту, бывшую сестру, похищенную родителями, депрограммированную, настроенную против церкви и теперь используемую для подкопов под оборонительные валы товарок. Лицо у нее стало какое-то другое, нечистое. Карен смотрела, как та вбежала в комнату, изображая искреннюю участливость — участливость наш девиз, — а в действительности с высокомерным безразличием. Но они все равно разыграли положенную сцену, вошли в образы лучших, ближе чем кровная родня подруг, трижды обнялись, рыдая. Психологи ждали снаружи, отбрасывая на задернутые шторы общую сросшуюся тень. Джунетта камня на камне не оставила от заповедей Учителя. Надрывным замогильным голосом зачитывала письма разуверившихся сектантов. Карен подметила, что зубы у нее неухоженные, заросшие какими-то желтоватыми отложениями. Пресловутая проблема винного камня, зубного налета. Карен схитрила — ушла глубоко в себя и там посиживала с полным комфортом, следя за ханжой Джунеттой через окошки глаз.

Ты, может быть, по своему опыту знаешь это чувство — как говорится, сам с собой в разладе: например, собираешься уйти, но хочется остаться, — и тут приводят какую-то гадину, и невольно тянет полоснуть ее по шее чем-нибудь острым.

Где-то посреди Огайо они сделали остановку – решили переночевать в мотеле. В воздухе повисла неловкость. Оба устали – от разговоров, от езды. Скотт чувствовал: она гадает, как ее угораздило сесть в машину к чужому человеку, какому-то подозрительному доброхоту, да кто он вообще такой, почему она должна сидеть с ним в комнате, очень похожей на ту бурую коробку, где ее голову пытались опорожнить, вывернуть наизнанку, словно бумажный фунтик с рисом на свадьбе. Одна и та же комната растиражирована на всю общенациональную сеть мотелей, от Тихого океана до Атлантики, и этот тип заставит меня ночевать в каждой из них.

Тогда он рассказал ей о Билле, рассказал все, что знал о творчестве, человеке, все хорошее, все плохое, о том, как глубоко врос в его жизнь сам. Она ничего не говорила, но, похоже, пыталась его услышать, вспомнить, что есть другой мир, мир литературы, уединенной жизни, росистых зарослей осоки.

Они устроили себе праздник – пошли ужинать в ресторан. Зал, куда попадаешь по висячему мостику, меню в узорчатом переплете. Она впервые посмотрела на Скотта. Иначе говоря, наконец-то его увидела, осознала, какими бескорыстно-необычайными были последние тридцать шесть часов, различила отпечаток этой необычайности на его лице. Они вернулись в номер. Для сочувственного, спасительного, нерасчетливого секса время по-прежнему не приспело, и Скотт задумался, все ли правильно делает. Она рассказывала, потом заснула, потом растолкала его, чтобы кое-что досказать.

Они ей говорили: да, уход из секты мучителен, ты перестаешь чувствовать себя посвященным.

Они говорили: мы же знаем, ты хорошая девушка, просто сейчас у тебя трудный адаптационный период, а твои родители тем временем ждут, молятся и выписывают чеки за реанимацию твоей души.

Они заставили ее признать, что церковь превратила ее в робота. Она повторяла нараспев: “Обработала меня – превратила в робота, обработала меня – превратила в робота”. В ту ночь у нее в голове опять вспыхнули колючие лучи. Она встала с постели и попыталась что-то сказать женщине в наушниках, но губы не слушались, и спустя какое-то время она очнулась в туалете, стоя на четвереньках на полу: ее рвало национальными кушаньями со всего мира.

Они сказали ей: ну ладно, отправим тебя в центр реабилитации, где заблудшие, исчахшие души, изломанные самыми разными сектами и движениями, находят приют, получают консультации психологов.

Приехал Рик, привез одежду, карманные деньги, ящик с деликатесами, переложенными шикарной соломкой. И все поехали в аэропорт. В кармашке на дверце Карен нашла пестрый буклет “Как рассказывать детям о раке”, стала его перелистывать. Когда все вылезли из машины, она увидела полицейского и кое-что придумала – подошла к нему и сказала, что ее похитили. И указала ему на похитителей, а те... есть такой глагол, который может ассоциироваться со спокойствием и уверенностью, но в действительности означает “растеряться”... Ага, вот: они окаменели. Да и вид у них был виноватый – и поделом им всем, даже двоюродному братцу с зеленым чубом. Итак, на тротуаре разгорелся многоголосый спор, слившийся с обычным гамом аэропорта. Кто-то возразил, что закон штата об опеке дает право... а Карен бросилась бежать, стремглав понеслась по залам, потом вниз по какой-то лестнице, ощущая, что лег-

ка, молода и ловка, пробилась сквозь толпу к дверям нижнего яруса, наружу, прыг в такси, и шепотом водителю: “В центр”.

Она не знала, какого города это центр, но, добравшись туда, отложила пятьдесят долларов на будущее, а остальные сунула в окошечко автобусной кассы; билет на автобус компании “Грейхаунд”; спустя три часа она вышла в Уайт-Клауде, в городе, чье имя — Белое Облако — навеяно небом, где Скотт и увидел ее бредущей по почти безлюдной улице.

Брита сказала:

— У меня есть снимок Эвы Арнольд, сделанный в городе Уайт-Клауд, штат Канзас. По-моему, на нем как раз и изображена главная улица с кирпичным зданием — наверняка то самое, у которого остановилась Карен, когда вы с ней заговорили. И трактор почти наверняка есть, а может комбайн, в общем, какая-то сельскохозяйственная машина с большими колесами.

— Только нас там нет, ни ее, ни меня.

— А на одном из магазинов — та вывеска с забавным словечком, про которую вы упомянули, слово, скорее всего, индейское, и вся фотография — бескрайность неба, бескрайность улицы, картина заброшенности, потрясающей и банальной, — в каком-то смысле сводится к этому странному слову на вывеске.

— Вспомнил. “Ха-Тсси-Каа”. Деталь из Билла Грея. И весь город из Билла Грея, серьезно.

Наконец, они поехали тем же самым маршрутом, по которому Скотт и Брита едут теперь, только, разумеется, в обратном направлении, и Карен расспрашивала о Билле. Скотт вдруг сообразил, что она впервые сказала больше десяти слов кряду о том, что не касается ее самой. Он не знал, позволит ли Билл ей остаться. Но тот, как оказалось, даже ничего не стал обсуждать. Они вошли в дом, заговорили с Биллом о поездке, и Карен, по-видимому, понравилась Биллу. В глазах у него проглянула насмешливая отрешенность, означающая: “О некоторых поступках, пока их не совершишь, нельзя наперед знать, разумные они или дурацкие”.

Прочитав романы Билла, она перебралась с продавленной кушетки в постель Скотта, и ему стало казаться, что она была с ним всегда.

Билл лежал и курил, с пепельницей на груди. Всякий раз, когда он вот так укладывался, ему приходили на ум старые богачи-алкоголики в нью-йоркских особняках, задыхающиеся в дыму своих медленно тлеющих матрасов.

Вошла Карен в трусах и безразмерной футболке.

— Немного полегчало, мистер Билл?

Забралась на кровать, села Биллу на живот, выпрямилась, руки на бедрах.

Из коридора сочился свет.

— А давайте-ка вы погасите сигарету и покурите Скоттовой марихуаны. Авось поможет заснуть, если иначе успокоиться нельзя.

— Мне сейчас не до сна.

— Я к траве так и не пристрастилась — какая-то избирательная брезгливость.

— Мне после нее снится, будто у меня разрыв сердца.

— А Скотт ее курит, в основном чтобы снять напряжение — после ночной возни с рукописями или архивом.

— Сейчас мне нужно не то, что снимает, а то, что поднимает.

Она немного попрыгала на нем, пока он не застонал, потом присела на корточки.

– Он говорит, ты близко знаком с целым спектром веществ, изменяющих биохимический состав организма.

– Это разрешенные лекарства. По рецептам, выписанным врачами. Все строго по закону.

– Под одеялом что-то встрепенулось – отчетливо чувствую.

– Я тебе когда-нибудь говорил, как моя первая жена...

– Нет, по-моему. Что – как?

– Она вечно твердила, что я – один сплошной член. Я столько времени проводил запершись на замок, мне так не хотелось говорить о своей работе, а потом и обо всем прочем, что нам оставался только животный секс. Но мы и о нем не говорили.

– Секс молча.

– Она вообще не любила писателей. А я, дурак, слишком поздно это понял.

– Хорошо, ты дурак, а она? Вышла за писателя.

– Она ожидала, что мы друг под друга подладимся. Женщины верят в регулировочные механизмы. Женщины хотят конкретных вещей и умеют их добиваться. Ради будущего финансового благополучия они готовы на риск.

– А я о будущем никогда не думаю.

– Ты сама из будущего, – тихо сказал он.

Она отняла у него сигарету, загасила, потом поставила пепельницу на пол, отпихнула подальше.

– А как это – когда снится, будто у тебя разрыв сердца?

– Паника. Бешеный пульс. Потом просыпаюсь и не могу понять – в реальности пульс подскочил или мне приснилось. Я не хочу сказать, будто сны нереальны.

– Все реально.

Вытянув руки над головой, она ловко выскользнула из футболки, и Билл едва не отвернулся. Всякий раз, когда она это проделывала, когда взметались волосы и колыхались груди, он лишь моргал, изумленный и ослепленный: каково увидеть красоту во всем ее блеске? Он мысленно превратил ее движения в фильм, в последовательность поз, в историю о застигнутой врасплох грациозности и стройности, запечатленную на кинопленке памяти. Ей никогда не узнать, что больше всего его будоражит один мимолетный миг, один кадр: выставив острые локти, она освобождается от смятой футболки, потягивается с нарочитым зевком, заставляет его забыть, на каком он свете.

– Я знаю, спрашивать неприлично.

– И тем не менее... – сказала она.

– Скотт знает, что ты ходишь ко мне наверх?

Совместными усилиями они стаскивали с него пижаму, сначала один рукав, потом другой, но сделали передышку, потому что его одолел кашель.

– А Скотт хоть чего-то в этом доме не знает?

– Вот и я так рассудил, – сказал он.

– Он дружит с мышами. И знает, из какого окна в любую фазу Луны красивее всего падает лунный свет.

Она повернулась, чтобы откинуть одеяло и развязать тесемку на его штанах.

— И он не возражает, — сказал Билл.

— Не знаю, есть ли у него выбор. Он ведь нас еще не застрелил, так?

— Еще нет.

— И не застрелит.

— Скорее всего, не застрелит.

— И вообще, и вообще, и вообще. Зачем он меня сюда привез? Для тебя.

Билла это нисколько не утешило. Ему хотелось верить, что слова просто так слетели у нее с языка, и она, как обычно, сама не поняла, что сказала. Но вдруг она в это верит. Вдруг так и есть. Хорошенькое дело: Билл воображает, будто предал Скотта, а тот все подстроил с самого начала.

Его член танцевал в ее руке.

— По-моему, пора перейти к соитию.

— Да, детка, — сказал Билл.

Подойдя к комоду, она достала из среднего ящика маленький пакетик. Вытащила один презерватив. Вернувшись к кровати, села в ногах у Билла, приступила к облачению.

— Кого ты оберегаешь, себя или меня?

— Теперь это норма.

Он подметил, как поглощена она этим занятием, как ловко действует тонкими пальцами, старается, чтобы получилось мастерски, — серьезная девочка, одевающая куклу.

Войдя в мансарду, Скотт замешкался, начал осматриваться. Длинное помещение, вдоль стен — череда опор. В потолке — окно, под ним натянут большой кусок полиэтилена — от протечек. Брита петляла по квартире, зажигая свет. Отгороженный угол, служащий кухней и столовой, полупотайная ниша-кладовка с полками и ящичками. Скотт шел за Бритой по пятам. По дороге выключил две лампы. Диван и несколько кресел, составленные в кружок. Дальше — лаборатория с темными шторами на дверях. В южных окнах четко вырисовываются на фоне ночного неба башни ВТЦ, массивные-массивные, близкие-близкие. Воплощение глагола "нависать" во всей его несокрушимой и грозной мощи.

— Странники заслужили чай. Сейчас поставлю.

— Наконец-то я почувствовал, что повидал Нью-Йорк изнутри и снаружи — не сходя с места, прямо через окно.

— Когда дождь идет снаружи, он и сюда заходит.

— Брита, любые неудобства...

— Квартиры такого типа есть и побольше. Но мне теперь и эта не по карману. И миллионоэтажки все время перед глазами.

— У одной наверху антенна.

— Это самец.

— Чай — как раз то, что нужно, спасибо.

На кухне она стала доставать из шкафов и ящиков посуду, неспешно брала и ставила на стол с ощущением, будто не была здесь месяц, даже полтора; чувство "Вот я и дома" захлестнуло ее с головой. Эти чашки и ложки помогают осознать, что ты жива и невредима, отвоевывают тебя у перистых следов реактивных самолетов, у механики перемещений в пространстве. Она так устала, что почти слышала свое изнеможение, слышала, как дребезжат кости; приходилось все время себя одергивать, напоминая, что поездка не продлилась и двух суток. Скотт задержался в

дальнем углу у столика с журналами, рассматривая обложки, почти машинально их комментируя.

По зданию разносился грохот движущегося лифта; старая железная дверь, покрашенная зеленой краской, то и дело со звоном захлопывалась в ночи.

Они попили чаю.

— Чем этот город уникален — у людей здесь нет и быть не может насиженных мест. Семеро тайных королей владеют всем, что здесь есть, и переставляют нас по доске. Людей выметают на улицу — квадратные ярды нужны владельцам. Потом людей выметают с улицы — у воздуха, которым они дышат, нашелся хозяин. Небо вместе с воздухом продается и покупается, а на тротуарах, в коробках — утрамбованные тела. Но и коробки попадают под метлу.

— Любите преувеличивать.

— Я преувеличиваю, чтобы не сдохнуть. В том-то и весь смысл Нью-Йорка. Я обожаю этот город, целиком ему доверяю, но знаю: как только злость меня отпустит, я пропаду.

Скотт сказал:

— Я обычно обедал один. И стыдился этого. Ладно бы просто один — но еще и стоя. Вот неразрешимая загадка нашего времени: мы готовы есть стоя. Я обедал стоя, чтобы острее чувствовать свою анонимность, чтобы не забывать: я живу в мегаполисе. Сотни тысяч людей обедают поодиночке. Едят поодиночке, ходят поодиночке, разговаривают сами с собой на улице, произнося глубокомысленные и зловещие монологи, точно святые в кольце бесов-искусителей.

— Я очень хочу спать, — сказала Брита.

— А мне пока неохота садиться за руль.

— Скотт, вы же шофер.

— По-моему, я сейчас не смогу и пятнадцати футов проехать.

Он встал и выключил еще одну лампу.

На востоке завыли сирены.

Потом он сел рядом с ней на диван. Наклонился, прикоснулся ладонью к ее щеке. Она смотрела в потолочное окно: по стеклу пробежала мышь. У Бриты была теория, что от сирен мыши теряют рассудок.

Она сказала:

— В некоторых закусочных, где едят стоя, тебя заставляют упираться взглядом в зеркало. Абсолютный контроль над реакцией человека, вроде тюрьмы для потребителей. От тебя до зеркала буквально несколько дюймов, его все время задеваешь, пытаясь донести кусок до рта.

— Зеркало — мера безопасности. Заслон. Помогает укрыться. На первом плане ты один как перст, но в то же самое время ты часть роя, беспокойного многоголового слизняка, нависающего над твоим крохотным лицом. Билл не понимает, как сильна у людей потребность раствориться, потерять свое “я” в чем-то, что больше тебя. Идея массовых бракосочетаний в том, что выжить мы сможем лишь как сообщество, а не как одиночки, пытающиеся укротить целый легион своевольных сил. Массовый межрасовый брак. Цветные обращают белых в истинную веру. Всякая революционная идея предполагает риск и переворот. Я знаю все недостатки системы Муна, но в теоретическом плане это смелое, пророческое учение. Попробуйте подумать о будущем — сами обнаружите, какое вас охватит уныние. Что ни новость, то дурная. Если наши запросы и потребности будут шириться, если мы будем пры-

гать выше головы, тянуть загребущие руки к чему ни попадя — нам не выжить.

— Кстати, о будущем.

— Неужели вы меня выпроводите на улицы этого города?

— Мне нужно поспать, заглушить шум в голове. Такое ощущение, что вас троих я знаю уже много лет, и чертовски от этого устала.

Они сидели в темноте, вдали от единственной включенной лампы — тусклого светильника над плитой.

— Мы слишком далеко забрались в космос, чтобы настаивать на различиях между нами. Как те люди на Великой стене — помните, вы говорили, мужчина и женщина идут через весь Китай навстречу друг другу. И смысл вовсе не в том, чтобы взглянуть новыми глазами на планету. Новыми глазами нужно взглянуть на людей. Мы видим их из космоса, где пол и внешность ничего не значат, где имена ничего не значат. Мы научились смотреть на себя сверху, не меняя ракурса, словно из космоса, с точки зрения запущенной на орбиту камеры. Мало того, смотреть словно бы с Луны. Мы все лунатики, а если нет, должны на них выучиться.

Она услышала, как в очередной раз грохнула дверь лифта. Глаза у нее были закрыты. Но она не спала — зато Скотт задремал. Обнаружив это, она осторожно поднялась, накрыла его одеялом. Потом направилась в другой конец мансарды, миновала кухню, забралась по лесенке на антресоли, на свою кровать.

Сняв только кроссовки, не раздеваясь легла на спину. Спать внезапно расхотелось. Появилась кошка, уселась у локтя, уставилась на хозяйку. С улицы доносились крики, ночные серенады, последнее время звучащие в любой час; там мальчишки, справляющие нужду на тела спящих, там женщина, которая живет в пакетах для мусора, использует их как одежду и спальный мешок, никогда не расстается с огромным пластиковым пакетом, набитым пакетиками поменьше. И теперь ветер, дующий с реки, доносил до Бриты голос этой женщины — одну из множества трескучих радиопомех в ночи.

Скоро в ее голове начал заново, точно фильм, прокручиваться проделанный путь, нитка, на которую нанизано несколько часов жизни. Странно лежать, забившись в укромный угол, и в то же самое время ощущать кинетическую энергию движения, слышать свист воздуха, обтекающего капот. Память тела, пульсирующая под кожей. Презрительно выгнув лунным полумесяцем спину, переступила через ее локоть кошка лунной масти. Брита услышала с улицы завывание автомобильной сигнализации. Автоматически заданная последовательность звуковых сигналов — в ее разум опять поступает команда "Опасность". Сплошные команды, сплошная закодированная информация, все на свете имеет второй, зашифрованный смысл — возьми да разгадай. Выбирай, которому из кризисов верить. А ей надо бы разгадать шифр собственной души — иначе не вынести даже самого ординарного дня. Брита схватила кошку, усадила к себе на грудь. И подумала о своем теле, — подумала, что оно помешалось на обороне, истосковалось по былой уверенности. Оно хочет стать укрытием от законов мироздания, от натиска всего, что снаружи. Любовь, прикосновения — к сладости всего этого теперь примешалась задумчивая печаль. По сексу тоскуешь всегда, даже непосредственно во время акта. Потому что он как вызов разрушительной работе времени. Потому что его внешняя сторона — эта вышивка страхом по позору — у всех на виду. Она предпочитала, чтобы ее тело продолжало оставаться тайной, не

осквернённой запоздалым сожалением и противоречивыми чувствами. Из суеверия не хотела выкладывать врачам все подробности. Боялась, что они захватят власть над ее телом, дадут имена всем пораженным органам, произнесут вслух все устрашающие слова. Очень долго она лежала с закрытыми глазами, пытаясь погрузиться в сон. Потом погладила кошку и ощутила под рукой свое детство. В одном прикосновении — все целиком, все такое же, как прежде, перетекло без остатка из ушедших летних дней, старых домов, полей в реку ее руки.

Она юркнула под одеяло, повернулась на бок, лицом к стене, демонстрируя, что всерьез решила заснуть. Медленно-медленно соскальзывать в пустоту, где глохнет внутренний голос, где исчезает разница между светом и тьмой. Но в конце концов наступил момент, когда ей пришлось признать, что спать не хочется. Она сбросила одеяло и, перевернувшись на спину, полежала немного. Потом слезла по лестнице и подошла к окну, увидела клубы пара над вентиляционной решеткой метро. Зазвонил телефон. Просто ленд-арт[1] какой-то — столпы пара поднимаются над всем городом, высятся, белые и безмолвные, посреди пустынных улиц. Она услышала, как включился автоответчик, стала ждать, пока звонящий заговорит. Мужской голос, знакомый-знакомый, словно бы усиленный, заполняющий всю мансарду от пола до высокого потолка, но вначале она его не узнавала, никак не получалось подобрать к словам контекст, она решила: должно быть, кто-то из тех, кого я знала много лет назад, знала очень давно и очень хорошо, голос словно бы наматывался на ее тело, странно близкий, ближе некуда.

— Ты уехала не попрощавшись. Хотя я не поэтому звоню. Мне не спится, тянет с кем-нибудь поговорить, но звоню я опять же не поэтому. Знаешь, как чудно́ сидеть и разговаривать с механизмом? Чувствуешь себя включенным телевизором в пустой комнате. Играешь спектакль перед пустым залом. Брита, по твоей милости я познакомился с новым видом одиночества. Брита, как приятно произносить твое имя. Одиночество оттого, что я знаю: меня не услышат еще несколько часов или дней. Наверно, ты постоянно проверяешь голосовую почту. Из самых далеких стран получаешь доступ к памяти автоответчика. "Получать доступ" — выражение для террористов. Если я ничего не путаю, для этого требуется секретный пароль. Набираешь пароль на клавиатуре в Брюсселе и взрываешь здание в Мадриде. Вот мерзкая мечта, которой служит технология удаленного доступа. Сижу тут в своем плетеном кресле, смотрю в окно. Птицы проснулись, и я вместе с ними. Еще одна растянутая, докуренная до самых пальцев заря, опять во рту все горит, но бывало на моем веку и похуже. Вчера вечером, когда ты уехала, я больше не пил. А теперь говорю медленно, потому что нет ощущения слушателя, даже молчащего слушателя, а молчание бывает разное, чертова дюжина видов, напряженное, нетерпеливое, скучающее, обиженное, и я чувствую себя довольно неловко, произнося речи перед отсутствующим другом. Надеюсь, мы друзья. Но я не поэтому звоню. Мне все чудится, что мой роман шляется здесь по коридору. Вот он, еле ковыляет, вообрази-ка голого горбатого уродца с обкорнанными гениталиями, на редкость отвратительного, ко всему прочему на макушке у него шишка, как у химеры, из уголка рта рваным лоскутом свесился язык, а ноги — вообще

1. Ленд-арт — жанр современного искусства на стыке концептуальных инсталляций и ландшафтной архитектуры. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

страх божий. Он все ластится ко мне, хочет прижаться, прилепиться. Кретин, выродок. Распухший от воды, слюнявый, в мокрых штанах. Я говорю медленно, чтобы ничего не переврать. В конечном итоге роман — мой, и я отвечаю за то, чтобы привести его в надлежащий вид. Одиночество голосов, хранящихся на кассете. К тому времени, как ты это услышишь, я и сам забуду, чего наговорил. К тому времени я буду давнишним сообщением, похороненным под множеством новых. Техника превращает в сообщения все на свете, это сужает спектр жанров, убивает всю поэтичность понятия "никого нет дома". Дом — отжившее понятие. Больше нет такого — "я дома" или "никого нет". Люди просто берут или не берут трубку. Что мне неловко, я приврал. Наверно, так с тобой даже легче говорить. Но я не поэтому звоню. Я звоню описать рассвет. Блеклый свет жидкой кашей расползается по холмам. Небо частично затянуто облаками, и потому кажется, будто свет льнет к земле, свет тихий, рассеянный, спокойный, нежный, скорее болотный огонь, чем сияние небосвода. Ну, думаю: о таком тебе захочется послушать. Думаю: этой женщине такое куда интереснее, чем всякое разное, что ей попытаются сообщить другие. Гряда облаков длинная, иссиня-серая и вообще замечательная. Больше о ней сказать нечего, честно. Окно открыто, и я чувствую вкус воздуха. Похмелье меня не так уж мучит, и свежесть воздуха не кажется упреком. Воздух замечательный. Воздух — то что надо. Я сижу в своем старом плетеном кресле, положив ноги на скамью, спиной к пишущей машинке. Птицы замечательные. Мне их слышно с ближних деревьев и издалека, с полей, на полях вороньи стаи. Воздух холодный, обжигающий, замечательный и пахнет именно так, как ему положено пахнуть ранним весенним утром, когда человек разговаривает с механизмом. Ну, думаю: вот о чем эта женщина захочет услышать. Он пытается за меня уцепиться, влажный на ощупь, тонкокожий, пытается прилепиться своими сморщенными присосками к моему телу.

Автоответчик прервал его, отключившись.

Она почувствовала: за спиной, совсем рядом, стоит Скотт. Он прижался к ней, возбужденный и сонный, обхватил. Руки, пальцы... вот он подцепляет ремень, на котором держатся ее джинсы. Она прислонилась затылком к его плечу, сосредоточилась, он приник еще теснее. Она зевнула, потом рассмеялась. Он запустил руки ей под свитер, расстегнул ее джинсы, провел ладонями по животу. При каждом касании — тревога, настороженно вздрагивает все тело. Он задрал ей свитер до плеч, потерся щекой о ее спину. Она сосредотачивалась — так вслушиваются в звуки в толще стены. Чувствовала все, что происходит. Задумчиво выжидала, дыша старательно и ровно; неспешно повела плечами, почувствовала спиной дрожь его шершавой, как наждак, щеки.

Она знала: он не проронит ни слова, даже когда будет взбираться по лестнице, воздержится даже от избитых шуточек про лестницу; и была рада молчанию, благодарна тактичному мальчику, который, бледный и поджарый, с тихим стоном совершал восхождение по ее телу.

7

В самой гуще пробки Билл распахнул дверцу — впустил внутрь едкую вонь раскаленного металла, — выскочил, зашагал прочь. Скотт кричал вслед, чтобы он подождал, чтобы остался, чтобы смотрел по сторонам. Билл пробирался между намертво застрявшими такси; в затемненных

салонах клевали носом водители — прямо как заключенные, коротающие дни за просмотром телесериалов. Скотт истошно прокричал, где и во сколько они встречаются. Билл не оборачиваясь помахал в ответ, замешкался на краю единственной полосы активного движения, пока в череде машин не выдался просвет.

Всё куда-то мчится, не успеешь разглядеть, как ускользнуло; сомнительный шик авеню, оживленная толкотня у магазинов, разложенные на тротуаре бусы, глубокая река отражений: в окнах летают головы, на дверцах такси плещутся жидкие небоскребы, фигуры подрагивают и вытягиваются, — занятно, как все это не позволяет себя комментировать, а просто налетает на тебя с размаху, точно твой первый день в Джелалабаде, налетает и становится фактом. И наотрез отказывается намекнуть, чего от тебя ждет. Что ж, Билл впервые за много лет оказался в Нью-Йорке, и нет здесь ни одной улицы, ни одного здания, которые ему хотелось бы увидеть снова, никаких призраков минувшего, пробуждающих тоску или светлую печаль.

Отыскав нужный дом, он вошел в вестибюль и приблизился к овальной стойке, где среди телефонов, экранов и дисплеев сидели два охранника — мужчина и женщина. Он назвался, подождал, пока женщина сверялась со списком посетителей на дисплее. Задав ему несколько вопросов, она куда-то позвонила, и через минуту появился мужчина в форме, которому предстояло проводить Билла на нужный этаж; получив на стойке гостевой пропуск — квадратный кусок самоклеящейся бумаги, он тут же налепил его Биллу на лацкан пиджака.

Перед лифтами был еще один пункт проверки, но их пропустили без задержек. Экспресс-лифт вознес их на самый верх здания; когда двери раздвинулись, на площадке уже ждал Чарли Эверсон в пестром галстуке. Он взял Билла за плечи, испытующе заглянул в лицо. Ни тот ни другой не произнесли ни слова. Затем Чарли кивнул охраннику и повлек Билла в дверь в глубине приемной. Они проследовали по длинному коридору, увешанному книжными обложками в рамах, и вошли в просторный солнечный кабинет, где уживались полированное дерево и разнообразные образцы флоры.

— Где твой “Бушмиллз”? — спросил Билл. — Сейчас бы глоток солодового — в самый раз

— Я теперь не пью.

— Но в шкафу сколько-нибудь держишь для гостей-писателей.

— Только “Боллигоэн”. Минеральная вода такая.

Билл пристально посмотрел на редактора. Затем сел и развязал шнурки — ботинки на Билле были новые, тесноватые.

— Билл, прямо не верится.

— Еще бы. До чего же быстро, до чего же странно, море воды утекло.

— Ты на писателя стал похож. А раньше не походил ни чуточки. Сколько лет понадобилось. Пиджак какой-то знакомый.

— Да он, кажется, твой.

— Неужели? Это когда Луиза Уигенд надралась и стала насмехаться над моим пиджаком.

— И ты его снял.

— Мало того, что снял, — на пол бросил.

— А я сказал, что мне нужен пиджак, и правда был нужен, а она сказала — или кто-то еще сказал: “Возьми этот”.

— Не я. Я этот пиджак любил.

— Добрый старый твид.
— Сидит на тебе не очень.
— Я его раза четыре надевал, не больше.
— Надо же, отдала тебе мой пиджак.
— На чужое Луиза никогда не скупилась.
— Она умерла, знаешь.
— Чарли, не начинай.
— Что слышно от Хелен?
— Кстати о мертвых? Ничего.
— Хелен мне всегда нравилась.
— Что ж ты на ней не женился? — сказал Билл. — Уберег бы меня от уймы проблем.
— Проблема была не в ней. Проблема была в тебе.
— Один черт, — сказал Билл.

Широкое лицо Чарли заливал здоровый румянец — дар ветра, особая примета яхтсмена. Жидкие белесые волосы, короткая стрижка. Сшитый на заказ костюм. Пестрый галстук — дань традиции, символ неистребимой студенческой беспечности, напоминание, что перед нами все тот же Эвви, а его занятие — все еще издание книг, а не мировая война с использованием лазерных технологий.

— Те времена так и стоят у меня перед глазами. Картина постоянно обогащается. Память то и дело подкидывает что-нибудь новенькое. Вдруг всплывают целые куски из разговоров пятьдесят пятого года.
— Ты с этим поосторожнее — еще вздумаешь изложить все на бумаге.
— Радостей такой высокой пробы у меня больше не будет — даже если мне суждено жить да поживать, дотянуть лет этак до восьмидесяти пяти. Вспоминать все это — уже счастье. Беседы о возвышенном, нескончаемые ужины, пьянки, споры до хрипоты. В три утра выруливали из бара, доходили до угла и никак не могли расстаться, ведь нам так много нужно было друг другу сказать, а мы лишь по верхам прошлись, столько тем упустили. Литература, живопись, женщины, джаз, политика, история, бейсбол — нас волновало все, что только есть под солнцем. Знаешь, Билл, идти домой мне никогда не хотелось. А когда я все-таки добирался до дома, то не мог заснуть. Голова гудела от разговоров.
— Элеанор Бауман.
— Господи ты боже, да-да-да. Фантастическая женщина.
— Она была умнее нас с тобой вместе взятых.
— И, к сожалению, безумнее тоже.
— Странный запах изо рта, — сказал Билл.
— Фантастические письма. Она мне написала не меньше ста удивительных писем.
— Чем от них пахло?
— Много лет писала. Я располагаю собранием ее писем за много лет.

Чарли сел боком к своему письменному столу, вытянув ноги, сцепив руки на затылке.

— Очень приятно было услышать твой голос, — сказал он. — Я поговорил с Бритой Нильссон после ее возвращения, но она соизволила сообщить только одно — что передала мою просьбу. Долго же ты собирался позвонить.
— Работа.
— И как идет, хорошо?
— Об этом не будем.

— Целый месяц пробирался. Мне всегда казалось, что я отлично понимаю, почему ты ушел в затворники.

— Мы здесь для таких разговоров, что ли?

— У тебя извращенные представления о месте писателя в обществе. Ты думаешь, писатель — это радикальный маргинал, экстремист, вечно участвующий в рискованных авантюрах. В Центральной Америке писатели не расстаются с оружием — жизнь заставляет. Вот какой порядок вещей тебе всегда казался естественным и правильным. Когда государство стремится перестрелять всех писателей. Когда любое правительство, любая группировка, которая стоит у власти или к ней рвется, боится писателей и охотится за ними, чтобы уничтожить.

— Я ничего рискованного не делал.

— Правильно, не делал. Но все равно подогнал свою жизнь под это мировоззрение.

— Значит, моя жизнь — вроде как лицедейство.

— Не совсем. Никакой фальши в ней нет. Ты и вправду превратился в дичь, на которую охотятся.

— Ясно.

— Потому-то нам и надо поговорить. В Бейруте взяли в заложники одного молодого человека. Он швейцарец, сотрудник ООН, изучал, как поставлено медицинское обслуживание в лагерях для палестинских беженцев. К тому же он поэт. Напечатал с полтора десятка стихотворений во франкоязычных журналах. Об организации, которая его удерживает, мы не знаем практически ничего. Заложник — единственное доказательство ее существования.

— А ты тут при чем?

— Я председатель одного комитета. Мы ставим перед собой благородные цели, например боремся за свободу слова. Большинство из нас — ученые и издатели, комитет только что создан. И вот тебе самая шизофреническая деталь всей этой истории. Организация берет заложника просто потому, что бедняга подвернулся под руку, он, вероятно, говорит им: "Я поэт", и что они немедленно делают? Выходят на нас, черт подери. Их человек в Афинах звонит в наше лондонское отделение и говорит: "В Бейруте в пустой комнате к стене прикован один писатель. Хотите получить его назад — давайте попробуем договориться".

— Угости меня ланчем, Чарли. Я черт-те откуда ехал.

— Обожди, послушай внимательно. Я много раз толковал с тем типом из Афин — до него, правда, не всегда легко дозвониться. Переговоры тянутся уже которую неделю. Иногда на том конце провода нормальные гудки, иногда — только шум океана, иногда говорят: "Его нет дома". Но все-таки мы с ним утрясли план действий. Хотим устроить пресс-конференцию, небольшую, с жестким регламентом. Послезавтра в Лондоне. Рассказываем о поэте-заложнике. Рассказываем об организации, которая его удерживает. А затем я объявляю, что в этот самый момент в Бейруте заложника отпускают, и телевидение показывает об этом репортаж в прямом эфире.

— По мне, ну их в задницу. Какие-то грязные игры.

— Согласен. "Ты мне, я тебе". Но сначала все-таки выслушай.

— Хорошая реклама для вашей новой организации; хорошая реклама для их новой организации, парня выпускают из подвала, журналистам есть о чем писать — никто ничего не теряет.

— Верно. И этот первый успех поможет нам в борьбе с косностью современного общества. А как еще разрушить стену предрассудков, расшатать стереотипы мышления? Нужна публичная акция, которая разбудит воображение, вдохновит на поиск нестандартных решений. Кроме того, беднягу по-другому не выручишь. Тебе этого недостаточно? Наш долг — сделать для его спасения все, что в наших силах, а если попутно общество кое-что узнает о людях, которые его захватили, тем лучше.

— А я-то тут при чем?

— Не повстречай я тогда Бриту, ты был бы вообще ни при чем. Но, когда она сказала, что едет тебя снимать, меня осенило. Если спустя столько лет ты согласился сфотографироваться, почему бы не сделать еще один шаг? Шаг, который поможет нашей организации заявить о себе, подчеркнет, как важна гражданская активность писателей. Не скрою — я надеюсь спровоцировать позитивную сенсацию. Я хочу, чтобы ты поехал в Лондон и почитал на пресс-конференции стихи нашего поэта, штук пять-шесть, по твоему выбору. Всего-то.

— Уговори какого-нибудь швейцарского писателя. А то еще швейцарцы обидятся, что ими пренебрегают.

— Я могу уговорить любого писателя, кого только пожелаю. Но мне нужен Билл Грей. Послушай, я никому не сказал, что ты сегодня здесь будешь. Даже собственной секретарше. Иначе к этой двери стояла бы очередь до самого горизонта, весь город в ней бы летку-енку танцевал. Твое имя вселяет благоговейный трепет. Это нам на пользу — событие приобретет особый оттенок, заставит людей без конца говорить и думать о нем после того, как затихнет эхо наших речей. Я хочу, чтобы один пропавший без вести писатель читал вслух произведения другого пропавшего без вести. Я хочу, чтобы знаменитый романист сказал свое слово о страданиях безвестного поэта. Я хочу, чтобы англоязычный прозаик декламировал стихи по-французски, чтобы старый писатель, всматриваясь в тьму, звал своего молодого коллегу. Неужели не чувствуешь, как гармонично все выстраивается, как красиво?

Билл промолчал.

— Билл, о душе подумай. Я считаю, что этот поступок много даст тебе самому. Хватит сидеть в кабинете, отвлекись от личных переживаний. А я дам тебе клятву. О твоем выступлении не будет объявлено заранее. После выступления — никаких интервью. Съемка — только фото, ни кино, ни телевидения. В пресс-конференции будет участвовать человек пятьдесят-шестьдесят, включая нас. Мне нужен эффект кругов на воде. Весть распространится, пресса станет возвращаться к ней вновь и вновь, любопытство разгорится. Я хочу, чтобы у нашего детища было будущее. Как твой французский, не все еще забыл?

Билл начал рыться в карманах в поисках сигарет. Оба молчали — все сказанное и услышанное следовало обдумать. На ярком пропуске на лацкане Билла значилось: “ПОСЕТИТЕЛЬ. ДОПУСК ОГРАНИЧЕН”.

Чарли перешел на шепот:

— Ночью мы с тобой останавливались прямо на улице и принимались спорить.

— Да, Чарли, было дело.

— Иногда ты меня страшно злил. Все эти твои экстремистские идеи. Рядом с тобой я острее чувствовал свою косность и благоразумие. Почти всякий раз ты нес околесицу, но мне никак не удавалось найти аргументы, к которым не могла бы придраться моя совесть.

— Кажется, мне уже пора.

— Неужели на тебя не накатывают воспоминания? Они, как внезапный прибой, захлестывают, почти валят с ног. Черт возьми, Билл, до чего же я рад тебя видеть.

— Я не вспоминаю — я помню. Постоянно. Практически все.

— Что слышно от Сары?

— Это что, обсуждение моих бывших жен в хронологическом порядке?

— Что от нее слышно?

— Все путем. Ей нравится поддерживать со мной отношения. Она очень ценит тот факт, что мы иногда все еще разговариваем.

— Правда, я ее почти не знал. Ты тогда просто карантин какой-то объявил.

— Просто она была молодая.

— Даже слишком. Ей было не по силам совершить невозможное — ужиться с писателем твоего типа.

— Да все они моего типа.

— Впрочем, жизнь показала, что мне это тоже не по силам. Так я и не уяснил, чем перед тобой провинился.

— Ты провинился тем, что стал моим редактором. Ты же знаешь, на писателей не угодишь.

— Да, что верно, то верно.

— Ты был виноват уже тем, что попадался мне под руку. Любое твое слово или поступок я всегда умудрялся извратить в оправдание своей хандры.

— Сколько же счастливых лет я прожил, выслушивая писателей, — брюзжат они очень занятно. И чем большим успехом пользуются, тем жалостнее хнычут. Меня эта загадка страшно интригует. Может быть, писательский дар и способность изобретательно роптать на окружающую действительность растут из одного корня, обусловлены одной и той же чертой характера? Горечь и раздражение — первопричина творчества или его конечные плоды?

— Или то и другое сразу, — сказал Билл.

— Все жалуются на одиночество. Затворничество невыносимо. Ночью не сомкнуть глаз. Днем от сомнений и душевных мук нервы как струны. Плачьте, плакальщицы, плачьте. Прозаики переходят на интервью. Интервьюеры пишут прозу. Денег всегда мало. Хвалят, да не за то. Ну подскажи, Билл, я весь список огласил?

— Тяжело тебе, наверное. Каждый день общаться с этими мучениками.

— Да нет, легко. Я их вожу в кабаки высшего пошиба. Говорю: "Цып-цып-цып". Говорю: "Попитеньки-попитеньки-попитеньки". Говорю им, что в больших магазинах их книги идут нарасхват. Говорю, что читатели штурмуют торговые центры. Говорю: "Клюйте-клюйте-клюйте". Рекомендую жареного морского черта с савойской капустой. Говорю им, что вокруг прав на переиздание разгорелась целая битва. Режиссеры телесериалов интересуются, издатели аудиокниг интересуются, Белый дом заказал экземпляр для Самого. Говорю: "Отдел рекламы планирует ваш тур в поддержку книги по всей стране". Итальянцы от книги в полном восторге. Немцы закатывают глаза. Ах-ах-ах, ах-ах-ах.

— А сам ты как, Чарли?

— Приучаюсь работать по-новому.

— Давно здесь сидишь?

— Два года.

— А кто хозяева издательства?
— Лучше не спрашивай.
— Хотя бы намекни.
— Лимузины. Ключевое слово — лимузины.
Билл нагнулся завязать шнурки.
— Ну хорошо. О чьих еще кончинах мне следовало бы узнать?
— Нам обязательно об этом говорить?
— Наверно, не обязательно.
— Мы — следующие, — сказал Чарли.
— Нет, сукин ты сын, это я следующий.
— Билл, мне нужна твоя новая книга.
— Я пока работаю.
— Даже если у тебя есть обязательства перед нашей бывшей пыльной прелестной прижимистой лавочкой...
— Конец дописываю.
— Даже если от руин давнишнего договора что-то уцелело, лазейки всегда найдутся.
— Довожу до ума — вот чем я сейчас занимаюсь.
— Мне нужна эта книга, сукин сын.

Они заерзали в креслах. Чарли, скривившись, согнул правую ногу в колене. Одновременно поднявшись, оба повели плечами, разминая мышцы. Билл глянул в восточное окно — небосвод точно фреска на производственную тему: арочные мосты, башенные краны, фабричный дым над Куинзом.

— Ты не отшельник, не лесник, пописывающий книжки, не чудак-самородок. Ты — загнанная дичь. Ты не пишешь политических памфлетов, не опираешься на реальные исторические события, но все равно слышишь у себя за спиной возмущенный рев. Вот в чем противоречие, Билл.
— Похоже, мне дрянные ботинки всучили.
— Насчет Лондона позвони мне сегодня вечером домой. Вот мой телефон. Или, самое позднее, завтра прямо сюда, по возможности до полудня. Самолет у меня ночью. По-моему, тебе необходимо это сделать. Помни. Хотя бы один писатель покинет застенки убийц.

Охранник ждал в приемной. Билл спросил у него, где мужской туалет. Охранник открыл дверь своим ключом, подождал у сушилки. Билл поискал по карманам баночку с лекарственным коктейлем, наконец нашел, вытащил заранее приготовленные дольки амфетаминовых таблеток трех разновидностей — голубые, розовые и белые. Положил их на язык, но, обнаружив, что вода из крана течет только пока отжимаешь пальцем клапан, выплюнул таблетки на ладонь, попросил охранника включить холодную воду. Охранник с готовностью помог. Билл опять положил таблетки на язык, подставил под кран сложенные чашечкой ладони, набрал в рот воды, проглотил, закинув голову. Охранник посмотрел на него, точно интересуясь, все ли прошло по плану. Билл кивнул. Они вышли, сели в лифт и вместе спустились в вестибюль.

Не дойдя до выхода, примерно в пятидесяти метрах от овальной стойки, прямо перед указателем, где перечислялись находящиеся в здании фирмы, Билл замешкался. Обнаружил, что за дверями ждет Скотт — вон он, у дальнего края витрины, выступающей на тротуар наподобие эркера, под углом к подъезду. Скотт стоял к витрине спиной, в руках у него был небольшой сверток — наверняка книги. Билл попятился от стеклянных дверей и закурил. Глубоко задумался, сложив руки на груди, слег-

ка склонив голову к левому плечу. Казалось, его взгляд сосредоточен на кончике сигареты, которую он неловко держит в правой руке. Когда он снова рискнул глянуть на улицу, Скотт переместился поближе к подъезду, но отвернулся к витрине. Билл пересек вестибюль, игнорируя вращающиеся стеклянные двери. Выскочил, на ходу сдирая с лацкана гостевой пропуск, в крайнюю, обычную дверь и смешался с плотной полуденной толпой служащих, вышедших перекусить.

Часть вторая

8

Приходя кормить пленника, мальчик снимал с его головы мешок. У самого мальчика на голове тоже был мешок — грубая холщовая маска с кривыми прорезями для глаз.

Время с некоторых пор течет странно, оно словно было здесь с самого начала и остается, даже когда уходит. Примешивается по капле к его бреду и лихорадке, к вопросу "Кто я?". Харкая кровью, он смотрел, как плевок сползает розовым слизняком в слив канализации — и в плевке тоже трепетало время.

Пленник очень нервничал оттого, что не мог догадаться: зачем мальчик скрывает от него свое лицо?

Сюда его привезли в автомобиле, у которого не хватало одной дверцы. Он видел голого по пояс старика, повисшего на колючей проволоке где-то на полях орошения.

Будь внимателен, примечай детали, старательно твердила кассета, звучащая в его голове, голос, нашептывающий: "Ты хитрее, чем похитители". Пленник почувствовал, как мальчик приближается, чтобы содрать мешок и засунуть ему в рот еду, заглянул в прорези мешка на голове мальчика.

Время пропитывает собой воздух и еду. Черный муравей, взбирающийся по ноге пленника, тащит на себе глыбу времени, в медлительности лапок — неспешность всеведущей древности.

Бедный старикан наверняка заблудился в темноте и налетел на проволоку: выживший из ума, голый по пояс, распятый, все еще живой.

Он ждал момента, когда сможет начать подсчитывать вспышки ракетных залпов. Слыша, как взлетают ракеты, он одновременно видел вспышки, хотя в его мешке не было прорезей для глаз.

Ремесло заложника было ему внове, и он очень хотел освоить его как надо. Пока жевал, все время вычислял, сколько метров от одной стены до другой. Измерь стены, потом каждый кирпич в стенах, потом слои известки между кирпичами, потом тонкие, как волос, трещины в известке. Считай все это экзаменом. Покажи им, как развит твой интеллект.

Выглядывая в прогал на месте дверцы, он видел бельевые веревки, протянутые сквозь пробоины в серых каменных стенах.

Мальчик содрал с него мешок и начал кормежку, всовывая пищу ему в рот, всегда слишком скоро, раньше, чем он успевал прожевать предыдущую порцию.

Он признал реальность своего заточения. Смирился с наличием провода, который соединял его запястье с водопроводной трубой. Признал реальность мешка. Своей головы под мешком.

Планов у пленника было предостаточно. Если у него будет время и учебные материалы, он выучит арабский и блеснет перед своими похитителями, станет здороваться с ними на их родном языке, вести беседы на несложные темы — только дайте ему нужные материалы.

Иногда мальчик издевался над ним. Валил на пол и приказывал встать. Валил на пол и приказывал встать. Пытался голыми руками вырвать ему зубы. После ухода мальчика боль не унималась еще долго-долго. Так уж устроено время — оно и боль стали неразделимы.

На военных тоже нужно произвести хорошее впечатление. После освобождения его отвезут в секретный штаб и будут чеканить вопросы тем же голосом, который он слышал на учебной кассете, и восхитятся его памятью на детали, его анализом всех аспектов и сторон, моментально установят местоположение здания и название группировки, которая его там удерживала.

По громыханию войны он догадался: наступил вечер. В первые недели громыхание начиналось с закатом. Сначала "та-та-та" автоматов, потом верещание клаксонов. Забавно думать, что война вызывает пробки на шоссе. Как в нормальной жизни: то же возмущение, та же ругань.

Мальчик заставлял пленника лечь на спину с согнутыми в коленях ногами и бил его по пяткам монтировкой. Боль не давала ему спать, а потому время растягивалось и распухало, превращалось в эдакое разумное существо, которое везде, куда ни сунься.

Он подумал о распятом на проволоке полуголом старике. Дальше момента похищения воспоминания не простирались. Время начиналось оттуда, если не считать жалких тусклых обрывков, проблесков лета, спрессованных минут жизни в каком-то доме, невесть где.

Но даже военные — да что они знают, эти военные, да неужели он действительно верит, будто военные могут сделать важные выводы из длины и ширины кирпичей, даже будь тут кирпичи, которые можно было бы считать и мерить, — а ведь кирпичей-то нет, даже если бы из-за стены доносились какие-то характерные звуки — а они едва слышны.

Не было последовательности событий, не было нити повествования, ни один день не влек за собой наступление следующего. На полу около своего матраса из пенки он видел миску и ложку, но мальчик продолжал засовывать ему куски в рот рукой. Иногда после кормежки мальчик забывал надеть ему мешок. Тогда пленник начинал нервничать.

Потом вступали минометы, сухая земля пела под напором увесистых, грузно падающих осколков, неспешно разлеталась пыль, миллионы сталкивающихся пылинок.

Думать о женщинах почти не удавалось — разве что с отчаянной тоской, разве что бессвязно. Если б только ему привели женщину, хоть разок, на полсекунды, взглянуть бы на нее...

Единственный осмысленный звук доносился с верхнего этажа. Видеомагнитофон. Они смотрят съемки уличных боев — хотят увидеть себя в рваном камуфляже, увидеть, как колоритный обстрелянный отряд (вон-вон, это же мы!) ведет автоматный огонь по чужой милиции[1], засевшей в соседнем квартале.

Муравьи и паучата перевозили время — такое бескрайнее, такое недоброе; когда он чувствовал, что по ладони кто-то ползет, его так и под-

1. В Ливане милицией традиционно называются военизированные формирования основных общин (например, христиан-маронитов, мусульман-шиитов и др.), между которыми в стране и разгорелась гражданская война.

мывало заговорить с этим существом, объяснить свое положение, представиться — хотя теперь и ему самому не очень ясно, кто он такой. Отрезанный от людей, чьи голоса-нити образуют рыхлую ткань его существования, он блекнет и сохнет — никто его не видит, никто не хочет взглянуть на него и тем самым вернуть ему материальную оболочку.

Мальчик забывал надеть ему мешок после кормежки, забывал о кормежке, мальчик олицетворял собой капризный случай. Под угрозой оказалось то последнее, что было постижимо, — расписание обедов и избиений.

Если бы ему привели женщину в чулках, которая сказала бы шепотом слово "чулки". На этом он продержался бы еще неделю.

Затем следовало то, чего он дожидался: свист и вспышки крупнокалиберных ракет "Град", взлетающих с многоствольных пусковых установок, двадцать... тридцать... или даже сорок зараз в раскаленной мгле массированной перестрелки на "Зеленой линии"[1].

Как ему хотелось получить бумагу и что-нибудь, чем пишут, каким-то образом сохранять свои мысли, держать их не только в голове.

Он отказывался делать гимнастику, считать кирпичи, воображать кирпичи для счета и измерений. Рано утром, когда война утихала, он разговаривал вслух со своим отцом. Он сообщал отцу, где находится, в какой позе, как именно привязан к трубе, на каком он сейчас этапе боли, где он сейчас душой, но не забывал уверять, что надеется на спасение, как сказано на учебной кассете "Западноевропеец".

Он пытался их выдумывать, женщин в ажурном, женщин с бретельками, но образы, так и недорисованные, куда-то уплывали.

Громыхание пусковых установок каким-то образом возбуждало кору его мозга, создавая иллюзию вспышек. Эти воображаемые всполохи под мешком означали: христиане и мусульмане, означали: небо светится, город внемлет рапсодиям для орудий и прожекторов, и так всю ночь напролет, а утром люди в одном белье выйдут из душных убежищ, чтобы разгрести обломки и купить хлеба.

Некому было напомнить ему, кто он. Дни никак между собой не стыковались. Пленник чувствовал, как исчезает все, что раньше само собой разумелось. Он начал отождествлять себя с мальчиком. Когда все его голоса сбежали, стало казаться, что он прячется где-то в мальчике.

Он пытался прокручивать в голове давнишние фантазии: секс с призрачной женщиной на авиалайнере, летящем в ночи над океаном (главное тут — тьма и волны), или столкновения в самых неожиданных местах с женщинами в облегающих нарядах, женщинами, сплошь оплетенными узкими черными ремешками; они были как запечатанные посылки, а ему предстояло их распечатать, но как-то все не выходило, он был пристегнут и опоясан, мысль обрывалась, и женщины ускользали.

Никто не приходил его допрашивать.

Он выглядывал в прогал на месте дверцы: среди развалин играли дети; сбоку в его шею упиралось дуло автомата, и он все твердил себе: меня везут в автомобиле без одной дверцы.

Старые испытанные фантазии. Секс с призрачной женщиной на лестнице в пустующем здании в дождливый день. Чем банальнее, чем тривиальнее, чем предсказуемее, чем пошлее, чем бородатее, чем тупее,

1. Граница между Восточным и Западным Бейрутом, отмеченная нейтральной полосой. В свое время была проложена прямо по городским кварталам.

тем лучше. Времени у него хватит на все — но только не на оригинальность. Ему нужны те же самые подростковые фантазии, что и мальчику, он жадно впитывает картинки, которые останутся с ним до старости, до полного маразма, на эти жалкие комиксы можно положиться.

Еда обычно была из закусочной, взятая на вынос, в пакетах с арабской вязью и логотипом: три красные курицы, выстроившиеся в ряд.

Нет, он не чувствует ненависти к мальчику, мальчику с руками, пропахшими едой, мальчику с обгрызенными ногтями, не мальчик обрек его на ужас одиночества. Но все же он мальчика ненавидит. Ненавидит сильно, всей душой? Или лишь отчасти? Ненависть это — или что-то другое?

Вскоре, однако, он решил, что эти разговоры с отцом — тоже род гимнастики, род работы над собой, и перестал разговаривать, отпустил восвояси самый последний голос, сказал: "Ну ладно", деградировал до невнятного бормотания.

Он думал о голом по пояс на зазубренных острых колючках, видел его тело, которое величественная фронтовая заря подсвечивала неоновыми всполохами.

В начале было... было что?

В начале его имя было на устах у множества людей по всему миру. Он знал, что они есть — разведывательная сеть, негласные дипломатические каналы, технический персонал, военные. Его случайно занесло на территорию новой культуры, в систему всемирного терроризма, и эти люди даровали ему второе "я", бессмертие, духовную ипостась, именуемую "Жан-Клод Жюльен". Он был мозаикой цифр в процессоре, призрачными строками на микропленке. Его собирали из разрозненных деталей, досье хранили на спутниках связи, похожих на морские звезды, его изображение, отразившись от Луны, находило своих адресатов в другом полушарии. Он видел, как воспарил к далеким космическим берегам, вырвался за грань смерти и тут же устремился обратно. Но он чувствовал: его тело всеми уже забыто. Он затерялся в радиоволнах, стал еще одной строчкой кода для компьютерных чипов, для архива преступлений, слишком бессмысленных, чтобы их расследовать.

Кому он теперь известен?

Никому он не известен, кроме мальчика. Сначала от него отказалось правительство его страны, потом непосредственное начальство, потом семья. Те, кто похитил его и запер в подвале, тоже со временем забыли, что он здесь. И неизвестно, чья забывчивость ранит его сильнее.

Билл сидел в маленькой квартирке над прачечной-автоматом, примерно в миле к востоку от Гарвард-сквер. Поверх пижамы на нем был надет свитер, а поверх свитера — заношенный махровый халат.

Его дочь Лиз готовила обед и одновременно разговаривала с ним через окошечко в стене, проделанное, чтобы передавать тарелки с кухни прямо в комнату, но почти доверху заложенное стопками журналов, книг, тетрадок с ролями.

— Ни гроша отложить невозможно, о другом жилье уже и думать перестала. Я вообще докатилась: считаю за счастье, когда не приходится заниматься совсем уж нелюбимым делом.

— На мелкие напасти плюй.

— Но крупных берегись.

— С моего последнего приезда...

— Ну?

— ...ты стала гораздо лучше выглядеть, малышка.

— Твой последний визит пришелся на черную полосу. Кстати, я смотрю, ты нашел свой халат и пижаму. Вечно ты все забываешь, папа.

— Я в тебя.

Он читал газету. Его ноги были босы.

— И разве так можно — не предупредить, что приезжаешь. Я бы тебя встретила в аэропорту.

— Спонтанный порыв. Вообще-то я думал, ты сегодня на работе.

— Понедельник — выходной.

— Спорим на что угодно: в своем деле ты мастер.

— Ты это им скажи. Мне вот-вот стукнет тридцать, а я все никак не избавлюсь от приставки "пом".

— Послушай, я не хочу вас стеснять. Завтра меня здесь уже не будет.

— Живи сколько захочется — кушетка в твоем распоряжении. Останься хоть ненадолго. Это мне только в радость.

— Ты же меня знаешь.

— На День павших вся наша троица соберется в Атланте. С удовольствием доложу о редкостном событии — визите Мифического Отца.

— Весь праздник им испортишь.

— Почему ты не спрашиваешь, как у них дела?

— Мне по фигу.

— Спасибо.

— С этими двоими я заключил междугородний пакт о взаимном пофигизме. Телепатия. Наши души понимают друг дружку с полумысли.

Отложив в сторону первую тетрадку газеты, он приступил к другой.

— Им интересно то, что ты делаешь, — сказала она.

— Что я делаю? Все то же самое. Кому это может быть интересно?

— О тебе по-прежнему они говорят много и охотно. Но только не с матушкой, конечно. Вот она действительно слышать о тебе не желает.

— Я и сам-то не желаю, Лиззи.

— Но тема всплывает и всплывает. Мы как щенята — грызем и вырываем друг у друга все ту же обслюнявленную тряпку.

— Доложи, что я не даю алкоголю взять надо мной власть.

— А что сказать о твоей нелюдимости?

— А что? — сказал он.

— Эта твоя взвинченность. Запретная зона, куда мы не допускались, когда ты хандрил. Как ты растворялся в воздухе, ну чистый фокусник.

— Послушай, если ты вправду считаешь, что со мной было так тяжело общаться, — зачем на меня вообще время тратить, а?

— Не знаю. Может, я трусиха. Боюсь, что обида пристанет ко мне намертво и я до старости буду казниться — какая я озлобленная и нехорошая. А может, дело в том, что мое будущее не предполагает детей. Не придется превращать свою жизнь в урок истории на тему "как не повторить путь моего отца". Я никого не смогу так исковеркать, как ты исковеркал Шейлу с Джеффом.

Лукаво улыбаясь, она высунулась из-за перегородки.

— Кто-кто, а мы не считаем, что твое поведение было связано с литературным трудом. Мы-то считаем, что для Мифического Отца работа была безотказной отмазкой. Вот как мы трактуем эту проблему, папочка. Сколько бы ты ни прикидывался, будто писательство — твой тяжкий крест, нас не обманешь. На самом деле это был лишь подходящий кос-

тыль, удобное алиби, законное оправдание твоей уникальной неспособности вести себя по-людски.

— А в чем, собственно, состоят обязанности помрежа?

Улыбнувшись еще шире, она посмотрела на Билла так, будто он произнес ту единственную фразу, которую она могла бы счесть доказательством его любви.

— Напоминать актерам, в каком квадрате сцены им полагается упасть замертво.

Из спальни вышла Гейл, взяла с вешалки куртку.

Билл повернулся к ней:

— Я тебя выгоняю? Останься, будь нашим рефери. На мою голову обрушилась ветхозаветная песчаная буря.

— Сегодня у меня гипнотерапия. Это моя последняя надежда сбросить хоть пару фунтов.

— Я ей говорю: "Попробуй не есть", — сказала Лиз.

— Говоришь — с таким видом, будто ничего нет проще. Меня хватает максимум на восемь дней строгой диеты, потом включается автопилот, и я с чистой совестью оставляю свое тело в покое.

— Поговори с моим отцом. У писателей самодисциплина та еще.

— Знаю. Завидую. Я бы так никогда не смогла. Сидеть и корпеть день за днем.

— У бродячих муравьев — вот у кого самодисциплина, — сказал Билл. — А что есть у писателей, лучше меня не спрашивайте.

Гейл ушла, а они вдвоем сели обедать. Билл предположил, что переднее седло этого лесбийского тандема занимает его дочь — она здесь принимает решения и врачует раны. Он попытался внушить себе, что крайне гордится ею. Разлил по бокалам вино, купленное, когда он вылез из такси и пошел бродить в поисках знакомых домов и вывесок, — уже сообразив, что начисто забыл название ее улицы, не найдя в своем бумажнике ни телефона, ни адреса, вопрошая себя, как же, черт подери, собирался попасть в ее квартиру, даже если бы знал, где она живет, а потом набрел на таксофон, позвонил в справочную, и Лиз оказалась не просто в общедоступной базе данных, но и дома.

— Послушай-ка, я тут пытаюсь вспомнить, что еще в прошлый раз мог у тебя оставить.

— Твой халат носит Гейл.

— Гипноз. Возможно, это панацея.

— Ты оставил портмоне с дорожными чеками и паспортом. Сделай удивленные глаза, папочка.

— Я все гадал, куда его черти задевали.

— Ты отлично знал, где оно. Потому и приехал, так ведь?

— Я приехал увидеться с тобой, девочка.

— Знаю.

— Тьфу ты, плохой же из меня шахматист.

— Ничего. Я не теряю время на переживания из-за папочкиных задних мыслей.

— Только из-за его невнимания.

— Ну, что есть, то ѐсть.

— Честно говоря, ты даже родилась без меня. Слыхала когда-нибудь об этом?

— Только теперь слышу.

— Я был в Йеддо.

— Где?

— Это что-то похожее на монастырь, пансионат, где писатели могут, на все положив, хоть немножко поработать в тишине и спокойствии. Между прочим, не мои слова, а дословный девиз заведения. На арке ворот начертан. Готическим шрифтом.

Он поднял глаза от тарелки — посмотреть, улыбнулась ли она. Она, по-видимому, гадала, улыбаться или не стоит. Он помог ей убрать со стола, а затем позвонил в Нью-Йорк Чарльзу Эверсону.

Чарли сообщил:

— Стоило тебе уйти, как к нам сразу же заявился твой Скотт. Я был у начальства на дневной планерке. Насколько я понял, он устроил скандал в вестибюле. Пытался пробиться к лифтам и подняться к нам. Наконец мне позвонили охранники и попросили с ним поговорить. Он выспрашивал, где ты. Я, конечно, ничего ему не смог сказать, потому что не знал.

— И теперь не знаешь.

— Истинная правда, Билл.

— О нашем лондонском дельце ты умолчал.

— О чем о чем, а о Лондоне я никому говорить не стану. Но этого парня так просто не утихомиришь. В конце концов мне пришлось спуститься и побеседовать с ним лично. Сначала я убедил охрану вызвать сопровождающего, который работает с особо важными гостями. Потом сопровождающий убедил Скотта, что проехал вместе с тобой вверх, а затем назад вниз и что ты не валяешься мертвый в кабине лифта. Вечным пассажиром. В назидание всем нам.

Они обсудили практические стороны поездки.

Затем Билл сказал:

— Он тебе позвонит. Телефон оборвет. Ему ни слова.

— Билл, я за двадцать пять лет ни одной душе не раскрывал твоих секретов. Ну, бывай, я на тебя рассчитываю.

Когда вернулась Гейл, они сыграли несколько партий в рамми. Женщинам хотелось лечь спать, а Билл пытался отвлекать их карточными фокусами. Вино кончилось. Еще час он провел за чтением какой-то книги, а затем постелил себе на кушетке, припоминая, какая она жесткая. Потом под руку ему попались блокнот и карандаш, и он стал набрасывать план новой редакции романа.

Держа в руке зубную щетку, намазанную пастой, Скотт вышел из ванной. Глянул на Карен, которая, полулежа на кровати, смотрела телевизор. Уставился на нее, дожидаясь, пока она его заметит. Иногда она целиком погружалась в тусклое свечение экрана, наблюдая за кем-то, уцелевшим в сенсационной катастрофе, — видишь фюзеляж, одиноко дымящийся посреди поля? — она умела, всмотревшись в чье-то лицо, воспроизводить его мимику, синхронно или даже с легким опережением, заранее предчувствуя нелепую рассеянную ухмылку или судорожный взмах руки; и оттого казалось, будто Карен связана незримым кабелем не только с репортажем, но и с ужасами жизни, со всем тем, что с истошным воем надвигается на нас из густого тумана.

Он не сводил с нее глаз, пока она не обернулась и не увидела его.

— Ну и где же он? — спросила она.

— Вычислю. Давненько он меня не переигрывал. Сволочь.

— Но куда он мог поехать?

— Куда его левой ноге вздумалось. Но если это вздумалось его левой ноге, я в конце концов все вычислю.

— Но как ты можешь быть уверен, что он не заболел, не попал под машину?

— Я был в издательстве, говорил с ними. Дошло до настоящей драки — и пихались, и толкались. Охрану там на кривой козе не объедешь. Короче, мне совершенно ясно, что он просто вышел в другую дверь.

— Ну тогда, мне кажется, он у Бриты.

Скотт застыл, держа зубную щетку наперевес.

— Он не у Бриты. С чего вдруг он пойдет к Брите?

— А зачем еще ему оставаться в Нью-Йорке?

— Нам неизвестно, остался он там или нет. Мы даже толком не знаем, зачем он туда поехал. Он мне сказал, что просто заглянет к Чарли Эверсону. Эверсон сказал, что они говорили о новой книге. Нет, с Бритой он на связь не выходил, иначе я бы знал. На днях прислали телефонный счет. Там было бы отмечено.

— А если она ему сама звонила?

— Нет, он куда-то зарылся. Ушел в подполье.

— Опять дал деру от своей книги.

— Книга закончена.

— Не с его точки зрения.

— Он никогда не уезжал, не сообщив мне куда. Нет, теперь он залег на самое дно.

Скотт пошел в ванную и почистил зубы. Вернувшись, уставился на Карен, пока та не сообразила, что на нее смотрят.

— Надо заняться описью вещей, — сказал он.

— Но раз его здесь нет...

— Тем более. Нужно как следует прибраться в его кабинете.

— Ему не нравится, когда мы туда заходим.

— Ему не нравится, когда я туда захожу, — сказал Скотт. — Полагаю, иногда по ночам он явно одобряет твое присутствие. Ночью или под вечер, пока я езжу за луком для тушеной баранины.

— Или за огурцами для салата.

— В кабинете нужно прибраться и все аккуратно разложить. Пусть, когда вернется, сможет для разнообразия найти все, что захочет.

— Через день-два он нам позвонит, тогда спросим разрешения.

— Он не позвонит.

— Надеюсь, что позвонит.

— Он свалил не для того, чтобы нам звонить.

Скотт лег, поднял воротник своей пижамы.

— Дадим ему шанс, хорошо? Вдруг все-таки позвонит, — сказала Карен. — Большего я не прошу.

— Он задумал какую-то трудную, отчаянную авантюру, не предполагающую нашего участия.

— Скотт, он нас любит.

Она смотрела на экран телевизора, стоявшего в изножье кровати. Женщина на велотренажере, одетая в облегающее блестящее трико, что-то говорит в камеру; в угол экрана втиснута другая женщина, размером с мизинец, переводящая монолог первой женщины на язык жестов. Карен, скользя взглядом по экрану, всматривается в обеих. От мира она почти не отделена. Всё в себя вбирает, всему верит; боль, экстаз, консервы для собак... для нее всё не от мира сего, всё божья роса. Бездумность

младенческая. Скотт не сводил с нее глаз и ждал. Она носит в себе вирус будущего — это, правда, Билл говорит, не я.

9

"Прежде чем переходить улицу, посмотри на указатель", — напоминал себе Билл. Очень даже разумно, во всех бы городах такой закон ввести — крупными белыми буквами тебе сообщают, куда надо смотреть, если жить не надоело.

Смотреть на Лондон ему было неинтересно. А то он его раньше не видел. Из такси, мельком, три секунды: Трафальгар-сквер, неизбежные воспоминания, дух места; строители понаставили заборов, закутали здания синей пленкой, но ничегошеньки не изменилось — территория мечты, двуликая, как все знаменитые достопримечательности, отчужденно-безразличная, но одновременно знакомая, родная, врезанная в душу навеки. Он ни на что не обращал внимания, кроме указателей. Посмотрите налево. Посмотрите направо. Казалось, эти фразы по-своему отвечают на основной, обсосанный-пережеванный вопрос бытия.

Какие же дрянные ботинки. А в груди — такое ощущение, будто ребра размякли. И в горле першит.

Ему захотелось вернуться в гостиницу и немного поспать. Чарли продиктовал ему название отеля в Мейфэре, но Билл остановился не там, а в каком-то второразрядном сером клоповнике и уже начал ворчать про себя, что надо бы потребовать деньги назад.

В номере он снял рубашку, подул на влажный от пота воротник, подсушивая его, удаляя волосы и пыль. В одолженной у Лиззи спортивной сумке лежали его халат и пижама, а также купленные в Бостоне носки, белье и туалетные принадлежности.

Он сам не знал, действительно ли хочет это сделать. Ощущение, что решение верное, уже ушло. Теперь одолевали предчувствия, в горле стоял небольшой, но неотвязный комок, отлично знакомый ему по работе, по тем моментам, когда охватывает страх, когда сомнения берут в кольцо, когда понимаешь: впереди поджидает то, с чем лучше не сталкиваться, персонаж какой-нибудь или просто сама жизнь, ведь жить всегда было ему не по силам.

Он позвонил Чарли в отель.

— Билл, ты где?

— Из окна видна больница.

— И это тебя утешает.

— От гостиницы мне нужно только одно. Близость к жизненно необходимым службам.

— Предполагалось, что ты поселишься в "Честерфилде".

— Уже одно это название несовместимо с моей ценовой политикой. Оно пахнет тисненым бархатом.

— Платишь не ты. Платим мы.

— Я так понял, что за билеты на самолет.

— И за гостиницу. Это же само собой разумеется. И сопутствующие расходы. Давай-ка выясню, свободен ли еще твой номер.

— Я уже здесь расположился.

— Как это "здесь" называется?

— Через минутку-другую вспомню. А пока скажи мне насчет сегодняшнего вечера — все остается в силе?

— Да вот сейчас подыскиваем новое место. Только-только успели освоиться в одном замечательном зале, который нашел мой коллега — связи у него фантастические. Библиотека собора Святого Павла. Все, о чем я мечтал, — возвышенная атмосфера, дубовые панели, каменные барельефы, тысячи книг. И вот сегодня, начиная с полудня, туда стали звонить неизвестные лица.

— Угрозы.

— Сообщения о заложенной бомбе. Мы пытаемся не допустить огласки. Но старший библиотекарь спросил, не предпочтем ли мы перенести наше мероприятие в какое-нибудь другое место. Кажется, только что удалось подобрать одно, очень надежное, и мы договариваемся насчет тайного дежурства полиции. Но все равно обидно, Билл. Жалко покидать библиотеку: хоры, сводчатый потолок, наборный паркет.

— Те, кто звонит по телефону, бомб не взрывают. Настоящие террористы звонят после того, как дело сделано. Если вообще звонят.

— Знаю, — ответил Чарли, — но мы все равно стараемся обезопасить мероприятие по максимуму. Количество журналистов сократили. А адрес будем скрывать до последнего момента. Людей собираем в прежнем месте, а потом везем арендованным автобусом в истинное.

— Чарли, помнишь, была такая вещь — "литературная жизнь"? Пьянки, красивые девушки...

— Приезжай в "Честерфилд" к семи. Чтобы было время просмотреть стихи, которые ты должен зачитать. Оттуда поедем вместе. А потом, после всего, поужинаем без посторонних, вдвоем. Надо поговорить насчет твоей книги.

Сообщение, что гостиницу оплатят, как-то примирило Билла с предстоящим выступлением. Положив на журнальный столик листок с меню, он достал из кармана свою банку-аптечку. Высыпал на меню все, что там было, — четыре пока еще целых таблетки. Остальной запас, расфасованный в красивые бутылочки из янтарного пластика, хранился дома, в ящиках комода в его спальне. Транквилизаторы и психостимуляторы, снотворные и общетонизирующие, мочегонные и антибиотики, кардиотоники и спазмолитики. А здесь перед ним лежат успокоительные трех сортов, да еще один кортикостероид, розовый такой, средство от кожного зуда. Нищенский паек. Но разве Билл мог предугадать, что его понесет в Бостон и Лондон? Впрочем, скудость ресурсов не убавит наслаждения от тонкой хирургической операции по дроблению и дозированию, от веселого таинства смешивания цветов. Он наклонился к невысокому столику, и на него снизошел покой — так бывало всегда, когда он возился с таблетками. Ему нравилась атмосфера приготовлений к битве, усердия, дотошности — легко прикинуться, будто знаешь, что творишь. Сладчайшая забава для глаз и рук — пилить таблетки на мелкие дольки, подбирать комбинацию. Вот они, разложены на меню — аккуратные яркие треугольнички, средство внести ясность, нащупать подходящее состояние души, интуитивно подобрать волшебство по цвету — авось поможет справиться с минутной паникой или капризом организма, не сесть на риф в нескончаемых вечерних сумерках, на западной оконечности дня, когда отчаяние захлестывает с головой.

Он жалел, что не прихватил иллюстрированные справочники, полные предостережений, запретов и прелестных цветных таблиц, повествующие о побочных эффектах и несовместимости с другими лекарствами. Но он же не знал, что его занесет за океан.

Он сосредоточенно пилил таблетки своим старым щербатым складным ножом с рукояткой из оленьего рога, на который не среагировали металлоискатели трех аэропортов.

Такси повернуло, выехало на мост Саутуорк. Билл, сидевший со стихами на коленях, время от времени подносил страницы к глазам, бормоча строчки. Теплый ласковый дождь рисовал и растушевывал узоры на речной глади, рябь казалась отпечатками локтей ветра.

Чарли сказал:

– Тот малый...

– Кто?

– Да тот малый из Афин, который заварил все дело. Ты мне потом, пожалуйста, скажи, что о нем думаешь.

– Он кто, ливанец?

– Да. Политолог. Говорит: я, дескать, только посредник, о бейрутской организации точных сведений не имею. Утверждает, что они готовы отпустить заложника.

– А эта их молодая организация – она за кого? За фундаменталистов?

– Эта молодая организация – за коммунистов.

– И что, нас это удивляет? – сказал Билл.

– Существует Ливанская коммунистическая партия. А еще – левые силы, насколько я понимаю, просирийской ориентации. И ООП[1] опять активизировалась в Ливане, а она всегда тяготела к марксизму.

– Значит, нас это не удивляет.

– Удивляет, но в разумных пределах.

– Когда нас что-то удивит по-настоящему, предупреди меня, ладно?

На безлюдной улице неподалеку от Сент-Сэвьорз-Док их встретили два полицейских инспектора. Район подлежал реконструкции, но старые здания – а тут преобладали красные кирпичные склады с лебедками, с люками под крышей – все еще сохранялись в первозданном виде. Они подошли к старинному зернохранилищу, где еще недавно квартировала фирма по торговле сантехникой, ныне прогоревшая. Ключи у бывших арендаторов раздобыли через полицию. Даже телефон работал.

Все четверо вошли внутрь. Осмотрели просторный зал, где все было готово к пресс-конференции: кафедра для выступающих, складные стулья, дополнительные осветительные приборы. Потом зашли в помещение дирекции. Чарли позвонил коллегам, велел им загружать автобус и выезжать. Билл начал озираться в поисках туалета. Едва Чарли закончил разговор, телефон зазвонил. Один из полицейских взял трубку – и все услышали из динамика вопль: “Бомба, бомба, бомба”. Звонящий говорил с акцентом, так что получалось похоже на “Бум, бум, бум”. Билла, которому страшно хотелось справить нужду, но лучше бы не на улице, звонок даже позабавил.

Зато полицейских – взбесил. Одного уж точно. Второй просто уставился в угол, на книжную полку с каталогами.

Последним здание покинул Билл – предварительно все-таки уединившись в туалете. Один из полицейских встал на часы у главного входа, а другой, отогнав машину ярдов на пятьдесят, позвонил в управление.

Чарли сказал:

1. Организация освобождения Палестины.

— Хотел бы я понять, чего они этим добиваются.

Они с Биллом перешли на другую сторону улицы и стали ждать саперов, которые должны были приехать для осмотра здания.

— Власти над нами, вот чего, — сказал Билл. — Им хочется верить, будто по одному их звонку мы разбежимся, поджав хвост. Перед их мысленным взором — сотни людей, трюхающих по пожарным лестницам. Я же тебе говорил, Чарли. Бомбы и звонки — две разные специальности.

Вскоре они переключились на другую тему. Дождь кончился. Чарли перешел улицу, обменялся парой фраз с полицейским и, пожимая плечами, вернулся. Они поговорили о книге, которую сейчас редактирует Чарли. Потом — о дне, когда Чарли получил свидетельство о разводе, — шесть лет уже прошло. Чарли припомнил, какая в тот день была погода: ясное небо, высокое-высокое и близкое-близкое, припомнил Пятую авеню с хлопающими на ветру флагами и знаменитую актрису, выпорхнувшую из такси. Билл потянулся за носовым платком. Грохот заставил его полуобернуться; на ногах он все-таки устоял, к стене не отлетел. Звук отдался эхом в плечах и грудной клетке. Билл подскочил, тут же пригнулся, заслонившись рукой, — стекла сыпались градом. Чарли выдохнул то ли "Козлы", то ли "Ложись", повернулся спиной к ударной волне, упершись в стену локтями, сцепил руки на затылке; "Потом не забудь восхититься его самообладанием", — сказал себе Билл. И в ту же секунду понял, что ничего больше не случится, обошлось, и медленно распрямился, глядя на здание, но одновременно вслепую нащупывая руку Чарли, проверяя, здесь ли он еще, не упал ли, может ли двигаться. Полицейский, дежуривший у входа, теперь стоял на коленях, возился с рацией на поясе. Мерцающие стекляшки усы́пали улицу, точно снег. Второй полицейский еще немного посидел в машине — рапортовал, — а затем двинулся к напарнику. Оба уставились на Чарли с Биллом. В воздухе, на уровне третьего этажа зависло пыльное облако. На середине проезжей части четверо сошлись. Под ногами хрустело стекло. Чарли отряхнул пиджак.

Приехали саперы, за ними — автобус с журналистами, несколько издателей, куча полицейских; Билл сидел на заднем сиденье патрульного фургона без опознавательных знаков, пока Чарли, переходя от одной кучки людей к другой, вполголоса обговаривал новый план действий.

Еще через час Билл и Чарли сидели в ресторане отеля "Честерфилд", прямо под окном в сводчатом потолке. Им подали тюрбо.

— Значит, задержка на день. Максимум на два, — сказал Чарли. — Надо тебе перебираться из той гостиницы сюда. Нам ведь придется действовать оперативно: как только все подготовим, я дам отмашку.

— Ну и самообладание у тебя. Принял нужную позу.

— Вообще-то она рекомендуется при авиакатастрофах. Только стоять при этом не надо. Я помнил, что положено опустить голову и сцепить руки на затылке, но не мог сообразить, в каких обстоятельствах. Наверно, возомнил, будто нахожусь в пикирующем самолете.

— Твои люди подберут помещение.

— Другого выхода нет. Теперь нам ничего отменять нельзя. Даже если свести число журналистов к минимуму. Пятнадцать человек в пяти байдарках на середине отдаленного озера.

— Есть у кого-нибудь предположения насчет причин?

— Завтра я встречаюсь со специалистом по борьбе с террористами. Хочешь поучаствовать?

— Не-а.

– Где ты остановился?

– Я с тобой свяжусь, Чарли.

– Если подумать, лодки – не выход. До Маунтбеттена ведь добрались?[1]

– Там была яхта.

– Невелика разница.

Билл почувствовал на себе чужой взгляд – взгляд мужчины, одиноко сидевшего в противоположном углу зала. Занятно, как много информации содержится в пристальном взгляде незнакомца: он знает, кто такой Билл, но воочию видит его впервые, колеблется, подойти к нему или не стоит. Билл даже смекнул – хотя и сам не смог бы сказать, по каким признакам, – кто этот человек. Незнакомец словно бы занял заранее предназначенное ему место в механизме происходящего. Все это Билл для себя уяснил, ни разу не взглянув на незнакомца в упор. Угадал по смутным очертаниям, по намекам судьбы.

– Давай-ка поговорим о твоей книге, – сказал Чарли.

– Она еще не готова. Вот когда будет готова...

– Хочешь – молчи. Я сам кое-что скажу. А когда она будет готова, обсудим ее вместе.

– Недавно мы с тобой едва не погибли. Давай об этом поговорим.

– Я знаю, как выпустить твою вещь. В издательском мире тебя никто не знает так хорошо, как я. Я знаю, что тебе нужно.

– Что, например?

– Тебе нужно особое издательство – крупное, но возникшее не на пустом месте. То есть наше. Начальство заинтересовалось сохранением литературных традиций. Потому-то меня и пригласили на работу. Для этих людей я кое-что олицетворяю. Для них я – это множество книг. Мне хочется сформировать серьезную, умную, неравнодушную к общественным проблемам серию и раскрутить ее с помощью наших коммерческих ресурсов. Ресурсы у нас колоссальные. Раз уж ты столько лет просидел над одной книгой, неужели тебе не хочется, чтобы она взлетела?

– А как у тебя с интимной жизнью, Чарли?

– Я могу распродать эту книгу таким тиражом, что все ахнут.

– Подружка имеется?

– У меня были проблемы с простатой. Хирургам пришлось направить мою сперму другим путем.

– Куда ж они ее направили?

– Не знаю. Но из обычного места она не брызжет.

– Но сексом ты по-прежнему занимаешься.

– И с большим удовольствием.

– Но без семяизвержения.

– Канал высох.

– И ты не знаешь, куда она девается.

– Я не уточнял. Просто течет обратно вовнутрь. Большего я знать не желаю.

– Прекрасная история, Чарли. Ни одного лишнего слова.

Они изучили десертное меню.

– Когда будет готова книга?

– Я причесываю пунктуацию.

1. Луи Маунтбеттен – британский адмирал. Погиб в 1979 году, когда его яхту подорвали террористы ИРА.

– Пунктуация – это интересно. Открывая книгу, я всегда специально смотрю, как писатель обращается с запятыми.

– Значит, по твоим прикидкам, еще два дня максимум, и мы свободны, – сказал Билл.

– Надеемся, что да. Надеемся, что продолжения не будет. Бомба стала кульминацией. Они высказались, хотя мы так и не поняли, что они имели в виду.

– Возможно, мне придется прикупить пару рубашек.

– Прикупи. И давай я все-таки поселю тебя здесь. Обстоятельства требуют. Если что стрясется, легче будет отыскать друг друга.

– Подумаю об этом за кофе.

– Мы печатаем на бескислотной[1] бумаге, – сказал Чарли.

– По мне, пускай уж мои книги сгниют вместе со мной. Почему это они должны жить дольше? А сами сведут меня в гроб раньше срока.

Тот самый мужчина стоял рядом, ожидая, пока тема будет исчерпана. Билл отвернулся, уставился в пространство – пусть Чарли увидит, кто к ним подошел.

За столиком вполне хватало места для троих. Послав официанта за дополнительным стулом, Чарли по всем правилам этикета представил их друг другу. Мужчину звали Джордж Хаддад; когда Чарли назвал его пресс-атташе бейрутской организации, Хаддад сконфуженно замахал руками, давая понять, что никак не заслужил этого титула.

– Я ваш большой поклонник, – сказал Хаддад Биллу. – И когда мистер Эверсон сообщил, что вы, возможно, примете участие в нашей пресс-конференции, меня это крайне поразило и обрадовало. Разумеется, мне известно, что вы избегаете появляться на публике.

Хаддаду было лет сорок пять. Высокий, чисто выбритый, влажно блестящие глаза, лоб с залысинами. Весь какой-то понурый, сутулый. Костюм на нем был скучно-серого цвета, а пластмассовые часы казались позаимствованными у ребенка.

– Что вас с ними связывает? – спросил Билл.

– С Бейрутом? Скажем так: не симпатизируя их методам, я разделяю их цели. Группа, захватившая поэта, – еще не все движение, а лишь его часть. Да и движением его, собственно, пока трудно назвать. На данном этапе это лишь подспудное течение, попытка заявить, что не всякий автомат в Ливане непременно должен считаться либо мусульманским, либо христианским, либо сионистским.

– Давайте называть друг друга по имени, – сказал Чарли.

Принесли кофе. Билл ощутил в левой руке обжигающий булавочный укол, болевой очаг с четкими краями, сноп ослепительных лучей.

Чарли сказал:

– Кто хочет сорвать пресс-конференцию?

– Возможно, сюда просто перекинулась уличная война. Точно не знаю. Или какая-то организация в принципе возражает против освобождения заложников, даже тех, кого захватили другие. Всем понятно: освобождение этого человека зависит исключительно от внимания прессы. Его свобода увязана с публичным объявлением о его свободе. Первая без второго невозможна. Этому, как и многому другому, Бейрут научился у Запада. Судьба Бейрута трагична, но он все-таки дышит. А вот Лондон

1. Бескислотная бумага отличается долговечностью.

агонизирует. Я здесь учился, потом преподавал и с каждым новым приездом все яснее вижу признаки скорой смерти.

Чарли сказал:

— Что, на ваш взгляд, мы должны сделать, чтобы провести мероприятие без эксцессов?

— Здесь это вряд ли удастся. Полиция посоветует вам все отменить. Думаю, в следующий раз обойдется без телефонного звонка. Я вам скажу, что, как мне кажется, будет в следующий раз, — Хаддад перегнулся через стол. — Очень мощный взрыв в переполненном помещении.

Билл выдернул из ранки на руке осколок стекла. Чарли и Джордж уставились на него. Он смекнул, отчего боль кажется привычной. Ранка летняя, каникулярная, совсем как полвека назад; все эти ожоги, сбитые коленки, занозы, заплывшие от пчелиных укусов глаза, ежедневные ссадины до крови. Поскользнулся, сбегая под откос, — ободрал ногу. Повздорил с ребятами — заработал фингал.

Билл сказал:

— Человек заперт в подвале — вот к чему дело сводится. А ведь он ни в чем не виноват.

— Конечно, не виноват. Потому его и захватили. Это же элементарно. Терроризировать нужно безвинных. Чем бессердечнее эти люди поступают, тем острее мы чувствуем, до чего они разъярены. Согласитесь, Билл, именно романист лучше всех на свете, лучше всех прочих литераторов понимает истоки этой ярости, нутром чувствует, каково приходится террористу. Испокон веков именно романисты ощущали свое родство со страстными бунтарями, которые не выносят гнета. Кому вы симпатизируете? Колониальной полиции, оккупанту, богатому землевладельцу, продажному правительству, милитаристскому государству? Или террористу? Учтите, я не отрекаюсь от этого слова, будь у него хоть сто отрицательных значений. Это единственное правдивое слово.

На столе перед Биллом лежала красиво сложенная салфетка. Увидев, что он кладет на нее осколок, сотрапезники умолкли. Стекло сверкнуло, как песок, как смешанный с галькой зеленоватый песок, который остался в детстве вместе с синяками и царапинами, вместе с кончиками пальцев, обожженными стремительным мячом. Он ощутил страшную усталость. Слушал, как Чарли разговаривает с этим, как его, — а сам сгорбился в три погибели. Навалилось все сразу — долгий перелет, апатичная зыбкость существования в городе, который тебе ничем не дорог, невозможность заглянуть в лицо себе самому, ночевки в безликой комнате, которую потом и захочешь — не вспомнишь.

Джордж говорил:

— Первый инцидент — пустяк, поскольку не было ничего, кроме звонков. Второй инцидент — пустяк, потому что не было жертв. Для вас с Биллом — внезапный стресс. Для всех остальных — рядовое происшествие. Несколько лет назад, в Германии, одна неонацистская группировка придумала лозунг "Чем хуже, тем лучше". Это и лозунг западной прессы тоже. На данный момент вы — ноль без палочки, жертвы без зрителей. Дайте себя убить — тогда вас, может быть, все-таки заметят.

На следующее утро Билл позавтракал в пабе недалеко от своей гостиницы. Оказалось, что здесь даже в неурочный час — семь с минутами — к яичнице с беконом разрешается заказать пинту эля: ночная смена с мясного рынка как раз подкрепляется после работы. Редкостный для Лон-

дона прогрессивный подход к лицензированию торговли спиртным. За соседним столиком сидели врачи в белых халатах из больницы Святого Варфоломея. Билл посмотрел на свою раненую руку. Похоже, благополучно заживает, но приятно знать, что медики под боком — вдруг если понадобится помощь или совет. С порезами и ссадинами надо обращаться только в старые больницы, носящие имена святых. Там не разучились лечить типичные ранения крестоносцев.

Достав блокнот, он занес туда стоимость завтрака и вчерашнего такси. Кожа у него все еще подрагивала от эха взрыва.

Днем, в заранее оговоренный час, он встретился с Чарли у входа в "Честерфилд". Под солнцем, пускавшим им в глаза теплые зайчики, они прогулялись по Мейфэру. Чарли был в блейзере, серых фланелевых брюках и бежевых с синим полуботинках-"оксфордах".

— Я говорил с неким полковником Мартинсоном или Мартиндейлом. Все записал под его диктовку. Он из тех несгибаемых технократов, для которых предусмотрительность — как религия. Знает все фразочки, вызубрил жаргон назубок. Овладев языком предусмотрительных умников, ты никогда не простудишься, не будешь оштрафован за неположенную парковку и не умрешь.

— Он был в форме? — спросил Билл.

— Для этого он слишком умный. Он сказал, что сегодня пресс-конференции не будет. Недостаточно времени для проверки помещения. Еще он сказал, что наш друг Джордж — тот еще ученый. Его фамилия значится в записной книжке, которую изъяли при полицейском обыске одной квартиры — точнее, домашнего завода по производству взрывчатки — где-то во Франции. Имеются также его фотографии в обществе известных главарей террористов.

— У всякого убийцы есть свой пресс-атташе.

— Да ты почти такой же умный, как полковник. Между прочим, он и про тебя упомянул. Сказал, что тебе лучше сесть в самолет и вернуться домой. Он все организует.

— Как он выяснил, зачем я здесь? И вообще, откуда он знает, кто я и что я?

— После первой серии звонков с угрозами, — сказал Чарли.

— Я думал, что нахожусь здесь инкогнито. Но ты сказал Джорджу. А теперь еще и полковнику с нафабренными усами.

— Я был вынужден представить куда следует список всех приглашенных на пресс-конференцию. Из-за звонков. Полиции он необходим. А Джорджу я вообще-то сказал заранее, думал, это только поможет делу. Ради пользы старался.

— Почему полковник хочет отправить меня домой?

— Говорит, у него есть информация, что ты в опасности. Намекает, что для бейрутцев ты гораздо ценнее, чем их нынешний заложник. По их мнению, бедняга недостаточно известен.

Билл рассмеялся.

— Во все это так трудно поверить, что мне самому еле верится.

— Но мы, разумеется, верим. Вынуждены верить. Никаким законам природы или логики это не противоречит. Невероятно лишь на самом поверхностном уровне. Недоверчивость — признак недалекого ума. Но мы-то с тобой понимаем. Мы знаем, как выдумывается реальность. Человек сидит в четырех стенах, а мысль, пришедшая ему в голову, вырывается наружу, орошает мир, как кровь из раны. На мысли запретов нет. А

нравственной или пространственной дистанции между мыслью и действием в наше время больше не существует.

– Жалко мне тебя, сукин ты сын. Ты уже заговорил, как я.

Дальше они шли молча. Потом Чарли что-то сказал о том, какая замечательная погода. Темы для беседы они подбирали тщательно, изъясняясь с изощренной уклончивостью. Главной, жгучей, наболевшей старались не касаться – пусть поостынет.

Затем Билл сказал:

– Как они планируют взять меня в заложники?

– Ну не знаю. Заманить тебя каким-то образом на Восток. Тут полковник точных сведений не дал.

– Мы его не виним, нет?

– Нисколько. Он сказал, что использовали взрывчатку "Семтекс-Эйч". Управляемый фугас. При желании могли бы все здание разнести вдребезги.

– Наверно, полковник был рад случаю блеснуть эрудицией.

– "Семтекс" производится в Чехословакии.

– Ты это знал?

– Не-а.

– Вот какие мы с тобой, оказывается, серые.

– Где ты остановился, Билл? Нам действительно нужно это знать.

– Полковник наверняка знает. Ты просто давай назначай конференцию. Я приехал читать вслух стихи – это я и сделаю.

– Кому же приятно поддаваться нажиму? Но факт есть факт... – начал было Чарли.

– Я возвращаюсь к себе в гостиницу. Завтра в полдень тебе позвоню. Найди новое место, и давай сделаем то, что мы должны здесь сделать.

– Билл, надо бы нам вместе поужинать, наедине. Поговорим о чем-нибудь совершенно постороннем.

– Это о чем же, например?

– Мне нужна твоя книга, паршивец.

Люди стояли группками в причудливо разгороженном белыми переборками, расчлененном на несколько ярусов экспозиционном пространстве, щебетали, чокаясь бокалами с серебристым коктейлем; потолок был отдан воздуховодам, увлажнителям и точечным светильникам. На перегородках висели картины ныне живущих русских художников; преобладали огромные холсты с бесстрашным колоритом, амбициозная, режущая правду в глаза живопись супернации.

Брита бочком пробиралась сквозь толпу, высоко держа бокал, на каждом шагу ощущая, как сплетается сложная сеть взглядов, как глаза поглощают свою пищу, вбирают лицо за лицом, задницу за задницей, пиджаки-гобелены, рубашки из шелка-сырца, как тела невольно тяготеют к присутствующим знаменитостям, как люди, поддерживая свою беседу, подслушивают чужую, и всякий направляет свою энергию к ближайшему яркому пятну – куда угодно, только не на собственных собеседников; вот вам вся суть и подноготная этого локального часа истины. По-видимому, существует некая воображаемая точка, знаменующая максимум интереса, некий вечно ускользающий апогей вечера; при этом, однако, всякий из находящихся в галерее не забывает, что за венецианскими стеклами окон – улица. В определенном смысле все и собрались-то здесь ради улицы. Они точно знают, какими кажутся тем, кто проходит мимо,

тем, кто едет стоя в переполненных автобусах. Выпорхнувшими за пределы земного мира — вот какими. Обычные околохудожественные зеваки — а на вид любимцы богов, далекие от жизненной скверны возвышенные души в своей обители, ярко сияющей на фоне сумерек. Прекрасны как на подбор — чеканный облик, умение выглядеть четкими, как гравюры. Благодаря им эта случайная мизансцена могла претендовать на вечность — казалось, они уверены, что и тысячу вечеров спустя будут здесь же, невесомые, не знающие холода и жары, вселяющие в прохожих невольное благоговение.

В конце концов Брита добралась до картины, привлекшей ее внимание. Шелкография на холсте, формат примерно пять на шесть футов. Называется "Горби I", изображает голову и квадратные плечи советского президента на византийском золотом фоне, мазки неровные, выразительные, с искусственно состаренной фактурой. Лицо зашпаклевано телевизионным гримом. Но этим художник не ограничился — пририсовал президенту светлые кудряшки, алое сердечко накрашенных губ, размалевал бирюзовыми тенями веки. Костюм и галстук — непроглядно-черные. Брита задумалась, может ли эта работа оказаться еще уорхолистее, чем рассчитывал ее автор, способна ли вырваться за рамки пародии, почтительного расшаркивания, комментария, концептуалистского плагиата? В районе, где находится галерея, на нескольких квадратных милях сосредоточены шесть тысяч профессиональных уорхоловедов, и всё уже сказано, и все доводы занесены в анналы, но Брите подумалось, что эта случайно залетевшая сюда картина, возможно, самая красноречивая декларация принципов Энди: художник — машина, штампующая образы кумиров, изображения можно сплавлять воедино — хоть Михаила Горбачева с Мэрилин Монро, ауры можно красть — у Золотой Мэрилин, у Мертвенно-Белого Энди и так далее и тому подобное, еще с десяток принципов. В любом случае — невесело. Брита не поленилась пройти через весь зал, посмотреть вблизи на эту потешно раскрашенную многослойную фотоикону — а оказалось, ничего смешного в ней нет. Может быть, виноват черный костюм Горби — точно у служащего похоронного бюро. Или грим — как у актера, играющего покойника: сплошная корка румян, лимонная желтизна волос. И эти отсылки к образу Мэрилин, к эстетизации смерти — вечным мотивам творчества Энди. Его самого, кстати, Брите когда-то, очень давно, довелось снимать, и теперь одна из ее фотографий висит на выставке в нескольких кварталах отсюда, тоже на Мэдисон-авеню. Изображения Энди на холсте, оргалите, бархате, ацетатной ткани, шелковых ширмах, Энди, написанный японской тушью и красками "металлик", Энди в карандаше, полимерных красках, сусальном золоте, дереве, металле, виниле, раскрашенной бронзе, на смешанной (хлопок с полиэстром) ткани, Энди на открытках и бумажных хозяйственных сумках, в технике фотомонтажа, многократной экспозиции, трансферной фотографии, на полароидных снимках. Упавшая звезда Энди, "Фабрика"[1] Энди, Энди в позе туриста на фоне колоссального портрета Мао на главной площади Пекина. Он сказал ей: "Быть мной легко — просто я тут только наполовину". Теперь он тут весь, целиком, переработан, как любое вещество в круговороте природы, смотрит на толпу из русских вороненых глаз-стволов.

1. Студия, где работали Уорхол и его последователи.

Брита услышала, как кто-то произнес ее имя. Обернувшись, увидела молодую женщину в джинсовой куртке, беззвучно артикулирующую слово "привет".

– Я услышала сообщение на вашем автоответчике, что часов в семь-восемь вы, наверно, заглянете сюда.

– Это для человека, с которым я сегодня ужинаю.

– Помните меня?

– Карен, верно?

– Что я здесь делаю, так?

– Боюсь даже спрашивать.

– Я приехала искать Билла, – сказала Карен.

Он лежал на кровати, с открытыми глазами, в темноте. В левом боку, там, где кишечник резко изгибается, образуя селезеночный угол, там, где скапливаются газы, побаливало. Он чувствовал, как рвется из горла сгусток мокроты, но вставать не хотелось, и он проглотил всю эту блевотину, этот вязкий сиропчик. Противный, как его жизнь. Если когда-нибудь напишут его правдивую биографию, это будет хроника болей в распираемом газами животе, неровного пульса, зубовного скрежета, головокружений, одышки, подробные описания того, как Билл, встав из-за письменного стола, идет в туалет отхаркаться – на фото вы можете видеть продолговатые комки тканей, воды, слизи, минеральных солей, кляксы никотина. Или не менее длинные и дотошные описания того, как Билл остается на месте и все это сглатывает. Вот между чем и чем он выбирает, вот его дни и ночи. Когда живешь уединенно, невольно сосредотачиваешься на моментах, которые иначе прошли бы незамеченными в бесцеремонной толкотне, в сложном маневрировании тела по людным улицам и помещениям. К этим-то паузам, к этим излишкам вселенского времени и сводится его жизнь. Паузы его любят. Он – сидячее газо-рыгательное производство. Вот чем он зарабатывает на пропитание – сидит да харкает, мокрота да газы. Он увидел со стороны, как созерцает волосы, застрявшие в недрах пишущей машинки. Как наклоняется к своим овальным таблеткам, вслушиваясь в хриплый скрип лезвия. Лежа без сна, он начал мысленно перечислять бэттеров команды "Кливленд-Индиэнз", сезон 1938 года[1]. Вот каков он на самом деле – человек, полуночничающий в обществе призраков. Он видит, как они занимают свои места на поле: форма старого образца, просторная, оптимистичная, отбеленные солнцем нарядные перчатки. Список этих бейсболистов – его вечерняя молитва, почтительная петиция на Имя Господне, выраженная в словах, которые пребудут неизменными навечно. Он идет по коридору в сторону туалета – нужно справить нужду или отхаркаться. Стоит у окна и мечтает. Вот человек, в котором он узнаёт себя. Биограф, не изучивший всего этого (ну да не будет никогда никаких биографов), не должен и замахиваться на познание истинной жизни Билла: всех ее подземных закоулков, дренажной системы и т. п.

Его книга, слегка пахнущая детскими слюнями, затаилась прямо за дверью номера. Слышно, как она многозначительно стонет – точь-в-точь замогильный ропот его кишок.

1. Знатоки бейсбола держат в памяти весь ход знаменательных матчей, в том числе порядок вступления в игру бэттеров (всякий раз определяемый по воле тренера).

Утром Билл сидел в кресле, полностью одетый, за исключением носков и ботинок, и подстригал свои бурые ногти. В дверь постучали. Это был Джордж Хаддад. Билл почти не удивился. Опять уселся в кресло и принялся орудовать ножницами. Джордж встал в пустом углу, скрестив на груди руки.

— Мне пришло в голову, что нам следует поговорить, — сказал он. — Как мне показалось, в присутствии мистера Эверсона мы были несколько скованны. Кроме того, трудно вести конструктивный диалог, когда взрываются бомбы. А в Лондоне вообще разговаривать невозможно. В том, что касается языка, это новейшая "черная дыра" западного мира.

— О чем же мы хотим поговорить?

— Того молодого человека не спасти. Слова "освободить" я уже не произношу. Спасти его невозможно, его жизнь на волоске, если только нам не удастся наладить сотрудничество на сугубо неформальной основе, без нажима организаций и постоянного присутствия полицейских.

— Вы говорили, что внимание прессы — залог его освобождения. Будем действовать без прессы?

— В Лондоне ничего не добьешься. Каждый приходит со своей готовой ролью, написанной на бумажке. Об идеях не говорит никто. Я считаю, что нам следует ограничить масштаб акции.

— Бомба это уже сделала.

— Ограничить радикально. Мы с вами должны друг другу довериться и начать с чистого листа, только вы и я, в каком-то новом месте. Сейчас я живу в Афинах. Руковожу семинаром в Эллинско-Американском институте. Весьма вероятно — не рискну обещать, но вероятность есть, — что мне удастся устроить вам встречу с единственным человеком, который может в прямом смысле слова открыть дверь подвала и отпустить заложника.

Билл молчал. Время шло. Джордж присел на стул у окна.

— Тогда за ужином я хотел задать один вопрос.

— Ну и?

— Вы пользуетесь электронной пишущей машинкой?

Билл, поддерживая правую ступню левой рукой, обрабатывал толстый и жесткий ноготь большого пальца — запустил загнутые кончики ножниц под твердый бугорок; на миг замешкавшись, выпятил губы, отрицательно помотал головой.

— А вот я обнаружил, что без нее просто не могу работать. Меняешь местами слова, абзацы, хоть сотню страниц, исправления вносятся мгновенно. Когда я готовлюсь к лекциям, машинка помогает мне упорядочить мысли, выдает текст, который не сопротивляется правке. Осмелюсь предположить, для человека, который явно много переделывает и отшлифовывает, для такого человека, как вы, электронная машинка была бы подарком судьбы.

Билл отрицательно покачал головой.

— Разумеется, я спросил себя, что вы выиграете, отправившись в Афины в обстоятельствах, которые можно назвать... Как мы можем назвать такие обстоятельства, Билл?

— Темными.

— Я спросил себя: зачем ему соглашаться? Что он приобретет?

— И что ответили?

– Вы не приобретете ничего. Нет ни малейшей гарантии успеха. Только риск. Любой сведущий человек вам скажет, что вы едете на верную смерть.

– Мне придется купить еще одну рубашку, – сказал Билл.

– В Афинах разговор возможен. Со стороны этот город кажется легкомысленным и суетливым, а на деле склоняет к благоразумию и умиротворению, к сглаживанию разногласий. Только не подумайте, что я считаю, будто у нас с вами есть идеологические разногласия. Ничего подобного. Билл, это будет диалог. Ничем не стесненный. Никто не станет навязывать свою линию или предъявлять ультиматумы. С моей террасы прекрасный вид на все четыре стороны.

Билл позавтракал с врачами. За несколько минут до полудня уложил вещи в чемодан; распахнув дверь, помедлил, оглянулся, проверяя, не забыл ли чего. Спустился в вестибюль, сдал ключи и пошел за два квартала к стоянке такси. Посмотрите налево. Посмотрите направо. Он вообразил себе, как Чарли стоит перед зеркалом, повязывая ослепительный галстук, предвкушая телефонный звонок. Из-за угла навстречу ему выехало такси. Черный капот, надраенный до блеска. Он сел в такси, опустил стекло, откинулся на сиденье. И впервые подумал о заложнике.

10

Скотт все составлял и составлял списки, а шел уже конец мая; составлял списки того, что следует сделать, – и делал, методично осуществлял идею за идеей, приводил в порядок комнату за комнатой. Конечно, список вещей и дел – тоже вещь и дело. Порой одна-единственная позиция в перечне дает начало другому перечню, длинному-длинному. Он знал: нужно себя сдерживать, а то еще погрязнешь в трясине списков, потеряв из виду конкретные задачи. Списки радуют душу, списки – сама организованность и аккуратность. Составлять список, вычеркивать строчку за строчкой по мере того, как справляешься с задачами. Ощущение маленького, но ободряющего успеха, еще одного шага, приближающего к новой реальности.

Где сейчас Карен, он знал, зато от этого гаденыша Билла – ни полслова.

Он ходил по дому, примечая, что нужно сделать: счета, почта, где зашпаклевать, что выбросить, все бумаги разобрать заново, – и делал не откладывая в долгий ящик. По-видимому, смысл списков и заданий в следующем: когда ты решил все задачи, вычеркнул все соответствующие строчки из списка, когда ты скомкал и выбросил все списки и наконец – сам себе хозяин – оказался в замкнутом пространстве, где искоренены списки, куда не вторгается ничто мирское, – ты доказал себе, что можешь идти по жизни в одиночку.

В данный момент он сидел в кабинете и чистил пишущую машинку. Дунув на клавиши, сметал влажной тряпкой волосы и пыль со дна футляра, обитого фетром. Выдвинул левый ящик стола, обдумывая следующий важный пункт своего списка – новые принципы классификации читательских писем. В ящике лежали старые наручные часы, почтовые марки, скрепки, ластики и иностранные монеты.

Билл в жанре списка не работал – не такой он был писатель. Билл считал, что растянутые фразы теряют свою весомость и смак; похоже, ему была чужда первобытная радость выдумывать имена для всего на

свете, перечислять, прослеживать узы родства между вещами или между словами, цеплять одна за другую прерывисто дышащие фразы, в которых живет и бьется новооткрытое изобилие.

Поднявшись, Скотт поглядел на стену с диаграммами — рабочими чертежами бесконечной книги Билла. За восемь с лишним лет, прожитых здесь, он никогда не видел их так близко. Огромные побуревшие листы, испещренные мистическими граффити. Даже скотч, которым бумага прикреплена к стене, пожелтел на солнце, начал отклеиваться. Страшно занятно, целый век бы глазел на все эти стрелочки, каракули, пиктограммы, все эти линии, соединяющие разнородные элементы. Есть в этом нечто примитивное и отважное. По крайней мере, такое впечатление возникло у Скотта, пока он переходил от листа к листу. Темы и персонажи, сцепленные завитушками и пунктиром, пытаются сплотиться; маниакальная потребность все свести воедино, ничего не упустить. Многострадальная книга Билла. И скрипучий голос самого Билла — несколько лет назад, в один из тех моментов, когда тело полупьяно, а душа прозорлива, — произносит: "Что толку от этих сказок — они же не избавляют нас от страхов".

Чарльз Эверсон на звонки не отвечает. Впрочем, он все равно не знает, где Билл, а знал бы, так и так не сказал бы Скотту. Никто не знает. В том-то и штука. Исчезновение Билла, по ощущениям Скотта, — своеобразная симуляция смерти.

Он снова сел за стол, наклонился к самым клавишам и энергично дунул.

Билл разрешил себя сфотографировать не потому, что захотел выйти из подполья, а потому, что решил зарыться еще глубже, продолжить отшельничество на новых условиях; реальная опасность разоблачения нужна ему как веский резон для усиления конспирации. Сколько уж лет ходят байки, что Билл умер, что Билл в Манитобе, что Билл живет под чужим именем, что Билл больше не напишет ни слова. Древнейшие байки человечества, они не столько о Билле, сколько о людской потребности изо всего делать тайны и легенды. А теперь Билл взялся за собственный цикл мифов о смерти и воскресении. Скотту это напомнило о том, как великие вожди регенерируют свою власть, пропадая из виду, а затем организуя мессианские вторые пришествия. Лучший пример — Мао Цзэдун. Много раз газеты оповещали, что Мао умер — умер, выжил из ума или слишком хвор, чтобы руководить революцией. Недавно Скотту попалась фотография семидесятидвухлетнего Мао во время его знаменитого заплыва на девять миль — первого публичного появления Председателя после многих лет затворничества. Голова Мао торчит из Янцзы, божественно-величественная и нелепая.

Выдвинув правый ящик, Скотт увидел просроченные водительские права, очередную горсть иностранных монет и скрепок. Он знал, где Карен: в Манхэттене, лицо бесстрастно, все антенны начеку. Следующий важный пункт — письма читателей; упразднив хронологический принцип, классифицировать их по географическому, по странам, по штатам.

Наклонился к клавишам. Подул.

Приподнял машинку, протер под ней фетр влажной тряпкой, удаляя пыль и волосы.

С помощью фотографий Мао возвестил о своем возвращении, показал, в какой он отличной физической форме, вдохнул в революцию новую жизнь. Фотография Билла — уведомление о смерти. Его изображе-

ние еще даже не обнародовано — а Билла уже нет. Вот решающий шаг, который он должен был сделать, чтобы спрятаться окончательно, укрыться даже от тех, кого все эти годы удостаивал доверием и любовью. Он вернется своим особым путем, поселится где-то еще, в настоящих дебрях, выдавая себя за кого-то другого. Скотту пришло в голову, что фотография, возможно, состарит Билла. Он начнет выглядеть старше — выглядеть не на портрете, а в жизни, по сравнению с моментом, зафиксированным на снимке. Фотография поможет ему преобразиться. Позволит ему понять, каким его видит мир, задаст точку отсчета, стартовую линию побега. Изображения, претендующие на сходство с нами, принуждают нас к выбору — все больше под них подстраиваться или полностью измениться.

Выдвинув средний ящик, он нашел черную кисточку, россыпь марок, скрепок и старых свинцовых центов, пузырек с коррекционной жидкостью.

Билл вернется к книге. Вот в чем будет состоять его возвращение. Он с новым рвением возьмется за роман, перелицует, выпотрошит, не оставит живого места, переиначит так, что мама родная не узнает. Он заново родился. У него опять есть тайна — и это придает ему силы. Скотт вообразил, как он горбится над столом, исследует древние девственные чащи языка.

Снял крышку, обмахнул молоточки машинки найденной кистью.

Наклонился к клавишам. Подул.

Пока Билл в бегах, жизнь Карен лишена стержня. Карен вся — дрейф и колебания. Скотт тосковал по ней так, что всех видов тоски не перечесть. Ему осталось запечатленное в памяти тело, ритм и облик, не имеющие возраста, и как она выгибалась и корчилась, в стеклянных глазах — почти ужас перед тем, что близится неостановимо; а потом, на последнем затяжном такте, прорывался крик. Словно рисуя мультфильм, он мысленно расчленил ее движения на фазы. Он почти ненавидел ее — и жаждал ее возвращения. Она — единственная любовь, будничное диво, та, про кого тебе может присниться, будто она твоя сестра, а проснувшись, обнаружив ее у себя под боком в постели, не ощутишь ни стыда, ни противоречия. Всякий раз, когда она слышала скрип рассохшихся половиц, ей казалось, что это налет вооруженных бандитов. Постоянная боеготовность к неведомому. Она часто говорила ему: знай люди, что у меня в голове, навеки посадили бы меня под замок. Да нас и так посадят, говорил он. Уже посадили. Нас всех так или иначе сажают за наши мысли. Мы сами у себя под замком, говорил он. Списки — вот отрада. Истертые черные клавиши, засалившиеся за годы отчаянного стука. Он опять взял влажную тряпку, начал протирать клавиши, каждую отдельно. Скромный мастер-наладчик счастлив уж тем, что трудится, горд, что не сдается.

Эверсон сидит в своей крепости-небоскребе и держит язык за зубами. Мао плывет по своей реке и не тонет. Вчера вечером Скотт видел по телевизору любительский фильм, снятый каким-то туристом в китайской деревне: странные же там дела творятся. Показали, как у реки собираются члены китайской христианской секты. Потом — кульминационный момент коллективного вознесения на небо: молодежь, и юноши, и девушки, с воздетыми кверху руками входят в реку, спотыкаются, кружатся, многих уносит течением. Камера дрожит в руках оператора, и оттого фильм скорее похож на бред, такие дилетантские поделки не вызы-

вают доверия, но телевизионщики замедлили темп, переслоили фильм стоп-кадрами, обвели кружочками головы на воде, а затем прокрутили пленку с самого начала: люди, по большей части одетые в белое, группками по двое и трое входят в реку, головы исчезают, а руки еще трепещут, как крылья. А Карен здесь нет, вот бы она посмотрела. Посчастливилось нашей маленькой Карен. А Карен колеблется и дрейфует. Он посмотрел на настенные диаграммы. Письма читателей можно классифицировать по географическому принципу либо по книгам, хотя изрядная часть корреспонденции касается обеих книг или ни той, ни другой: философские рассуждения, истории о флирте с литературой, правда без прикрас и вранье без зазрения совести. Билл прячется от своей фотографии. Сволочь, с самого начала все подстроил, точно так же, как доводит себя до разных картинных недугов, чтобы затем купировать их лекарствами.

Он наклонился к клавишам. Подул.

Выдвинул нижний правый ящик, глубокий, рассчитанный на толстые папки, увидел несколько старых паспортов, несколько банковских книжек, несколько открыток от Лиз, дочери Билла.

Разумеется, без помощи Скотта полноценное возвращение Билла неосуществимо. В нужный момент Билл с ним свяжется. Телефонный звонок, лаконичные распоряжения. Скотт займется домом и обстановкой, всеми юридическими сторонами продажи и отъезда, день за днем будет упаковывать книги с рукописями и пересылать их Биллу, а затем тихо разберется с последними задачами в списке, доделает все, что следует доделать, сядет за руль и растворится в долгой ночи, чтобы воссоединиться с Биллом и вместе с ним начать все с нуля.

Стопка писем от сестры Билла. Он знал, что детство Билла и его старшей сестры прошло в нескольких городках на Среднем Западе и Великих Равнинах; последнее письмо оказалось одиннадцатилетней давности — возможно, она уже умерла. Он нашел документы о демобилизации Билла из армии, какие-то страховые полисы, а также бумагу с заголовком “Уведомление о регистрации новорожденного”. Бумага гласила, что свидетельство о рождении хранится в бюро регистрации актов гражданского состояния в городе Де-Мойн, штат Айова. Внизу листа — штамп с надписью: “Торговая палата”. Дата совпадала с датой рождения Билла, много раз виденной Скоттом в заявлениях и анкетах; а звали ребенка Уиллард Скэнси младший.

Он наклонился к клавишам. Подул.

Переставил машинку и прочие вещи на кожух батареи, протер столешницу влажной тряпкой.

Вчитался в армейские документы и увидел то же самое имя, которое фигурировало в документе о регистрации новорожденного.

Билл не черпает материал из собственной биографии. Бессмысленно искать в его произведениях неслучайные детали, тайные намеки, которые объясняли бы, почему он выбрал такой, а не иной жизненный путь. Бывает, что его соки, мозг из его костей, частицы его своеобычной души отпечатываются на какой-нибудь странице, ложатся на нее фраза за фразой, но нигде ни слова о детстве, о местах, где он жил, о том, что за человек был его отец.

Скотт водрузил машинку назад на стол.

Имя для грабителя банков. Или для жилистого боксера второго полусреднего веса, человека 30-х с расчесанными на прямой пробор воло-

сами. Грабитель банков, залегший на дно после удачного дела в ожидании следующего.

Он прочел несколько писем. Прочел открытки от Лиз, изучил фотографии в просроченных паспортах, прочел названия стран, оттиснутые штемпелем на плотных, узорчатых, пожелтевших страницах. Прочел, переставляя стул к окну по мере того, как смеркалось, все оставшиеся письма от Клэр — сестры: банальные отчеты о погоде, детях и больных коровах, голубыми чернилами по разлинованной бумаге.

Сколько же бумаги в этом доме.

Потом он включил лампу и занялся своими списками, пока не пришло время ужинать.

Она поговорила с женщиной, которая жила в пластиковом мешке неподалеку от дома Бриты. Эта особа неплохо управлялась с узлами и свертками. Выжить — значит научиться сужать занимаемое тобой пространство, ведь привлекать внимание недругов опасно. Также это значит, что свои пожитки ты маскируешь под что-то другое, чтобы казалось, будто все твое имущество — какая-то одна вещь, хотя в действительности вещей много и все они завернуты, перевязаны, вложены одна в другую, тайная вселенная вещей, которую не опишешь даже шепотом на ухо, пластиковые пакеты, набитые пластиковыми пакетами, и где-то там, внутри, сама женщина, упакованная вместе со своим имуществом. Карен спрашивала у нее, что она ест, получает ли где-нибудь горячее питание, не нужно ли чего, — возможно, Карен сумеет помочь. Разговоры о житейском. Женщина выглядывала из мешка, темноглазая и чумазая, почти не реагировала; сколько к ней ни присматривайся, видишь лишь приросшую к лицу грязь, человека в броне из грязи.

Для несчастных трудно подыскать подходящие слова. Ошибешься в одном — и в их глазах открывается бездна.

В метро она видела человека, который, ужом пробираясь через толпу, повторял: “У меня в боках дырки”. Даже денег не просил, картонным стаканчиком не тряс. Просто шел по вагонам твердой походкой, которой метро обучает даже тех, у кого искорежено тело. Карен попыталась прочесть написанную по-испански инструкцию о действиях в чрезвычайной ситуации. “У меня в боках дырки”. В туннелях и склепах этого города легко возомнить себя Христом.

Школьники Верхнего Манхэттена напяливают свои форменные галстуки на голову. Ослабляют узел, сдвигают вниз, натягивают получившуюся широкую петлю на голову, узел оказывается за правым ухом, а длинный хвост свешивается на спину. Стреляют из своих ранцев. То есть держат ранцы у бедра на манер автоматов “Узи” и, оттопырив губы, осыпают все вокруг воображаемыми очередями. А у нас в городе форму носили только ученики католических школ. Ей вспомнились монахини, их фургоны, как она выходила со стадиона, с футбольного матча, вместе с группой монахинь. Они были монохромные, а она сама — в цвете.

Прорывало водопровод, лопались трубы бойлерных, асбестовые осколки разлетались во все стороны, из провалов в тротуаре били грязевые фонтаны, а люди, стоявшие вокруг, повторяли:

— Точно в Бейруте живем. Ну прямо Бейрут какой-то.

В автобусе перед своей остановкой дерни за узкий ремешок — дай знать водителю, что хочешь сойти. В автобусах — английский, в метро — испанский. Донесите до каждого люда — сейчас пора поспешать.

Саксофонист в белых кроссовках играет, согнувшись в дугу, широко расставив ноги, клонится вперед, почти скребет инструментом по асфальту, автобусы, машины, грузовики, на тротуаре продавец разложил старые-престарые журналы, "Лайф", "Лук", как они великодушны, эти древние обложки, жалкие, но и успокаивающие, они прощают нам все годы, прошедшие с их издания, и саксофонист жмурится, кивая-поддакивая звукам.

В мансарде она рассматривала снимок, сделанный в лагере беженцев: весь кадр сверху донизу, от края до края заполнен тесно сгрудившимися мальчиками, почти все отчаянно машут руками, выставив светлые ладони, все смотрят в одну сторону, темнокожие мальчики с непокрытыми головами, отблески прожекторов на ладонях, и ты понимаешь: на самом деле их еще больше, за пределами фотографии остались тысячи других, но в самой гуще попавших на снимок сотен машущих, жмущихся друг к другу в давке мальчиков, при виде которой перехватывает горло, она отыскала одного-единственного, сильно встревоженного взрослого, единственная голова зрелого мужчины торчит где-то в верхнем правом углу, он в вязаной шапке, поднес руку ко лбу — наверно, загораживает глаза от прожекторов, все мальчики смотрят в объектив, а мужчина стоит боком и смотрит поверх голов, по диагонали композиции, на что-то, не попавшее в кадр. Он не похож ни на вождя, ни на государственного служащего. Он — человек из толпы, но в этой толпе заблудился, намертво застрял на странице, заполненной машущими мальчиками, только мальчиками, на фото нет ни единой точки, где угадывались бы земля, горизонт или небо, только руки и головы; и она предположила, что мальчишки машут, выпрашивая еду, киньте нам что-нибудь поесть, столько гримасничающих рожиц уставилось в объектив. Видно, там, за спиной фотографа, грузовики с продуктами; а может, мальчики просто машут фотоаппарату, фотоаппарат для них как дверь, за которой еда? Приходит человек с фотоаппаратом, и они думают: "Значит, поесть дадут". И растерянный взрослый мужчина, думающий не о еде и не о фотоаппарате, но о толпе: как бы выбраться, пока не раздавили.

Брита сказала:

— И я не возражаю: поживи тут еще немного. Но мы обе знаем, что рано или поздно мне придется тебя выставить, скорее рано, чем поздно. И вот что я тебе скажу: Билла ты здесь не найдешь, здесь его нет.

— Я не ищу его на улицах, не заглядываю в лица. Мне просто нужно какое-то время не видеться со Скоттом. А Билла я ищу как бы у себя в голове, думаю, где он может быть.

— А ты и Скотт...

— Скотта я вообще-то люблю, в основном, по большому счету. Господи, как ужасно звучит. Забудьте, что я это сказала. Просто мы перестали разговаривать так, как раньше. Нам это стало буквально не под силу. Мы молча сговорились ничего не предпринимать: пусть ситуация ухудшится до предела, а там посмотрим. Идея в том, чтобы сознательно не лечить нарыв — пусть себе дозреет и лопнет. Сам по себе, в доме Билла. Так мы решили — мы, два человека, у которых всегда был ежедневный план улаживания всех проблем. Два человека, которые говорили между собой на глобальном языке.

Брита поехала снимать писателей, оставив ключи и немного денег. Устно и письменно проинструктировала Карен, как кормить кошку, как

обращаться с замками и сигнализацией, набросала перечень телефонных номеров и дат: Сан-Франциско, Токио, Сеул.

Выходя на улицу, Карен чувствовала: сам воздух ее предостерегает, ей казалось, будто она светится, светятся люди, светятся машины, по руке сбегала электрическая дрожь, а затем открывалась вся подноготная боли — боли, которая берет в кольцо, которая курится над раскаленными нейронами и прожигает мозг насквозь, даже странно, что кожа не лопается. На несколько секунд или даже полминуты она полностью теряла зрение, иногда глаза застилало какое-то сияние, раскаленная белая мгла; Карен ошалело замирала, дожидаясь возвращения улицы — надо же выбраться из мглы к вещам и поверхностям, к словам, которыми мы их помечаем.

Обратно к дому Бриты она возвращалась на такси. Теперь она иногда брала такси, останавливала желтые машины, за рулем которых сидели уроженцы Гаити, Ирана, Шри-Ланки, Йемена — люди с фантастическими именами, не всегда определишь, что на карточке значится первым: имя или фамилия. Карен разговаривала с ними. Дрейфуя по этому городу, по этому океану лиц, она должна была научиться различать лица. Один таксист сказал, что родом из Йемена, и она попыталась вообразить, где это может быть. Она разговаривала с сикхами и египтянами, кричала, чтобы было слышно за перегородкой, или наклонялась к отверстию для денег, расспрашивала о семье или о религиозных обрядах, молятся ли они, повернувшись лицом к востоку.

Она видела фотографии пропавших детей на продуктовых и молочных пакетах, на плакатах, наклеенных на стены домов, — но то и дело слышала о женщинах, которые отдают младенцев чужим людям, бросают новорожденных на помойках. Она набрела на тот парк — увидела его из такси. Видела нормативную жизнь планеты: бизнесменов, снующих по улицам в тени стеклянных небоскребов; жизнь, где сиди себе в автобусе — и тот, подчиняясь логике, обязательно довезет тебя куда надо; безучастную гладь, безмятежное скольжение по течению. Видела тела спящих в туннелях и под эстакадами, головы закутаны, грязные ноги обложены тугими свертками.

“СОНИ”, “МИТА”, “КИРИН”, “МАГНО”, “МИДОРИ”.

Увидев этих немытых людей, толкающих магазинные тележки с какими-то таинственными узлами, она подумала: они, словно паломники по святым местам, вечно идут куда-то, а сами думают, наверное, в основном о том, как бы продержаться ближайшие десять минут; наконец-то они усвоили, что́ самое главное, и ну его, этот Иерусалим.

У нее появилась новая привычка — воображать, как люди падают на улице. Вот идет беспечный прохожий — и вдруг голова у него разбита в кровь или еще что-то, и он обалдело встает. Или, приметив человека, ступающего на мостовую, мысленно видела несущийся прямо на него автомобиль — и вот человек уже валяется на асфальте весь в крови.

Итак, она набрела на тот парк. Наткнувшись на такое, цепенеешь. Палаточный городок. Хижины и сарайчики, как бы их назвать, на языке вертится, ну же... ага, хибарки; лабиринты из обитаемых коробок и контейнеров, накрытых сверху синим полиэтиленом. То ли лагерь беженцев, то ли самая запущенная окраина какого-то пыльного поселка. На подмостках летней эстрады — постели, недвижное нагромождение одеял внезапно подергивается, вскидывается — это человек, встав на колени, кашляет кровью. Карен шла на негнущихся ногах, вприпрыжку,

будто сама подшучивая над своим робким любопытством или скрывая благоговейный трепет. Из горла человека выползали кровяные нити. На скамейках — коконы с телами внутри, на ограде бассейна-"лягушатника" сушатся одеяла. И весь этот самострой, задрапированные синей пленкой жилые коробки, угольные печки, зеркала, чтобы бриться, дым костров, разведенных в бочках из-под мазута. Обособленный, но громко заявляющий о себе мир, калейдоскоп картинок — трехмерных, испускающих запахи, говорящих вслух на своем особенном наречии; всюду звучит какой-то разноязыкий английский, раскрошенный и разваренный, расплескавшийся по жадным ложкам и черпакам. Люди на разных стадиях оборванности, некоторые еще неплохо экипированы по сравнению с остальными; пожитки, упакованные в ящики, сложенные в тележки. Она увидела мужчину, сидевшего в колченогом кресле перед своей коробкой, — он походил на типичного домовладельца с тенистой улочки, только недорисованного. На контур, предваряющий работу над картиной. Он разговаривал сам с собой совершенно нормальным тоном, человек довольно образованный, в прошлом, как интуитивно угадала Карен, у него был достаток, были друзья и родственники. Он вел сам с собой умный разговор, вполне содержательный, а заметив, что рядом стоит Карен, запросто переадресовал свои замечания ей, словно они беседовали с самого начала. Глядя на эстраду с другой точки, издали, она различала все новые беспомощно ворочающиеся тела, слышался кашель, и Карен осознала, что все подмостки, от рампы до раковинообразной задней стены, устланы одеялами, и повсюду мучительное пробуждение, медленно разбегается стонущая рябь, а некоторые упорно не шевелятся, лежат совершенно неподвижно, живые барельефы, у них есть лица и имена, в груди у них бьются сердца.

Карен, в благоговейном трепете, невольно замедлила шаг. Съездила домой покормить кошку и тут же вернулась — взяла такси, сказала ямайцу: "Томпкинс-сквер". Примерно десять акров, всюду расхаживают голуби, но не взлетают; даже когда она попыталась вспугнуть нескольких птиц, те лишь засеменили прочь, даже не взмахнув крыльями. Люди держатся кучками и большими группами, вечереет. Кто-то жарит мясо на вертеле, а неподалеку — драка, мужчина и женщина толкают старика, швыряют друг к другу и подхватывают под мышки, тот, шлепнув их по рукам, зашатался, нелепо приплясывая, а потом растянулся на земле. Сценка тут же растворилась в массовке. Всё тут ненадолго, всё постоянно блекнет, ускользает. Мимо проехал полицейский фургон — ну прямо как на карикатуре, изображающей Бомбей.

Ночь застигла ее за беседой с высоким подростком в майке, на которой были нарисованы бутылки кока-колы, несколько рядов бутылок[1]. Он торговал марихуаной на краю парка, воркуя: "Травка, травка, травка, травка". Клич начинался на высоких нотах и постепенно стихал, заканчиваясь истомным кошачьим мурлыканьем. Проходившие мимо окликали его: "Омар". Лицо у него было длинное, лоб скошенный, подбородок маленький, а мелкие кудряшки на голове — такие короткие и такие четко очерченные, что по контрастности и четкости прорисовки напоминали географическую карту. Упавший старик пока так и не встал, но пытался что-то достать из заднего кармана брюк. К нему подошел

1. Подразумевается репродукция с одной из наиболее известных работ Уорхола "210 бутылок кока-колы".

седоголовый белый в рваном пальто, бейсболке и высоких кроссовках, завязал разговор.

Омар сказал:

– Иногда бывает – фэцэдэшные дурят. Тогда приезжает полиция с электрошоками, слепит прожекторами.

– Столько техники?

– У них есть такая дубинка, хлещет будь здоров, пятьдесят тысяч вольт. Но ты подивишься – иногда она клиента не валит, только чуть осаживает. Его опять – а он встает. Вот тебе адреналин.

– Что такое "фэцэдэшный"?

– Моторно-расстроенный чел. Фэцэдэ[1] курить – верное средство заделаться таким. Вот тебе сразу адреналин и температура. Улет не только по названию, они взаправду летают.

На эстраде все еще просыпались, укладывались спать, сидели, глядя в пространство, застегивали на молнию спальные мешки, курили сигареты; слышался несмолкающий, накатывающийся волнами монотонный рокот, утверждения и дежурные ответы, напомнившие Карен молитвы, ритуал обрубленных слов, вскриков во сне, взрывов ярости, тихого лепета. На один голос отзывается другой, дыхание срывается на хрип – и немедленно следует брань. Провисший тент из синего полиэтилена, залатанный обрывками американского флага. Мужчина и женщина сидят под пляжным зонтиком. Кто-то чистит апельсин. Кто-то, голый по пояс, спит ничком на скамейке, цвет волос, плечи и спина – точь-в-точь как у Билла.

В уши ей вонзался клич Омара: "Кому коробо́к, коробок, коробок, коробо́чек".

Какой-то человек выполз из своей хибарки, поднялся, шатаясь, на ноги, заковылял за ней, клянча милостыню, докучая, язык у него озлобленно заплетался, и Карен впервые со своего появления здесь обнаружила: они ее тоже видят, даже сквозь пелену отчаяния, висящую над парком. Это не муниципальный парк, а какое-то особое место, где всё – не на жизнь, а на смерть, где непременно выяснится, чего ты стоишь на самом деле. Она обнаружила: ее видят. Это был шок. Она дала попрошайке доллар – купюра была жадно схвачена, внимательно рассмотрена, удостоена презрительного взгляда. Нищий что-то сам себе забормотал, растворившись в сумраке.

Из-за ограды послышался голос – женский голос, отчетливо произнесший: "Какая чудесная весенняя ночь"; Карен страшно изумилась: сколько радости в этих словах, сколько восторга, в какие дали уносит эта стайка немудреных слов.

Она спросила себя: а что если, получив доллар, попрошайка не отвязался бы? Что если никакая сумма не заставила бы его убраться прочь?

Омар сказал ей:

– Раз поселился на улице, нет уже ничего, кроме улицы. Знаешь сама, да? Эти люди могут только об одном говорить, об одном думать – о грязном ящике, где живут. Чем меньше ящик, тем больше жизни у тебя отнимает. Знаешь, что я говорю. Живешь в зашибенном, в неделю не уделать, особняке – о нем надо думать дважды в месяц по десять секунд, не больше. Живешь в ящике – весь день на него тратишь. Остался без

1. ФЦД – фенилциклидин, применяемый в ветеринарии транквилизатор, который курят как наркотик.

ящика — нужно колготиться в два раза больше, чтобы добыть новый. Я тебе говорю, что своими глазами наблюдаю.

Она вообразила себе согнутые в три погибели тела в хижинах и палатках, мужские или женские, со стороны не поймешь, спящие в отсыревшей одежде на кусках картона или на каком-нибудь матрасе с помойки, заросшем вековыми нечистотами.

Она поискала взглядом Омара, но он исчез.

Все мелкие пожитки сложены в угол, завернуты и увязаны, вложены друг в дружку, вещей уйма — а кажется, что одна; универсальная система складирования — подспорье в жизненной борьбе. Карен прошла парк насквозь, с востока на запад, слыша шорохи и ропот дремлющих душ.

Наутро она начала разыскивать бутылки и банки, которые принимают как вторсырье, подбирала все, что попадалось на помойках и обочинах, в мешках с мусором у черного хода ресторанов. Бутылки, спичечные коробки, обувь с треснувшими подошвами — полезные составляющие культурного слоя. Все несла в парк, оставляла у входов в палатки или, если была уверена, что дома никого нет, заталкивала внутрь. Пробираясь в вонючие закоулки, развязывала узлы на мусорных пакетах, мусор вываливала на землю, пакеты забирала. Это почти как торговать турецкими гвоздиками в вестибюле отеля "Марриот", разница невелика. Влезая на мусорные баки, она копалась в том, что выбрасывали со строек, добывала гипсокартон, дощечки, гвозди. Но прежде всего — бутылки и банки, то, что можно превратить в деньги.

Какой-то мужчина показал ей свою искалеченную руку и попросил милостыню. Она находила сломанные зонтики, помятые — вполне съедобные, только вымой, — фрукты. Фрукты мыла и несла в парк. Все несла в парк. Подкладывала в хижины. Видела, как из скамеек сооружают жилища со стенами и островерхой крышей. Кого-то шумно стошнило на стену служебной постройки в парке — Карен обратила внимание, что сторож в тужурке цвета хаки спокойно прошел мимо, даже бровью не повел. Так здесь и положено, чтобы по стенам сползали зеленые кляксы блевотины. Карен наблюдала, как жители эстрады кряхтя выползают из своих коконов, нахохленные и задыхающиеся, очумело поднимают глаза к лоскуту неба и света, висящему над синим лагерем.

Только те, на ком печать мессии, спасутся.

11

Билл остановился перед церковной лавкой. Медальоны, сплошные медальоны, и на каждом — какой-нибудь святой с блестящим кружочком вокруг головы. Гениальная у них здесь система, подумал он. Подбери имена куче святых, расставь их в витринах, не скупись на нимбы с крестами да щиты с мечами. И священники у них производят сильное впечатление, ей-богу. Их тьма-тьмущая, бороды лопатой, круглые шапки, рясы-размахайки. Крепкие мужики, все как один. Даже у дряхлых старцев вид здоровый. Биллу пришло в голову, что здешние священники в определенном смысле бессмертны — эти колоссальные черные фрегаты веры и суеверия прочно впаяны в память нации, как в лед.

Вернувшись в номер, он задумался о заложнике. Попытался мысленно переместиться туда, где жарко и больно, где не бывает утонченных переживаний со всеми их нюансами. Попытался представить себе, каково это — полнейшая изоляция. Уединение под дулом пистолета. Несколько

раз перечитал стихи Жан-Клода. Но тот оставался невидимым. Оставался швейцарцем. Билл пытался увидеть его лицо, волосы, цвет глаз — а увидел цвет подвала, облезлой краски на стенах. Вообразил конкретные предметы во всех деталях, сделал так, чтобы на миг воссияла их имманентная суть: вот миска для еды, вот ложка, обыкновенные вещи, слепленные из мысли, восприятия, памяти, ощущений, фантазии и воли.

Потом пошел к Джорджу Хаддаду.

— Билл, что вы будете пить?

— Маленькую порцию местного бренди, бережно налитую в небольшую стопку.

— О чем мы сегодня хотим поговорить?

— "Семтекс-Эйч".

— Могу вас уверить: к взрыву в том здании я совершенно непричастен.

— Но вы знаете, кто это сделал.

— Я — сам по себе. Я работаю с концепциями. Брать заложников — особая специальность. Из-за них всегда такие распри. Зря вы предполагаете, будто я знаю что-то важное. На самом деле я почти ничего не знаю.

— Но вы поддерживаете связь с людьми, которые знают очень много.

— Так выразились бы в Специальной службе[1].

— И кто-то смекнул, что неплохо было бы изучить ассортимент писателей.

Джордж вскинул голову. Он был в мятой белой рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Сквозь тонкую материю виднелась майка. Джордж вскочил, прошелся по комнате — Билл проводил его взглядом — и уселся на прежнее место, пригубил виски с содовой.

— Дальше разговоров не заходило, — сказал он наконец. — Одного, в Бейруте, отпустить, другого, в Лондоне, взять. И сразу привлечь внимание всего мира. Но возобладало мнение, что британцы не будут бездействовать, если только узнают, где вас держат. Недопустимый риск. Для организации и для вас.

— Не расстраивайтесь, — сказал Билл.

— Ваша безопасность ставилась во главу угла. Вас освободили бы буквально через несколько дней. Да, в определенных кругах эта идея походя обсуждалась. Не буду отпираться.

— Потом взорвалась бомба. Чем больше я думаю, тем больше смысла в этом нахожу. Взрыва я не ждал. Но в ту же секунду, как только почувствовал ударную волну, взрыв показался мне абсолютно логичным. Законным и весомым аргументом. Я с самого начала почуял, что эта история, бог весть почему, имеет ко мне непосредственное отношение. Что это не просто поэтические чтения в помощь собрату-литератору. Когда Чарли изложил дело, меня словно обожгло: как все знакомо. И потом, в Лондоне, снова то же чувство. Чарли вас еще не представил, а я уже знал, кто вы. Выдернул ту стекляшку и почувствовал, что она торчала у меня в руке всю жизнь.

— Никто и не подозревал, что вас занесет в то здание.

— Не расстраивайтесь.

1. Специальная служба — отдел Департамента уголовного розыска Великобритании, осуществляющий функции политической полиции, а также охраняющий государственных деятелей.

— Я в очень щекотливом положении, — сказал Джордж. — Видите ли, мне бы хотелось покончить с этим делом здесь, в Афинах. Приглашаем несколько журналистов, вы делаете заявление в поддержку движения, заложника освобождают, мы все пожимаем друг другу руки. Если, конечно, мне предварительно удастся вас убедить, что движение заслуживает поддержки.

— Но ваша главная проблема в другом, верно?

— Не буду отпираться. В другом.

— На вас давят из Бейрута. Они не хотят такой развязки.

— Возможно, они еще склонятся к моему мнению. Он приезжает в Афины, встречается с вами, беседует с прессой. Это созвучно моему пониманию переклички культур, духовного родства. Два человека, живущих в подполье. В каком-то смысле люди одной породы.

Звякнул замок, вошла жена Джорджа с их дочерью-подростком. Билл учтиво привстал. Ритуал знакомства, кивки, робкие улыбки — и пришедшие выскользнули в коридор.

— Он называет себя Абу Рашидом. Я искренне полагаю, что этот человек вас совершенно обворожит.

— Как всех обвораживает, наверно?

— И меня не покидает надежда, что он здесь появится.

— Но тем временем...

— Наша задача — общаться между собой.

— Вести диалог.

— Именно так, — сказал Джордж.

— Меня уже долгое время преследует ощущение, что писатели и террористы состязаются в перетягивании каната.

— Интересно. Это в каком же смысле?

— То, что террористы завоевывают, писатели теряют. Прирост влияния террористов на массовое сознание равен уменьшению нашей власти над думами и чувствами читателей. Опасность террористов в точности эквивалентна безобидности нас, писателей.

— И чем явственнее мы видим теракты, тем меньше поддаемся воздействию искусства.

— По-моему, связь непосредственная и зримая — зримая, правда, лишь в этом конкретном ракурсе.

— Блестящая мысль.

— Думаете?

— Просто гениальная.

— Череда писателей, у которых мы учились думать и видеть, прервалась на Беккете. Дальше наступила другая эпоха — когда шедевры создаются с помощью взрывчатки: самолеты над океаном, взлетающие на воздух здания. Вот как пишутся новые трагедии.

— И вам тяжело, когда они убивают или калечат, поскольку в них вы видите — будем честны друг с другом — единственно возможных героев нашего времени.

— Нет, — сказал Билл.

— Они живут в подполье, добровольно живут бок о бок со смертью. Они ненавидят многое из того, что ненавистно вам. Они хитроумны. У них железная дисциплина. В их жизни нет места компромиссам. Они вызывают восхищение — ими нельзя не восхищаться. В культурах, не знающих ничего, кроме пресыщенности и пороков, террор — единственное разумное действие. Слишком много всего: вещей, идей и концеп-

ций накопилось – больше, чем хватило бы нам на десять тысяч жизней. То истерика, то инертность. Исторический прогресс под вопросом. Хоть кто-нибудь воспринимает жизнь серьезно? К кому мы относимся серьезно? Только к исповедующему смертоносную веру, к тому, кто за веру убивает других и умирает сам. Все прочее поглощается обществом. Художник поглощается, уличный дурачок и тот поглощается, растворяется, подвергается переработке. Дай ему доллар, сними его в рекламном ролике. Только террорист стоит поодаль. Культура пока не додумалась, как его ассимилировать. Когда убивают безвинных, все несколько осложняется. Но это средство для привлечения внимания – ведь Запад другого языка не понимает. А их умение манипулировать своим образом в нашем сознании?! Как часто они мелькают в бесконечном потоке сменяющихся картинок. Билл, я вам говорил в Лондоне... Только писатель поймет, до чего тошно жить в безвестности, на обочине мира, пропадать зазря. В душе вы сами – убийцы. Чуть ли не каждый из вас.

Упоенный своими речами, Джордж только улыбался, пока Билл возражал ему, энергично мотая головой.

– Ничего подобного. Террорист как изгой-одиночка? Миф чистой воды. Их группы финансируются тоталитарными правительствами. Они сами – идеальные тоталитарные государства в миниатюре. Несут давно известное мировоззрение – оловянные глаза, тотальное истребление, тотальный порядок.

– С чего начинается террористическая организация? С горстки людей, которые собираются где-нибудь в подсобке галантерейной лавки. Они ценят дисциплину и железную волю? Разумеется. Мне кажется, нужно выбирать, на чьей ты стороне. Не успокаивать себя примиренческими аргументами. Защищать растоптанных, оплеванных. Разве эти люди не жаждут порядка? А кто им его обеспечит? Вспомните о Председателе Мао. Перманентная революция и порядок совместимы.

– Вспомните о пятидесяти миллионах хунвейбинов.

– Билл, это же были дети. Там все упиралось в веру. Светлую, иногда идиотскую, иногда жестокую. Посмотрим, что сейчас. Куда ни глянь, молокососы позируют с автоматами. В подростковом возрасте жестокость и несгибаемость уже сформированы окончательно. Я же говорил в Лондоне: чем бессердечнее, тем заметнее.

– И чем труднее становится подыскивать оправдания, тем больше наслаждаешься своей принципиальностью. Тоже несгибаемость своего рода.

Они выпили еще, сидя на корточках, нос к носу; по улице с каким-то бесстыжим ревом носились мотоциклы.

– Джордж, вы представляете какую-то небольшую маоистскую организацию?

– Это только идея. Мечта о Ливане без сирийцев, палестинцев и израильтян, без иранских добровольцев и религиозных войн. Нам нужна модель, которая поможет отстраниться от всей этой истории взаимных обид. Нечто грандиозное и подкупающее. Образ абсолютного бытия. Билл, это – ключ ко всему. В обществах, стремящихся преобразовать себя изнутри, – политика абсолютна, власть абсолютна, бытие абсолютно.

– Даже если бы я мог прийти к мысли, что тотальная власть необходима, моя работа меня бы переубедила. По опыту своего личного сознания я знаю: самодержавие обречено на крах, тотальный контроль кале-

чит душу, персонажи бунтуют против моей деспотической власти, я не могу обойтись без споров с самим собой, без внутренних диссидентов. Мир бьет меня по губам, едва мне покажется, что я его властелин.

Он вытянул из коробка спичку, зажал в вытянутой руке.

— Знаете, почему я верю в литературу? Это демократический крик души. Великий роман, хотя бы один великий роман может написать любой, чуть ли не каждый дилетант с улицы. Я в это верю, Джордж. Какой-нибудь безымянный грузчик, какой-нибудь темный забулдыга может сесть за стол, выработать собственный стиль, рискнуть и достичь. Это настоящее чудо, точно помощь ангелов. Удивительно, аж челюсть отвисает. Фонтан таланта, фонтан идей. Нет двух похожих вещей, нет двух похожих голосов. Двойственность, противоречия, шепоты, намеки. И это вы хотите уничтожить.

Неожиданно он обнаружил, что разозлился.

— А когда писатель растрачивает свой талант, то умирает демократической смертью, и всякий может видеть, какая от него осталась куча дерьма — ворох никудышных текстов.

Лекарства иссякли. Переварены и абсорбированы. “Ну и ладно, — решил он, — нужны они мне теперь”, и не стал выяснять, что имеется в безрецептурном отделе ближайшей аптеки. Задумался, как бы так устроить, чтобы за гостиницу и питание расплатился, несмотря на разрыв отношений, концерн Чарли. Все-таки Билл тут трудится на благо человечества.

Чтобы выпить, приходится долго карабкаться в гору.

Он провожал взглядом священников, провел полминуты в древней церкви — такой маленькой, что ей не было тесно между опор современного небоскреба; одноместное убежище от суеты, от мышиного бега времени — прохлада, полумрак, горящие свечи.

С дороги он сбивался на каждом шагу. Например, в гостинице: всякий раз, выходя из номера, сворачивал к лифту налево, а тот неизменно оказывался справа. Один раз забыл, в каком городе находится, но увидел почетный караул: по тротуару навстречу ему маршировали четверо, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками, — сменились с поста и идут в казарму, одетые в вышитые туники, плиссированные юбки и башмаки с помпонами, — и он смекнул: это не Айова-Сити.

Поднявшись в гору до таверны, он сделал заказ — указал пальцем на блюда на остальных трех столиках. Не то чтобы никто тут не говорил по-английски. Он забывал, что здесь владеют английским, или предпочитал помалкивать. А может быть, ему просто нравилось жестикулировать. Пантомима — один из способов упражняться в добровольном одиночестве, укреплять духовную стойкость. Ведь он почти готов к новому этапу: пора устранить то, что уже не важно, и то, что покамест важно, все лишнее и все необходимое — так почему бы не начать со слов?

Тем не менее он пытался писать, писать о заложнике — другого способа сосредоточиться просто не знал. Впервые после отъезда из дома он затосковал по своей пишущей машинке. По этому ручному инструменту памяти и терпеливой мысли, по бумагомарательному устройству, в котором хранится его земной опыт. На машинописной странице он видел слова яснее, мог составлять фразы, моментально входящие в мир персонажей, не осквернённые его калечащей рукой. А тут изволь обходиться карандашом и блокнотом, просиживать за работой долгие утренние ча-

сы в гостиничном номере, медленно выковывая цепочки мыслей, позволяя словам вести его в тот подвал.

Найди точки, где ты с ним соприкасаешься.

Перечитай его стихи еще раз.

Узри в словах его лицо и руки.

Матрас-"пенка", на котором проходит его жизнь, — сплошное глубоко въевшееся пятно, натуралистичная вековая вонь. Воздух мертвый — уже не воздух, а взвесь каких-то крошек, чешуек штукатурки, что осыпаются со стен при ожесточенном обстреле. Он пробует воздух на вкус, чувствует, как воздух оседает на веки, лезет в уши. Его запястье забыли отвязать от водопроводной трубы, и он не может добраться до туалета, чтобы справить нужду. Боль в почках протягивается нитью сквозь время, пульсирует в унисон со временем, разоблачает уловки, с помощью которых время силится еще больше замедлить свой ход. Человеку, которого они присылают его кормить, запрещено разговаривать.

Кого они присылают? Как он одет?

Пленник различает в зеркале мира тусклое изображение самого себя и осознает, что причислен к святым низшей категории, к мученикам, чьи страдания — укор для совести окружающих.

Не усложняй, Билл.

Сдвинув рычажок, Джордж распахнул деревянные ставни. Комната наполнилась светом и шумом, а Билл налил себе еще. И осознал, что все симптомы как рукой сняло, едва он перестал обжираться таблетками.

— Я по-прежнему убежден, что вам стоит ее купить. Правка вносится мгновенно, — сказал Джордж. — Текст податливый, легкий. Он не сковывает, не давит. Если у вас какие-то сложности с книгой, над которой вы работаете, электроника поможет совершить прорыв.

— Этот ваш сюда приедет или как?

— Я делаю все, что в моих силах.

— Я ведь могу с ним хоть здесь поговорить, хоть там. Никакой разницы.

— Поверьте мне на слово. Разница есть.

— Сажаешь человека в комнату и запираешь дверь. В этом есть какая-то кристальная простота. А не уничтожить ли нам ум, созидающий слова и фразы?

— Я вынужден вам напомнить... слова священны, но они могут быть священны совершенно по-разному. Дивная стихотворная строка часто пребывает в неведении о том, что творится вокруг нее. Бедняки, молодежь — это чистые листы, на которых можно написать все что угодно. Так сказал Мао. А он писал неустанно. Он стал историей Китая, написанной на массах. И его слова обрели бессмертие. Они изучены, повторены, затвержены целой нацией.

— Заклинания. Хоровое пение лозунгов и формулировок.

— В Китае Мао Цзэдуна человек, читающий на ходу книгу, искал не забвения, не развлечения — он крепил свои узы со всеми остальными китайцами. Что за книга? Книга Мао. "Маленькая красная книжка". Цитатник. Она олицетворяла веру, которая была с людьми всегда, где бы они ни находились. Этой книгой размахивали, ее декламировали наизусть, постоянно совали всем под нос. Наверняка не выпускали из рук, даже занимаясь любовью.

— Тоже мне, секс. Зубрежка-долбежка.

— Разумеется. Мне даже удивительна ваша обывательская реакция. Да, безусловно, долбежка. Мы заучиваем труды, которые служат руководством в борьбе. Храня произведение в памяти, мы предохраняем его от гибели. Оно остается нетленным. Дети заучивают целыми кусками сказки, которые слышат от родителей. Вновь и вновь требуют одну и ту же. Не переиначивай ни слова — иначе ребенок разревется. Это и есть тот неизменный нарратив, повествование, без которого не выживет ни одна культура. В Китае этот нарратив был собственностью Мао. Люди затверживали его и декламировали, чтобы революция не сбилась со своего курса. Так опыт Мао сделался неподвластен влиянию внешних факторов. Он превратился в живую память сотен миллионов людей. Культ Мао был культом книги. Призывом к единению, кличем "Все в строй!", — и собирались толпы одинаково одетых, одинаково мыслящих. Разве вы не видите, как это прекрасно? Разве в повторении определенных слов и фраз не может быть красоты и силы? Чтобы почитать книгу, вы уединяетесь у себя в комнате. Эти люди вышли из комнат на улицу. Стали толпой, которая размахивает книгами. Мао сказал: "Наш бог — не кто иной, как народные массы Китая". Этого-то вы и страшитесь — что массы возьмут историю в свои руки.

— Джордж, я вам не великий провидец. Я ремесленник-фразодел, вроде сыродела, только медлительнее. Не надо говорить со мной об истории.

— Мао был поэтом, бесклассовым индивидом, во многих важных отношениях зависевшим от масс, но одновременно существом высшего порядка. Билл-фразодел. Я прямо вижу, как вы там живете, носите широкие хлопчатобумажные штаны и такую же рубашку, как ездите на велосипеде и ютитесь в каморке. Вы, Билл, без пяти минут маоист. Попробуйте им стать — у вас бы получилось лучше, чем у меня. Я внимательно прочел ваши книги, мы много часов проговорили, и я без труда представляю себе, как вы растворяетесь в этой бескрайней бело-синей хлопчатобумажной массе. Вы написали бы то, в чем культура увидела бы саму себя. Убедились бы, что людям необходимо существо высшего порядка, которое помогало бы им побеждать малодушие и растерянность. Моя мечта — чтобы эти идеи возродились в Бейруте, где люди загнаны в крысиные норы.

Жена Джорджа принесла поднос с кофе и сладостями.

— Задайте лучше другой вопрос: сколько жертв? Сколько погибло во время Культурной революции? Сколько сгинуло в итоге Большого скачка? И ловко ли он спрятал своих мертвецов? Вот еще один вопрос. Что эти люди делают с миллионами павших от их рук?

— Бойня неизбежна. Кровопролитие всегда заставит с собой считаться. Повальная гибель, бессчетные мертвецы — вопрос лишь в том, где и когда это случится. Вождь — только посредник между историческими предпосылками и реальностью.

— Всякое закрытое государство для того и закрыто, чтобы скрывать своих мертвецов. Сценарий такой: ты предсказываешь, что, если твоя версия истины не воплотится в жизнь, будет много погибших. Потом ты убиваешь людей, чем больше, тем лучше. Потом ты скрываешь факт убийства и сами трупы. Вот для чего было изобретено закрытое государство. А начинается все с одного-единственного заложника, верно? За-

ложник – этот сценарий в миниатюре. Первая пробная репетиция массового террора.

– Выпейте кофе, – сказал Джордж.

Билл поднял голову, чтобы поблагодарить хозяйку, но та уже ушла. Издали послышался какой-то повторяющийся звук – тихие хлопки. Джордж встал, насторожился. Еще четыре негромких "хлоп-хлоп". Он ненадолго вышел на балкон, а вернувшись, пояснил, что это маломощные взрывные устройства, которые одна местная левая группировка прикрепляет к автомобилям дипломатов и иностранных бизнесменов – всегда к пустым, жертвы им не нужны. Эти ребята любят обрабатывать по десять-двенадцать машин зараз. Музыка парковок.

Джордж сел, пристально посмотрел на Билла.

– Съешьте что-нибудь.

– Попозже, может быть. Выглядит красиво.

– Почему вы все еще здесь? Разве дома вас не ждут дела? Неужели вы до сих пор не соскучились по работе?

– Об этом не будем.

– Пейте кофе. Я вам со всей ответственностью рекомендую новую модель "Панасоника". Полностью раскрепощает. Больше не надо возиться с тяжелыми окостеневшими артефактами. Преображаешь текст, как по волшебству, перебрасываешь слова, куда вздумаешь.

Билл зашелся каким-то особым хохотом.

– Послушайте-ка. А если я поеду в Бейрут и заключу тот духовный союз, который вам так мил? Поговорю с Рашидом. Можно от него ожидать, что он отпустит заложника? И чего он захочет взамен?

– Он захочет, чтобы вы заняли место того писателя.

– Поднимите как можно больше шума. Потом, в самый выгодный момент, меня отпу́стите.

– Как можно больше шума. Скорее всего, не пройдет и десяти минут, как вас убьют. Потом сфотографируют ваш труп и придержат снимок до самого выгодного момента.

– А ему не приходит в голову, что я ценнее своей фотографии?

– Сирийцы постоянно прочесывают южные пригороды. Заложников все время нужно перемещать. Рашиду, честно говоря, лень будет возиться.

– А что будет, если я прямо сейчас сяду в самолет и улечу домой?

– Заложника убьют.

– И сфотографируют его труп, не мой.

– С паршивой овцы хоть шерсти клок, – сказал Джордж.

Брита летела в самолете – смотрела кино, слушала через наушники журчащий джаз. Демонстрация фильма казалась каким-то концептуалистским действом: экран парит в полутьме, покрывается, когда самолет потряхивает, рваными линиями и кляксами, звуковую дорожку всякий зритель выбирает сам. Ей подумалось, что на борту самолета каждый смотрит свой фильм – свое маленькое летучее воспоминание о Земле. Перед ней на откидном столике, рядом со стаканом лимонада и пачкой арахиса, лежал журнал, и она перелистывала страницы, ленясь даже глянуть на них. Сосед говорил по телефону, его голос просачивался к ней в мозг вместе с партиями баса и барабанов, а внизу разматывалась с бобины вся Америка.

Брита думала о том, что разрешила Карен жить в своей квартире и присматривать за своей кошкой, даже не зная фамилии девушки.

Размышляла о том, что последнее время все мысли, приходящие ей на ум, вскоре сами собой внедряются в общечеловеческую культуру — воплощаются в чужие картины или фотографии, в слоганы, в прически. На открытках или рекламных щитах она читала глупейшие частные детали своих тайных дум. Натыкалась в прессе на имена писателей, которых уже запланировала сфотографировать, — безвестные люди попадали на газетные страницы, словно Брита разносила по миру некий вирус славы, заразный блеск. Вот и в Токио в одном художественном журнале ей попалась репродукция картины, называвшейся "Небоскреб III", — диптиха, где Всемирный торговый центр изображался точно таким, каким он видится ей из окна: тот же ракурс, та же неприязнь к этому мрачному сооружению. Вот они, ее башни, без единого окна, две плиты из черного латекса, засасывающие все окружающее пространство.

Сосед говорил в телефон:

— Завтра в час по вашему времени.

Занятно. На час следующего дня у Бриты назначена встреча с одним редактором, который ее давно уже обхаживает, — вероятно, прослышал о некой серии и надеется заполучить ее для своего журнала. Она подумала, что надо бы проявить те пленки. Но браться за них почему-то не хотелось — донимало воспоминание о лице Билла в последние минуты той утренней сессии. Ужасный блеск в глазах. Она никогда раньше не видела, чтобы человек с головой окунался в свои давнишние страдания. Она подумала: вот ведь жизнь — строишь, строишь себя, а едва столкнешься с чем-то обескураживающим, все в очередной раз рушится, откатывается к шоку первого разочарования, к недоуменному вздоху.

Стюардесса забрала со столика пустой стакан.

Она думала, что виновата перед Скоттом. Классический пример секса с суррогат-партнером, разве не так? Все время, пока они были вместе, она оставалась той, что, голая и распаренная, подглядывала из ванной за писателем, колющим дрова. Странно, как мысленные образы становятся преградой между существами из плоти и крови. Ей стало жаль Скотта. Как-то она попыталась ему позвонить: изучила карты штата, долго припоминала дорожные указатели, а потом просто обратилась в справочные нескольких графств. Но Скотт Мартино не значился ни в общедоступном, ни в закрытом списке абонентов, а Билла Грея не существовало в природе, а Карен живет без фамилии.

Лицо на экране принадлежало актеру, ее соседу по дому. Он задолжал ей сто пятьдесят долларов и три бутылки вина, и, видя его лицо в полумраке, под щебет джазовых ручьев в висках, она впервые поняла: долга он уже никогда не отдаст.

Она думала о том, что одному из писателей, которых она пыталась сфотографировать в Сеуле, остается сидеть еще девять лет — он осужден за призывы к свержению существующей власти, коммунистические выходки и поджог. Ей не давали с ним свидания, и она рассвирепела, изругала этих подонков последними словами. Бесстыдный эгоизм художника, совершенно непростительный, но ей было важно запечатлеть его лицо на пленке, увидеть, как его черты проступают на листе бумаги в рубиновом свете лаборатории, за семь тысяч миль от его тюрьмы.

Она доверила свой дом, свои работы, свое вино и свою кошку девушке-призраку.

Малыш, сидящий у иллюминатора, поднял шторку, и Брита догадалась, почему ей не хочется заглядывать в журнал, лежащий перед ней, — боязно наткнуться на еще что-нибудь заветное, свое. Она пристегнута, загерметизирована, вознесена на высоту пяти миль, а мир с ней в таких близких отношениях, что она в нем повсюду.

Сойдя с тротуара, сделав шагов семь, он услышал визг тормозов, успел отступить на шаг и повернуть голову. Увидел четки, качающиеся за лобовым стеклом машины, движущейся по встречной полосе, и в это же мгновение был сбит первой машиной, той, от которой отпрянул. Отскочил вбок гротесковой побежкой, всплеснув руками, со всего размаха ударился об асфальт, разбив до крови левое плечо, а заодно и лицо с левой стороны. Почти сразу же попытался встать. На помощь бросились люди, собралась маленькая толпа. Автомобильные клаксоны уже сливались в дружный рев. Он встал на четвереньки, чувствуя себя полным идиотом, сделал рукой успокаивающий жест. Кто-то подхватил его под мышки, и он поднялся на ноги, благодарно кивая. Отряхнул одежду, чувствуя, что левая рука прямо-таки горит, но пока еще стараясь на нее не глядеть. Вымученно улыбнулся человеческим лицам, увидел, как они отдаляются. Потом вернулся на тротуар и стал искать, где бы присесть. Мимо струился людской поток, жгло солнце. Он зажмурился, подставил солнцу лицо. Движение возобновилось, но вдалеке водители все еще жали на клаксоны: рыдания плакальщиков, благоговейный полуденный вопль скорби, висящий в воздухе. Солнце ласкало ему лицо, снимая боль.

То, что он написал о подвале, — как ставка в рискованной игре. В этих строчках таится пауза, опасный прогал — точно-точно, он такие вещи чует. Когда фраза получается как надо, пробирает дрожь — кажется, будто эти слова попали на бумагу лишь чудом, вопреки неодолимым преградам. Он забывал то побриться, то оставить горничной одежду для стирки в особом мешке, то, оставив одежду, забывал заполнить квитанцию. Возвращался в номер, смотрел на одежду в целлофановом пакете, гадал, чистая она или грязная. Доставал ее, подносил к свету, видел кровавые пятна, совал все назад в пакет — пусть горничная разберется. Написанное — как тупой нож, как белая пустыня. Мазал ободранную руку антисептическим кремом, принимал теплые ванны, чтобы тело не ныло — а ныло оно везде. Даже не забывай он бриться, ему удавалось бы обработать только пол-лица. От левого глаза до подбородка тянулся кровоподтек в форме полумесяца: блестящий, сочный, похожий на живое, бодрое существо. Он курил и писал, думал, что, наверно, никогда уже не напишет так, как надо, но радовался знакомому ощущению, ощущению, что какой-то закон языка или природы дал слабину; и Билл говорил себе: я могу, цепляя строчку за строчку, выйти куда нужно, вновь обрести это напряжение, этот колотун, все, что потерял в песках моей бесконечной книги.

Он научился выговаривать слово “Метакса” — с ударением на последнем слоге, и терпкий вкус бренди теперь казался ему вполне резонным.

В Лондоне он завтракал по соседству с врачами. А теперь прямо перед его носом священники покупают яблоки на рынке. Зайдя в церковь в Плаке[1], он увидел занятное собрание металлических бляшек, развешанных под иконой какого-то святого в рыцарских доспехах. По боль-

1. Плака — район Афин.

шей части то были изображения частей тела, но на некоторых медальонах были выбиты солдаты и моряки, голые младенцы и "фольксвагены", дома, ослики, коровы. Молитвенные жетоны, рассудил Билл. Если у тебя сердце болит или в ухе стреляет, обращаешься за помощью к сверхъестественным силам, приобретая готовую бляшку с изображением сердца или уха; женские груди, оказывается, в ассортименте тоже есть, для тех, у кого, к примеру, рак; а потом просто вешаешь эту штуку около соответствующего святого. Метод распространялся на тысячи болезней или напастей, которые могут коснуться твоих близких или имущества, — в принципе очень разумно, мольба становится динамичной и конкретной, провозглашается демократия икон; но сам Билл предпочел бы купить в лавке жетончик на целого человека и повесить около соответствующего святого. У них найдутся святые от всего, чего угодно, хоть от оспы, хоть от злых собак, но Билл сильно сомневался в существовании покровителя для человека целиком, для тела, души и личности зараз; и вот еще что: где-то глубоко в правом боку у него иногда возникает странная боль, которую он любит называть "колотье", — вряд ли для нее подобран святой или изготовляется медальон, который можно было бы купить в лавке.

Джордж сказал:

— Нам нужно показаться врачу, верно?

— Все нормально.

— А ваше лицо? Разве не надо показать его врачу? Давайте я позвоню.

— Само заживет. С каждым днем все лучше.

— Имя водителя выяснили?

— Мне его имя ни к чему.

— Билл, его машина вас сбила.

— Не по его вине.

— Позвольте мне кому-нибудь позвонить. Вам следует заявить об этом. По-моему, в подобных случаях положено куда-то обращаться.

— Джордж, налейте мне выпить.

Они проговорили до вечера. Потом, сидя на террасе, смотрели, как зажигаются фонари, как текут к заливу узкие красные ленты — слившиеся воедино стоп-сигналы машин, тысяча автомобилей в минуту; обычные сумерки, час, когда людям грустно оттого, что они смертны. Появилась дочь Джорджа, неуклюже привалилась к перилам — печальная девочка в джинсах.

— Билл, я за вас беспокоюсь.

— Сделайте мне одолжение — перестаньте беспокоиться.

— Зачем вы в это ввязались?

— Идея была ваша.

— Но вы с такой готовностью ее подхватили.

— Отрицать не буду.

— Позвольте я кому-нибудь позвоню насчет ваших ссадин. Жасмин, принеси мою книжечку, где телефоны.

— Сейчас уже поздно. Утром схожу к врачу.

— Вы мне обещаете? — сказал Джордж.

— Да.

— Учтите, в Бейруте точно ничего не произойдет. Аэропорт опять закрыт из-за ожесточенных боев. Я связывался с Рашидом. Он мог бы покинуть город морем, а потом с Кипра прилететь сюда, но сейчас морской путь очень опасен, и вдобавок, как я подозреваю, ему сюда не хо-

чется. Крайне досадно. Я так надеялся, что нам с вами сообща удастся решить эту проблему.

— А Жан-Клод?

— Кто это?

— Заложник, Джордж.

— Не называйте мне его имени.

— Вы его имя знаете.

— Улетучилось из памяти. Забылось. Напрочь.

Девочка стояла за спиной отца, прикасаясь руками к его плечам, массировала бережно и уныло.

— Как они его прикончат?

— Билл, езжайте домой и займитесь своим делом. Мне очень приятно с вами разговаривать, но у вас больше нет причин здесь оставаться. И подумайте о том, что я вам говорил. Электронная машинка. Клавиши нажимаются безо всякого усилия. Поверьте, вам она жизненно необходима.

Билл вернулся в гостиницу и попытался поспать. Была одна поговорка, которую он твердил себе, поговорка загадочная и неисчерпаемая, которую можно сравнить разве что с общим прошлым людей, любящих друг друга, людей, съевших вместе пуд соли, выучивших наизусть все бородавки, вихры и обиженное молчание друг друга; эта поговорка, эта бессмысленная белиберда, произносилась не одним голосом, а несколькими враз, относилась невесть к чему, но годилась на все случаи жизни, вспоминалась в основном для смеха, но была не лишней и в черные дни — как напоминание, что словам ничего не делается, даже когда жизнь летит в тартарары.

"Перед тем как делать заказ, снимите мерку с головы".

Эта поговорка выражает все. Посторонним она непонятна, а оттого еще уместнее, еще смешнее; да и понимать-то в ней нечего, и это ей только на пользу.

В шесть утра, расплатившись в отеле, он бродил с багажом по улицам. Хромал. На каждом десятом шагу оглядывался в поисках такси. Брюки у него только одни, не снимавшиеся с Нью-Йорка, испачканные на коленях кровью ободранной руки, еще есть старый тесный твидовый пиджак, пиджак Чарли, и сумка Лиззи, и купленная в Бостоне бритва, которой он, правда, не пользуется, и ботинки, купленные днем раньше, чем бритва, и наконец-то разношенные.

Он оказался в жилом районе — вконец заблудился. Какой-то мужчина в майке волок через улицу три мешка с мусором. Чистый-чистый свет впитывался в шероховатую кору эвкалипта — потрясающая картина, надо видеть, все дерево сияет, электродерево, под напряжением, на кончиках веток беззвучные язычки пламени, дерево словно обнажено до самой сути. На углу мужчина бросил свои мешки и вернулся назад; кивнув ему, Билл пошел дальше, слыша, как взбирается в гору мусоровоз.

И все время озираясь — не появится ли такси.

12

Она ходила по Нью-Йорку, неся в себе множество голосов. Говорила с обитателями парка, рассказывала им о человеке из далекой страны, у которого особый дар — изменять историю мира. Лабиринты обитаемых коробок становились все замысловатее: ночи стояли теплые, и парк

влек к себе людей со всего города. Людей в броне из грязи. Одна женщина сложила свои пожитки в пластиковые мешки, связала их горловины вместе и куда-то потащилась, волоча эти мешки на прочной веревке. Карен подмечала, что голуби и белки берут пример с крыс — лезут за едой прямо в палатки. Голуби не летали, только ходили; белки припадали к земле, отпрыгивали, выжидали и, расхрабрившись, забирались в сумки, стоящие прямо под ногами у скамеечных жителей. Настоящие крысы появлялись ночью, бесшумные и юркие.

Люди выходят из домов, собираются на пыльных площадях и куда-то идут всем скопом, потоки людей, выкрикивающих одно и то же слово или имя, стекаются к какому-то центральному пункту, чтобы объединиться с бесчисленными полчищами других, влиться в общий хор.

А вот и Омар, сидит на корточках, — значит, работает, торгует своей травкой. Пару раз он помогал ей дотащить бутылки до магазина, где их принимают. Как-то они зашли в художественную галерею и долго разглядывали длинное изгибающееся сооружение у стены. Карен подсчитывала, сколько разных материалов было использовано для его постройки: металл, мешковина, стекло (а на нем — засохшие брызги краски), облезлая ножка от стула, батарейки от фонарика, открытки с видами Греции. Карен уставилась на ложку с налипшими объедками, прилепленную к мешковине. Подумала, что ее хочется потрогать, просто потрогать, прикоснуться к чему-то единственному в своем роде. Протянула руку и коснулась ложки, потом огляделась — не смотрят ли на нее с укором. Бездумно дернула за черенок. Ложка, зашуршав, как застежка-липучка, оторвалась от мешковины. Поняв, что стряслось, Карен обмерла. Посмотрела на Омара огромными, серьезными глазами, слегка выпятив по своему обыкновению губы. Омар, прохаживаясь взад-вперед, изобразил на лице нарочитый благоговейный ужас. Другими словами, выдал целую серию гримас изумления с примесью подобострастия. Карен застыла как вкопанная, зажав ложку в руке. Перепугалась, как никогда. Вот ведь незадача — эта штука взяла да оторвалась от картины. Настоящая ложка с прикрепленными к ней объедками — тоже настоящими. Карен попыталась понюхать объедки, осторожно — а то, о ужас, еще что-нибудь отлетит, произведение испортится непоправимо, — поднесла ложку к носу. Омар зашагал к выходу, точно тромбонист на похоронах, более того — в точности подражая всем движениям тромбониста. Карен сообразила, что ложку вряд ли удастся прилепить к мешковине на прежнее место. Положить ее некуда — зал как пустыня: ничего, кроме пола, стен и экспоната. Она решила последовать за Омаром, нарочно выставив ложку перед собой, — пусть кто-нибудь заметит, и тогда ее можно будет вернуть, пробормотав извинения; эту сцену она вообразила явственно, вообразила, как аккуратно кладет ложку на стол в вестибюле. Но никто ничего не сказал, и тут она оказалась на улице, все еще с ложкой в руке, с ложкой, облепленной объедками, и перепугалась еще пуще — ведь она покинула помещение галереи, унося с собой часть произведения искусства. Омар удалялся, ужасно довольный. Она смотрела, как он вышагивает своей особенной походочкой по улице, мимо манекенов в черных кимоно, с торчащими из рукавов локтями.

Случались утечки газа, перед знаменитыми ресторанами летали огненные шары, и у людей срывалось с языка: “Бейрут, Бейрут, прямо как в Бейруте”.

По дороге к парку она проходила мимо нищего, который говорил:

– Подайте монетку, все равно вас люблю.

Каждый раз, когда она шла мимо него, он тянул свою долгую, как день, песню. Люди проходят не глядя. Все равно вас люблю. Проходят не глядя. Подайте монетку. Проходят не глядя. Все равно вас люблю. Подайте монетку. Не глядя. Все равно вас люблю. Она оставляла пустые бутылки и смятые жестяные банки у входов в хижины, другие бутылки несла сдавать, покупала для нелегальных обитателей парка продукты и рассказывала им о человеке издалека. Омар водил ее в трущобы, где побыстрому обтяпывал свои дела, изъясняясь на метафорическом языке, которым она так по-настоящему и не овладела. Коридоры, выложенные кафелем, дырки в дверях – следы вставленных и вынутых замков. Цивилизация замков. Указующий перст, нарисованный на стене проулка, указывал, похоже, в никуда.

В мансарде она листала один фотоальбом за другим, изумленно глядела, как мучаются люди. Голод, пожар, бунт, война. Вот неизбывные темы снимков, от которых не оторвать глаз. Она рассматривала фото, читала подписи, опять рассматривала фото: повстанцы в масках, трупы казненных, пленные с грязными мешками на голове. Рассматривала руки и ноги голодающих африканцев. Голодающие всюду, куда ни глянь; женщины ведут неодетых детей сквозь песчаную бурю, плещутся на ветру длинные платья. Прочитав подпись, она опять посмотрела на фото. Без слов картинка была бы обнаженной, как нерв, одинокой, как былинка в пустыне. Бывали вечера, когда Карен, вернувшись в мансарду, сразу же хваталась за альбомы. Обезумевшие толпы – людские водовороты под огромными портретами духовных наставников. Иногда она рассматривала одну и ту же фотографию семь раз на неделе, каждый вечер ("Дети падают из окон горящего доходного дома"), и непременно прочитывала подпись. Нескончаемая череда страданий. Знайте, кто умирает в гнилых джунглях. Слова помогали ей сладить с изображениями. Подписи служили амортизатором, заполняли пустоту. Если бы не эти строчки, напечатанные мелким шрифтом, изображения раздавили бы ее в лепешку.

Она разговаривала с израильтянами и бангладешцами. Как-то раз, когда такси застряло в пробке, водитель с озорными глазами обернулся к ней, уселся боком к рулю, а в ее голове возникла картинка: машина резко кренится, охваченная застывшими языками пламени. Она всегда разговаривала с таксистами, задавала вопросы через отверстие для денег.

Проходят не глядя. Все равно вас люблю. Не глядя. Все равно вас люблю.

Есть диалекты для глаз. В окрестностях парка она читала вывески и надписи на стенах. Польские бары, турецкие бани, иврит на окнах, русские буквы в заголовках, намалеванные имена и черепа. Все, что она видела, было своего рода туземным наречием: ванны на кухнях, старые плиты "Уотермэн", полки винных магазинов, закованные в пуленепробиваемый пластик, – какой-то прозрачный музей бутылок. На остатках стен, на забитых досками витринах ей все время попадались слова "Sendero Luminoso". "Sendero Luminoso" на обугленных окнах заброшенных домов. Красивые на вид слова. Они были начертаны поверх театральных афиш и объявлений на всех облезлых кирпичных стенах района.

– Что-то мне сегодня не до того, – сказал Омар.

– Я просто спрашиваю.

– Не подлизывайся ко мне, как змея. Я же говорю: ну ладно.

– Я задаю простой вопрос. Ты или знаешь, или нет.

– Для секса времени нет, ну ладно, и тут тебя принесло, а я даже не знаю, как тебя зовут.

– Я узнала, сколько тебе лет. Мне в парке сказали.

– И что? Я сам себя кормлю. У меня свое дело. Разницы-то. Знаю, что говорю. Разницы-то – шесть мне или шестьдесят.

– Ну хорошо, ты умный и умудренный, как небо. Но я так уж к этому отношусь, ничего не попишешь.

– Сияющий путь. "Sendero Luminoso". По-испански "Сияющий путь".

– Это что-то религиозное?

– Партизаны и все такое. Дают знать, что они здесь.

– Где?

– Где только хочешь, – сказал Омар.

На эстраде ворочаются тела, с молочных пакетов смотрят пропавшие дети. Ей вспомнился знак "Глухой ребенок", в голове возникла картинка: сельское шоссе, воскресное затишье. Ну прямо Бейрут какой-то. В парке она разговаривала с теми, кто чаще других попадался ей на глаза, учила их жить в глобальном смысле слова, жить в соответствии с учением всемогущего человека, который... В метро читала инструкции на испанском, даже если английский текст висел рядом. Она рассуждала так: если и вправду случится авария, быстренько прочту английский, а пока нужно мысленно пробовать разные голоса.

В метро, на определенных улицах, по ночам в парке контакт может быть опасен. Контакт – не слово, не прикосновение, но воздух, искрящийся между незнакомыми людьми. Она училась ходить и сидеть по-разному, по-новому, коситься незаметно или вообще прикрывать глаза невидимыми шорами. Держалась поближе к посвященным, к ветеранам. Ходила, не высовываясь за пределы себя, не забредала на ничейную полосу, где друг на друга смотрят, где может мелькнуть мысль: "Знакомое лицо". Там, где возможна мысль: "Я человек и ты человек, что дает тебе право меня убивать". В голове у нее возникла картинка: бегущие по улицам люди.

Ей нравилось взбираться по лесенке на кровать Бриты, прихватив маленький телевизор; вся мансарда погружена в темноту, сидишь под потолком в синих лучах, смотришь, отключив звук.

На экране – миллион людей на огромной площади, освещенной лампами дневного света, развеваются бесчисленные флаги с китайскими иероглифами. Она видит: почти все сидят, безмятежно сложив руки на коленях. На заднем плане, далеко-далеко, она замечает портрет Мао Цзэдуна.

Тут начинается дождь. Они идут под дождем, миллион китайцев.

Потом – люди едут на велосипедах мимо остовов сгоревших машин. Велосипедисты в полиэтиленовых накидках, с зонтиками в руках. Она видит закопченные военные грузовики, люди в кузовах внимательно ко всему присматриваются, упиваясь своей близостью к желанной цели, вдали из-за деревьев выглядывают высокие фонарные столбы.

Появляется кучка стариков во френчах как у Мао. Перед камерой они держатся скованно.

Потом — темнота, но она различает солдат, трусцой бегущих по улицам в сторону объектива. Не может оторвать глаз от бессчетных шеренг, бегущих трусцой, вооруженных ружьями с резиновыми пулями.

Потом люди во тьме, обращенные в бегство, колоссальные полчища раскалываются на части, рассеиваются — оказывается, толпа способна словно бы сворачиваться в рулон, оставляя после себя пустое, какое-то сконфуженное место.

Показывают руководителей страны во френчах.

Солдаты трусят по улицам, выбегают на просторы площади, где освещение дневное, хотя сейчас ночь. В войсках, стекающихся с улиц и проспектов на широкое открытое пространство, что-то есть. Бегут они, как заправские стайеры, почти лениво, на груди болтаются маленькие ружья; толпа раскалывается на части.

Потом — портрет Мао на площади, подсвеченный, лицо забрызгано краской.

Наступающие войска приближаются: почти ленивой трусцой, в ногу, шеренга за шеренгой, и ей хочется, чтобы это продолжалось долго, пусть показывают шеренги бегущих солдат в старомодных касках, с игрушечными ружьями.

На экране — труп, тлеющий на мостовой.

Мертвецы, стиснувшие рули опрокинутых набок велосипедов, языки пламени взметаются во тьме. Трупы так и остались на велосипедах, а на них поглядывают, проезжая мимо, другие велосипедисты, некоторые — в респираторах. Погребальные костры в буквальном смысле — многие из мертвецов так и не сняли ног с педалей.

Как это называется — "разогнать"? Толпа разогнана бегущими трусцой войсками, выдвигающимися на открытое место.

Толпа толпу вытесняет.

Вот чему учит история: кто сумеет захватить открытое место и удержать его дольше, чем другие, тот и... Пестрая толпа против толпы, где все в одинаковой одежде.

На экране крупным планом показывают портрет Мао, новенький, не испачканный, волосы Мао образуют венчик, от чего голова кажется крупнее, чуть ниже рта — большая бородавка, и Карен пытается вспомнить, есть ли бородавка на портрете, который Энди нарисовал карандашом, — на том, что висит у нее дома на стене спальни. Мао Цзэдун. Имя ей вполне нравится. Но забавно, что картинка. Забавно, что картинка... картинка... о чем это я?

Она слышит: на улице завыла автомобильная сигнализация.

Переключает канал: на площади, освещенной лампами дневного света, появляются китайцы, миллион китайцев. Ей хочется поймать еще какие-нибудь кадры с бегущими трусцой солдатами. Показывают веломертвецов, свисающий с какой-то мачты труп в военной форме, шеренгу стариков-руководителей страны во френчах а-ля Мао.

Все эти старики одеты точно с плеча Мао, а на площади — ни одного человека в пиджаке, сплошные рубашки. Это что-нибудь да значит, но что?

Пеструю толпу рассеяли.

На экране, далеко в глубине кадра, виден огромный официальный портрет; а вот на рисунке Энди бородавка отсутствует, Карен почти уверена.

Что-то такое есть в войсках, вступающих на площадь, в бессчетных шеренгах, бегущих со слаженной ленцой. Она постоянно щелкает переключателем, надеясь увидеть войска.

Показывают веломертвецов.

И снова площадь, освещенная лампами дневного света. Забавно, что картинка — даже если она не дорисована — обнажает истинное лицо человека.

Потом Карен выходит на улицу — а там, оказывается, вот что стряслось: в припаркованную машину врезалось такси, а в третьем, ничуть не пострадавшем автомобиле взвыла сигнализация и все никак не уймется. Вокруг стоят люди — глазеют и жуют. К этому раскаленному добела пятачку наклоняются уличные светильники с натриевыми лампами, и голова идет кругом, перемешиваются города и пейзажи, огромная площадь в Пекине и прокопченная ветром улица в Нижнем Манхэттене, и антресоли, где светится экран телевизора... Карен стоит, глядит сощуренными глазами на смятый автомобиль, высматривая неестественно скрюченные тела и вездесущие мазки крови.

Проходят не глядя. Подайте монетку. Не глядя. Все равно вас люблю. Подайте монетку. Не глядя. Все равно вас люблю.

Она увязалась за мужчиной, внешне похожим на Билла, но при ближайшем рассмотрении тот оказался совершенно не писательского типа.

Облепленную объедками ложку из художественной галереи она берегла как могла. Поместила на полке, убрав несколько книг, чтобы ложка лежала на виду, но не на свету, и ни за что не задевала. Карен очень беспокоилась за объедки. Если они каким-то образом с чем-нибудь соприкоснутся, поцарапаются, размякнут от тепла, то могут осыпаться с ложки; о подобном искажении художественного замысла Карен не могла помыслить без дрожи. Ложка и объедки — единое целое.

Она без обиняков поговорила, вложив в это всю душу, с одной парой — мужчиной и женщиной, заросшими грязью. Они сидели на матрасе в своей хижине-коробке, а Карен — снаружи, на корточках у входа, упершись кончиками пальцев в землю; пластиковый пакет, служивший дверной занавеской, как бы драпировал ее плечи.

Наша задача — готовиться ко второму пришествию.

Мир станет общемировой семьей.

Мы — духовные дети человека, о котором я говорила, человека из далекой-далекой страны.

Глобальное могущество нашего истинного отца оберегает нас.

В глобальном смысле мы — дети.

Все сомнения исчезнут в объятиях глобального контроля.

Омару Нили четырнадцать. Она шла вместе с ним мимо украинского Иисуса на церковном фасаде. Мимо гостиницы для ВИЧ-инфицированных. Она вдруг сообразила, что не знает, где он живет, есть ли у него родители, братья, сестры, кузены. Когда-то она думала, что кузены — обязательно белые и из среднего класса, в самом слове что-то эдакое заложено. Они прошли мимо скульптуры: черный куб, как бы балансирующий на одной из своих вершин. Под кубом спали человек десять, обложившись пакетами из супермаркетов и тележками из супермаркетов, а кое-кто — и костылями, вон торчат загипсованные руки и ноги. Она хотела, чтобы Омар помог ей забрать из дома, предназначенного на слом, снятую с петель дверь. Отнести ее в парк. Но в фабричном квартале к ним подошли двое мужчин в лилипутских шляпах — пресловутых фетро-

вых шляпенках, в футболках в облипочку, как у культуристов. Она ощутила в воздухе искру контакта, плотный поток информации, от которого мороз по коже. Но они ничего им не сделали — только поговорили. Поговорили с Омаром на метафорическом, абсолютно непонятном ей языке. А потом пошли прочь, и Омар пошел рядом, так и не оглянувшись; ушли, и он с ними. А как же моя дверь? Один из них разговаривал с Омаром, держа его под руку, а тот покорно шел своей развинченной походочкой, рослый для своего возраста мальчик.

Люди с магазинными тележками. Когда эти штуки покинули супермаркеты и выехали на улицы? Тележки попадались ей на глаза повсюду: их толкают перед собой и за собой тянут, в них живут, за них дерутся, эта без колес, та помята, третья катится криво, и все до краев полны мелочами жизни, универсальными отбросами всего сущего, если можно так выразиться. Она заговорила с женщиной в пластиковом мешке, вызвалась раздобыть для нее тележку, это, пожалуй, в моих силах. Женщина отозвалась изнутри мешка, заговорила по-вороньи, разразилась хриплым карканьем. Карен задумалась, как бы его расшифровать. Она обнаружила, что почти никого здесь не понимает, никто не говорит на языке, с которым ей доводилось сталкиваться прежде. Всю жизнь прожила, думая, что умеет слушать, а теперь придется учиться заново. Язык совсем иной, принципиально бесписьменный, язык для посвященных, рваноречие магазинных тележек и пластиковых пакетов, язык грязи, — и Карен пришлось сосредоточенно вслушиваться, пока женщина вытягивала из своего горла цепочку слов — точно гирлянду носовых платков, связанных уголками; вслушиваться, а затем с некоторым усилием возвращаться к началу ее речи, воссоздавать услышанное.

Скорее всего, женщина сказала:

— В этом городе есть автобусы, которые приседают перед инвалидными колясками. Дайте нам пандусы для людей, живущих на улице. Я хочу такие автобусы, пусть приседают, пусть приседают перед нами.

Скорее всего, она сказала:

— Хочу свою личную собаку-поводырку, которую пускают в кино.

Но, возможно, было произнесено что-то совершенно иное.

Везде, повсюду люди собираются кучками, выходят из саманных домишек, крытых жестью хижин, бескрайних лагерей беженцев, встречаются на какой-нибудь пыльной площади, чтобы вместе двинуться к некой центральной точке, выкрикивая какое-то имя, по дороге обрастая подкреплениями, некоторые бегут, некоторые — в окровавленных рубашках, и вот они достигают обширной равнины, заполоняют ее своими тесно сгрудившимися телами... какое-то слово, какое-то имя, миллионный хор, скандирующий имя под белым, как мел, небом.

Она просила то ли "аннигиляцию", то ли "огня и вибрацию"; когда Карен принесла ей горячей еды в пластиковой коробке от торта, она схватила коробку и скрылась в своем пакете.

Вернулась Брита; они сели и съели обед, со всем тщанием приготовленный Карен. Карен как следует прибралась в квартире, сложила свои скудные пожитки в хозяйственную сумку, которую поставила у двери — в знак, что готова освободить помещение по первому намеку.

Брита вся искрилась, сама не своя от смены часовых поясов; безудержно болтала, едва могла усидеть на месте, переполненная особой энергией, которая, истощая глубинные слои души, оставляет человеку лишь издерганные, натянутые до предела нервы. Что до внешности, то

Брита осунулась и расцвела, точно отшельник, вернувшийся из-под слепящих лучей тропического солнца.

— Вы что больше любите: душ или ванну? — спросила Карен.

— Когда есть время, принимаю ванну. Перед своей ванной я капитулирую. Это единственное место, где я счастлива в настоящем.

— Я налью вам ванну.

— Обычно я чувствую себя счастливой только постфактум. С опозданием лет на пять смекаю — ага, тогда я была счастлива. Но есть два исключения — мои ванны и мои писатели. Когда я занимаюсь писателями, я счастлива.

— Кажется, я никогда такого раньше не произносила. "Я налью вам ванну". Странно звучит.

— А что с Биллом, где же он, кто-нибудь знает, вот ведь дуралей?

— Никаких новостей — иначе Скотт бы мне позвонил.

— Исчезать — свойство мужчин. Согласны? Хотя, полагаю, вам тоже доводилось исчезать. Я никогда бы не смогла испариться бесследно. Мне непременно понадобилось бы сделать ряд заявлений. Сообщить сволочам, почему я ухожу, сообщить, где меня искать, чтобы они могли мне рассказать, как им жалко, что я их бросила.

— А ваш муж исчез?

— Уехал в командировку.

— Когда?

— Восемнадцать лет назад.

— Это прямо... миф такой есть, как там он называется...

— Точно-точно. Он влипает в разные истории, совершает легендарные подвиги и возвращается домой с контрактом на миллион запчастей.

— Скажете мне, когда налить ванну.

— А ваш муж исчез? — спросила Брита.

— Его послали в Англию, на миссионерскую работу. Не знаю, где он теперь.

— И вы обвенчались в той церкви.

— Есть такой обряд — церемония подбора пар. Это происходит перед бракосочетанием. Тебе выбирают супруга.

— Мне действительно хочется об этом слышать?

— Некоторые члены Церкви прицепляют к груди значки, например: "Бесплодна" или "Возможно, гомосексуален". Ей-богу. Это чтобы избежать сюрпризов.

— Да ну, сюрпризы все равно будут. Если бы меня заставили указать все мои особенности, я была бы в татуировках с головы до пят.

— "Принимает сильные транквилизаторы".

— А кто выбрал вам супруга?

— Преподобный Мун.

— И как вы к этому отнеслись?

— Я была в полном восторге. Когда назвали мое имя, я встала. Вышла вперед — это было в таком помещении, вроде танцевального зала. Учитель был далеко от меня, на другом конце сцены, нас разделяло множество людей: руководители, члены комитета по благословениям[1] и еще всякие. И тут он просто указал на мужчину в зале.

— И вы взглянули на него и поняли: да, это он.

1. Комитет по благословениям в церкви Муна — постоянно действующий орган, ответственный за подготовку и проведение церемоний подбора пар.

— По-моему, я искренне полюбила его еще до того, как он встал в полный рост. Я подумала: кореец, как здорово, ведь многие корейцы уже очень давно принадлежат к церкви Муна и это даст нам более прочный фундамент, на котором мы построим наш брак. И мне понравилось, что волосы у него темные и блестящие.

— Мой муж был скорее лысый.

— Но вот что я выяснила позднее — ни за что не догадаетесь. За день до церемонии Учитель просмотрел фотографии членов Церкви. На самом деле он нас по фотографиям подбирал. И я подумала: как здорово, своим мужем я обязана фирме "Кодак".

— Вы понимаете, как вам повезло, что вы оттуда выбрались?

— Мне не нравится, когда так формулируют, можно и по-другому.

— Вам страшно повезло.

— Еще картошки? Там осталось, — сказала Карен.

— Картошка никуда не денется. Я по натуре болтлива. Не обижаетесь? От меня много шума, я знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с мужчинами, люблю разговаривать с мужчинами, у меня бывают романы, но я обнаруживаю, что была счастлива, лишь пять лет спустя, не раньше. Подумайте о Скотте.

— Я о нем думаю. Но и о Киме думаю тоже. Он был мой муж-навечно. На нем был темно-синий костюм с бордовым галстуком. Все женихи были так одеты. А все невесты — в модели "Чистота" номер восемьдесят три девяносто два, специально перешитой, чтобы уменьшить декольте на два дюйма.

— Возвращайтесь к Скотту и живите с ним. Вся ваша троица должна оставаться вместе, так вам на роду написано. По мне, образ жизни у вас во многом странный и не самый веселый, но не мне что-то объявлять странным, и вообще вы друг другу нужны позарез. Мне больно думать, что Билл где-то мотается один.

— Откуда вы знаете, что он один?

— Ну разумеется один. Он хочет остаться совсем один, чтобы забыть, как жить. Жить ему расхотелось. Он хочет от всего отказаться. Я совершенно уверена, что он один. Я этого человека сто лет знаю.

— Сейчас пойду налью вам ванну, — сказала Карен.

Скотт обрабатывал письма читателей. Завалил ими весь чердак, загромоздил шаткими стопками столы, каталожные шкафы, книжные полки. Раскладывал письма по странам. Затем нужно будет сложить каждую страну в хронологическом порядке, и тогда запросто удастся найти письмо, присланное, скажем, из Бельгии в 1972 году. В реальности вряд ли кому-то взбредет на ум искать такое письмо — или любую другую единицу читательской корреспонденции. Но бог с ними, с практическими соображениями, — главное, чтобы всякая вещь была на своем месте. Тогда в доме воцарится осмысленность. Разобравшись с чужими странами, он перейдет к своей. Штат за штатом, груды писем, накопившихся за десятилетия. Почти каждое послание выбивало Билла из колеи. Письма бесцеремонно нарушали его уединение, внушали, будто на Билле лежит ответственность за душу отправителя. Скотт, естественно, лишь посмеивался. Билл заглядывал, как правило, только в письма со штемпелями захолустных городишек и почтовых отделений на развилках шоссе, письма с широких просторов. Долго созерцал обратные адреса и отметки на конвертах. Любил декламировать названия, в которых звучит при-

зрачная музыка отдаленных мест, поселков, где под небом цвета индиго жужжит и звенит лето. Ему хотелось верить, что лишь немногие — застенчивые старшеклассники, только что завербовавшиеся в армию солдаты, учительницы музыки из богом забытых городков — могут по-настоящему понять, о чем его книги.

В этот вечер Скотт перечитал письма сестры Билла. Потом перерыл всю спальню, разыскивая хоть какой-нибудь знак, намекающий, где сейчас Билл, или когда он позвонит, или позвонит ли вообще. Два верхних ящика комода были доверху забиты лекарствами — такого изобилия Скотт даже не ожидал. Он вчитался в названия. Ну прямо имена богов из научной фантастики. Скотт скользнул взглядом по учебникам, справочникам, тонким брошюркам — все исключительно о лекарствах. Ему-то были нужны личные письма и документы. На верхней полке встроенного шкафа не оказалось ничего, кроме пустого чемодана, а внизу, помимо обуви, только старый маленький вентилятор, покоившийся на аккуратно подостланном бумажном пакете. Скотт разыскивал запечатанный конверт с распоряжениями — сам подсмеиваясь над этой мыслью и этим выражением, но все же веря: нечто подобное ему где-то оставлено и когда-нибудь отыщется.

Уиллард Скэнси. Боксер на ринге под открытым небом, удушливый зной праздничного дня, зрители — море соломенных шляп.

О смене имени Скотт никогда никому не расскажет. Будет нем как рыба. Он и сам рад хранить молчание, даже сейчас, даже когда подступает подозрение, что Билл бросил его на произвол судьбы. Много лет Билл мог доверяться людям, зная, что ради него они будут держать язык за зубами. Хранение тайны имени — вот что воодушевит и ободрит Скотта, как никогда раньше приблизит его к Биллу.

Он пошел в кабинет и заново изучил диаграммы. Прочел открытки от Лиз. Потом составил список всего, что нужно сделать после того, как почта будет разобрана.

Карен ехала в такси — она обожала эти тряские желтые машины со стройными эфиопами за рулем. Обтянутые тканью рули — иногда на них еще пушистые чехлы надевают; приборные доски оклеены бумажными образками. На Таймс-сквер Карен покосилась на знакомое клинообразное здание, обвитое лентой из мерцающих букв. Иначе говоря, здание с экраном типа "бегущая строка", где высвечивались новости дня. Что-то о похоронах какого-то знаменитого человека, из такси толком не разглядеть, слова молниеносно скатываются по экрану за угол и продолжают свой бег, и в душе Карен будто что-то замерло — знаете, когда в новостях попадается что-то поразительное, ты как останавливаешься, в теле срабатывает стоп-кран, холодное бесстрастное волнение подготавливает тебя к чему-то значительному. Она попыталась было дождаться возвращения главной новости, но такси тронулось с места. В голове возникла картинка: люди скапливаются на площади.

Над городом бушевала полоумная буря. Хижины-коробки тряслись и содрогались под кулаками града, дубинами града. Она подумала: "Градины размером с градины". Слава синим чехлам из полиэтилена — иначе коробки размокли бы, превратились в кашу прямо над головами своих обитателей.

Мусор или пожитки здесь хранят в больших парусиновых сумках на колесах, добытых на почтамте.

Говорят сами с собой, бормочут себе под нос, кивают и говорят, говорят, одинокие человечки с их нескончаемыми монологами, всё пытаются сами себя переубедить, бурно жестикулируя.

Мессия — здесь, на земле, это коренастый мужчина из Республики Кореи, одетый в деловой костюм.

Иногда она просто стояла и смотрела на ложку. Она сказала Брите, что не станет забирать ее с собой, когда уедет. Теперь ложка, отделенная от мешковины, помещена в новый контекст — если опять ее переместить, возможны какие-то загадочные внутренние повреждения.

Она всюду расспрашивала об Омаре, но он как в воду канул. Лишь однажды попался на глаза — сидел со смуглой мексиканкой на пожарной лестнице, и Карен далеко не сразу упросила его спуститься и поговорить. Он сказал лишь, что теперь не торгует, точки у него больше нет. Найдется еще чем заняться, он тут улаживает кое-что. На Кони-Айленде одна от него забеременела, надо с этим разбираться; он умолк, и Карен ощутила глубину паузы всем телом, ее сердце взорвалось от ревности и от мучительной разлуки. А вдобавок один тип ходит и брешет, будто Омар украл у него пистолет. Кривой ствол на изоленте держится. Слушая его, она ощущала тяжесть всех этих кафельных коридоров и продырявленных дверей, наркоманских проулков, где женщины бросают детей, запеленатых в газетные сенсации. Он сказал ей, что не скучает по своей точке. Его переполняли дерзкие планы. Есть идеи, как из ничего сделать деньги. Слушая его, она по нему тосковала. Его взгляд все время соскальзывал куда-то в сторону; она догадалась, что он ее вовсе не видит. Странное ощущение — знать, что вот-вот исчезнешь навеки из поля зрения, мыслей, памяти; она-то об этом человеке будет думать часто, а он забудет, кто она такая, уже начал забывать, хотя она прямо перед ним. Все из-за неподъемной тяжести его жизни, все из-за оборотов речи, которых ей никогда не понять.

В метро, сквозь самый ужасающий грохот, — музыка. Она видела музыкантов под лестницами, кое-где в переходах; у них были синтезаторы, усилители, скрипки, шляпы с бубенцами, они виляли саксофонами, как собака хвостом. У турникетов, рьяно свидетельствуя о Господе, работали поющие проповедники. В грязи сидели люди с детскими ведерками, дожидаясь звона упавшей монетки. Музыканты держали свои вещи в магазинных тележках; в их музыку вплетался визг поездных тормозов и сиплые обрывки объявлений по громкоговорителю.

Предвестье мигрени она ощутила, когда была в мансарде одна. По могучим стволам небоскребов за окном взметнулось ртутное сияние. Она отошла от окна, ощущая, как по руке бежит ток. Увидела зигзаги серебряного света и тут же подумала о тексте, накручивающем круги на Таймс-сквер. И вдруг поняла, о чьих похоронах извещал экран. Увидела потоки слов-молний и имя, которое пропустила, когда ехала в такси, и фразу "Миллионы участников похорон с плачем и пением...". Вцепившись в подлокотник дивана, она четверть часа просидела не шевелясь, глядя, как слова текут поперек здания, срываются с края экрана и продолжают течь по той стороне. Та сторона тоже была ей видна. Потом накатили боль и тошнота. Чувство времени отключилось. Блеск — металлический, яркий. Sendero Luminoso. Прямо внутри нее, сияет со дна боли. Сияющий Путь, как красиво звучит.

Она почувствовала, что к ней присоединилась Брита. Но теперь ничего, теперь все о'кей. Она твердила: "О'кей". Это слово знают в очень многих странах.

В тот вечер они сидели бок о бок на диване, и телевизор вмешивался в разговор. Они разговаривали и смотрели. Потом увидели, что им показывают, и прислушались к голосу, наложенному на картинки.

Смерть Хомейни.

Тело аятоллы Рухоллы Хомейни покоится в стеклянном саркофаге, водруженном на высокую платформу над головами толпы, растянувшейся на много миль. Объектив не в состоянии вместить в кадр всю погребальную процессию. Угол съемки расширяется и расширяется, но пустое пространство вне скорбящей толпы все равно остается недосягаемым. Орда на экране безгранична, беспредельна и вдобавок неуклонно растет.

Голос произносит: "По предварительным оценкам, число присутствующих..."; камера показывает толпы. Карен несложно отмотать биографии всех этих людей назад, увидеть, как они выходят из своих домов и хибарок, сливаются в потоки; а теперь еще отмотаем: они спят в своих постелях, слышат клич муэдзина, призывающий на утреннюю молитву, выходят из домов и собираются на какой-то пыльной площади, чтобы всем скопом покинуть трущобы.

Голос произнес: "Скорбящие с плачем и пением..."

На улицах — траурные флаги. Огромные фотографии Хомейни свисают с карнизов; в толпе многие сами себя бьют по головам, молотят в грудь.

Голос произнес: "Человеческие реки...", и Карен сообразила, что это уже следующий день, похороны, количество присутствующих, по предварительным оценкам, достигло трех миллионов, и все — в черном, улицы и шоссе битком забиты людьми в трауре, некоторые бежали до самого кладбища, двадцать пять миль, бежали со стенаниями и воем, выбивались из сил, но не падали, а плыли, увлекаемые другими, уносимые людским потоком; крыша одного автобуса провалилась под тяжестью тех, кто забрался на него в надежде увидеть тело.

Голос произнес: "Скорбящие пришли в неистовство. Они наносят себе удары по голове".

Тело, завернутое в белый саван, погружено в кузов грузовика-рефрижератора, но он не может пробиться через людскую толщу. Полицейские стреляют в воздух, чтобы рассеять толпу и проложить дорогу покойнику; показывают, как из брандспойтов бьют тугие водяные дуги.

Толпа уплотняется, ропщет, грузовик поворачивает назад; тело придется доставить на кладбище вертолетом.

Съемка с воздуха — могила, а вокруг толпы. Карен подумала: словно репортаж из прошлого тысячелетия, словно какой-то великий город сейчас падет под шумным натиском осаждающих.

Тут вертолет совершает посадку, и толпы сметают заграждения. Живые пытаются вернуть мертвеца в свои ряды.

Карен зажала руками рот.

Живые прорвались к могиле, сами себе разбивая головы до крови, сами себе выдирая волосы, задыхаясь в густой пыли, а тело Хомейни лежало в хрупком гробу, наподобие носилок с низкими стенками, а Карен обнаружила, что может заглянуть в трущобы Южного Тегерана, просмотреть жизнь людей задом наперед, послушать, как они говорят: "Нет больше нашего отца". Все обездоленные просыпаются от утреннего клича. Скорбный, скорбный день настал. Живые кинулись к покойнику и сбросили его на землю.

Живые не могут примириться с тем, что их отец мертв. Жаждут, чтобы он к ним вернулся. Ему следовало бы умереть последним. Умереть надо бы им, не ему.

Голос произнес: "Обезумев от горя, скорбящие с пением..."

Живые наносят себе побои и обливаются кровью. Разодрав саван, пытаются поставить мертвеца в свой строй, подхватить своей живой волной, пустить время вспять, чтобы он вернулся к жизни.

Карен прижала руки к щекам.

Живые теребят мертвеца, прижимают имама к себе, чтобы согреть. Кровь на рубашках; у многих мужчин головы обвязаны полотенцами, мокрыми от крови.

Карен ощущала: она среди них, в толпе. Видела: тело в саване на носилках, вокруг сгрудились бородачи, одни в траурной черной одежде, другие в форме пасдаранов — "стражей революции", бородачи дерутся друг с другом за право прикоснуться к имаму, за обрывки его савана.

Она увидела, как обнажились его худые белые ноги. Эти люди дерутся за мертвеца и сами себя хлещут по щекам.

Она подумала: ведь с мертвыми нужно обращаться бережно; при виде этой свистопляски становилось дурно. Какой удар для идеи почтения к мертвецам. Как несправедливо, что его хрупкие руки и ноги теперь у всех на виду. Живые, неся тело, торжественно прошлись по кладбищу; солдаты открывают стрельбу, мужчины с разбитыми в кровь головами.

Но они всего лишь хотят вернуть его в свои ряды.

Голос произнес: "Восемь человек растоптано в давке, несколько тысяч получили травмы".

Отныне героем этой истории стал мертвец. Это история мертвеца, которого живые не желали предавать земле. Люди падают в обморок от зноя и скорби. Некоторые прыгают в могилу. Видно, как они летят тряпичными куклами в ее разверстую пасть. Их тела, обмякшие, скрюченные горем, больше ничего не значат. Люди хотят заполнить собой могилу, чтобы не пустить в нее имама.

Карен просматривала их жизнь задом наперед, возвращалась с ними по немощеным улицам в их хибарки, а одновременно глядела на экран.

В ход идут водяные пушки; солдаты, открыв стрельбу, наконец-то отвоевывают тело. Заталкивают его в вертолет; отлично видно, как торчат из открытой дверцы носилки, как заголилось тело, когда винты завертелись и машина оторвалась было от земли.

Но живые, пробившись на борт вертолета, опять вытащили мертвеца.

Запросто можно поверить, что все это видит только она одна, а остальные зрители, чьи телевизоры настроены на этот канал, смотрят трезвый комментарий к новостям, идущий из студии, смотрят на троих обозревателей в гриме и с потайными микрофонами. Карен прижала ладони к вискам. Неотрывно глядела на тело, торчащее из дверцы, на пыль, взметаемую толпой, на скопление людей в черном, которые, навалившись на шасси, не дают вертолету взлететь.

С мертвыми нужно обращаться бережно — а тут об этом напрочь забыли.

Военные оттеснили толпу, и вертолет вновь начал подниматься. На сей раз расшвыряв живых. Отброшенные воздушной волной, они упали на землю и опять принялись колошматить себя по голове и груди.

Голос произнес: "Шесть часов спустя", и Карен увидела вокруг могилы новое заграждение иного рода. Из контейнеров и двухэтажных авто-

бусов. Репродукторы разносят по равнине записанные на пленку предостережения; толпы — до самого горизонта, их край расплывается даже в телеобъективе.

Вертолет приземляется совсем рядом с могилой, привозит тело в стальном гробу, пасдараны вскидывают его на плечи. Но тут толпа вновь бросается вперед, плачущие мужчины в окровавленных головных повязках перелезают через автобусы, заполоняют площадку с могилой.

Голос произнес: "Скорбящие с воплями и пением..." И продолжил: "...бросаются в яму".

У Карен в голове не укладывалось, что все это видит хоть один человек на свете, кроме нее. Если и другие смотрят тот же репортаж одновременно с нею... нет, быть такого не может. Если другие смотрят, если миллионы смотрят, если зрителей столько же миллионов, сколько собралось на этой иранской равнине, разве это не значит, что между нами и участниками похорон есть что-то общее, разве мы не разделяем их боль, не чувствуем, как от них нам что-то передается, разве не слышим горестный вздох, который войдет в историю? Повернув голову, Карен увидела рядом с собой на диване Бриту — та, откинувшись на спинку, спокойно курила. И эта женщина говорит: "Мне нужно, чтобы люди вместо меня верили", а теперь видит, как люди проливают кровь за свою веру, и спокойно сидит перед этим неистовством целого народа, целой расы. Если эти кадры видят и другие, почему ничего не меняется, где наши местные толпы, почему у нас еще есть имена, адреса, ключи от машины?

Вот они идут, одетые в черное, устремляются к могиле. Над равниной низко-низко летят вертолеты. Опасно снижаются над головами живых, осыпают их пылью, глушат своим стрекотанием. Люди сами себя избивают до беспамятства; обмякшие тела плывут над толпой, передаваемые из рук в руки, плывут к предусмотрительно организованным медпунктам.

Скорбный, скорбный день настал.

До могилы — десять метров, но пасдаранам потребовалось самое малое десять минут, чтобы пробиться к яме и опустить в нее гроб. Такая вот история о мертвеце, которого не желали отпускать живые.

Как только тело погребли, могилу заложили бетонными плитами. Вертолеты взметали пыль, в толпе многие, рыдая, оседали на землю. Когда наступил вечер, пасдараны погрузили на трейлер с открытым прицепом черный железнодорожный контейнер и припарковали трейлер над могилой. Живые взбирались на контейнер, забрасывали его верхушку цветами; к железным бокам приклеивали фотографии аятоллы Рухоллы Хомейни.

Голос произнес: "Черный тюрбан, белая борода, легендарный взгляд глубоко посаженных глаз..."

Женщины в черных покрывалах, женщины в покрывалах до пят, Карен попыталась вспомнить слово, "чадра", женщины в чадрах появились откуда-то, подошли близко-близко, столько ладоней прижимается к контейнеру, руки касаются фотографий и прижимаются ладонями к металлу.

Карен пускала биографии женщин задом наперед, видела, как они идут прямо на объектив по узким улицам, теперь отмотаем еще дальше, в детство, вот они надевают чадру, смотрят на мир из черного кокона, и опять назад, каково впервые одеться в черное с ног до головы, каково выкрикивать имя под пылающим небом.

Живые несли транспаранты и пели. Хомейни, сокрушитель идолов, сегодня с Богом. Час за часом, до глубокой ночи, в лучах прожекторов живые горестно били себя кулаками в грудь.

Рано утром в парке она прежде всего поговорила с теми, кто не спал. Несколько человек сидели, нахохлившись, на скамейках, держа бумажные стаканчики с кофе, какая-то женщина вывесила на ограду бассейна одеяло.

Карен говорила:

— Скоро мы все будем одной семьей. День близится. Становится видна глобальная картина.

Потом она забралась на эстраду и пошла, лавируя между телами в спальных мешках, простых мешках, пластиковых мешках. Говорила с каждым один на один, присев на корточки, едва не касаясь подмостков сцепленными перед собой руками.

Она говорила:

— Готовьте день. Будьте готовы головой и сердцем. Для всего человечества есть план.

Пробиралась по эстраде, ища тела с открытыми глазами.

Говорила:

— Сердце Бога — одно отечество. Пали-пали. Дети мира в глобальном смысле.

Звуки несладкого сна, стоны из глубины видений, которых не пересказать. Она говорила с теми, кто лежал и бодрствовал. Говорила на глобальном языке. Со всех сторон — хриплый кашель, гнусавый сип, сколько усилий нужно для дыхания этим телам. Кашель — тяжелая работа. Затхлый воздух липнет к лицу, древний трупный запах одеял, пота, мочи, не снимаемой даже на ночь одежды. На рассвете, когда души открыты миру, она говорила со спящими, распростертыми куда ни глянь.

Она говорила:

— Ибо сейчас картина есть одна. Человек прийдет к нам издалека. Бог все минуты каждый день. Скоро будет пора поспешать.

Полицейский пикап пронесся мимо хижин-коробок, закутанных в синий полиэтилен, мимо двоих мужчин в куртках с поднятыми капюшонами, курящих одну сигарету на двоих. Мимо женщины, свесившейся набок в сломанном шезлонге, — так она спит. Мимо лежащего на земле человека, у самой головы которого расхаживали голуби — искали, чего бы поклевать в его волосах и на одежде. Мимо всего племени, знающего законы кочевья, свертки увязаны туго, пакеты спрятаны в пакетах, люди обтесаны и сглажены, отлично ориентируются на клочке пространства, который судьба отвела им под жилье.

Карен спрыгнула с эстрады, стала высматривать кого-нибудь, кто действительно ее выслушает. Глобальный голос Учителя вызрел у нее в голове.

13

Насчет парома рассказывали по-разному. То ли, не дойдя тридцати миль до ливанского берега, он был обстрелян канонерками, развернулся и ушел назад в Ларнаку. Два человека убито, один пропал без вести, пятнадцать ранено. То ли уже на самом подходе к ливанскому порту Джуния паром был обстрелян с суши из орудий или ракетных установок, развер-

нулся и ушел назад в Ларнаку. Один человек убит, один пропал без вести, девять ранено.

Билл, находившийся в гавани, видел прибытие парома своими глазами. Насчитал на его белом корпусе восемнадцать пробоин. Паром назывался "Стоик-Зенон" и был рассчитан на тысячу пассажиров, но, если верить молве, в тот рейс отправились всего пятьдесят пять.

О канонерках, хозяйничающих в водах Ливана, тоже рассказывали по-разному. Чьи они, никому толком не известно — может, сирийские, может, израильские или даже ливанские; в последнем случае вполне вероятно, что они вышли в море с новой, наскоро созданной базы христиан, — генерал, которому подчиняется база, якобы принял паром за иракский сухогруз, везущий оружие противнику.

Если же рассказчик утверждал, что паром был обстрелян с суши, то вину он возлагал на шиитов — либо на просирийских, либо на проиранских; впрочем, нельзя было исключить, что стреляли произраильские христиане. А некоторые клялись, что стреляли непосредственно сирийцы.

Билл смотрел, как с парома, уткнувшегося носом в портовую "стенку", сходят люди, как они медленно идут по пирсу к кучке встречающих. Полдень, самая жара; Биллу подумалось, что, приехав на день-два раньше, он был бы сейчас среди пассажиров "Зенона": брел бы, опустив голову, по пристани, или валялся бы где-то мертвый, или считался бы пропавшим без вести. Если верить молве, пострадавших будто бы сняли с парома прямо в открытом море вертолетами британских ВВС и эвакуировали на какую-то британскую базу здесь же, на острове. На Кипре сейчас находятся тысячи и тысячи ливанцев; и вот прибавилось, если только цифра верна, еще пятьдесят пять; люди надеялись попасть домой, а сами нежданно вернулись назад, и то не в полном составе, за вычетом убитых и пропавших.

Билл пошел по набережной мимо финиковых пальм, мимо кафе и магазинов. Колотье в боку теперь почти не прекращалось, проникало все глубже. Правый передний сегмент верхней части живота. Он узнавал эту боль все ближе. Иногда даже настигающая впервые боль кажется знакомой. Есть недомогания, за которыми словно бы стоит коллективная история мук. Перенимаешь ощущения у тех, кто испытал их на себе. Чувствуешь связь с прошлым, с какой-то династией сокровенной, вновь и вновь воскресающей боли.

Он прикинул, за какой столик лучше сесть, заказал бренди. Над эспланадой висели гирлянды лампочек; он подумал, что мог бы просидеть здесь весь день, дожидаясь темноты, дожидаясь, пока с моря подует свежий бриз и зажгутся огни, пока вспыхнут цветные лампочки на проводах, натянутых между пальмами, обвивающих ветки. Дождаться и еще посумерничать, в обществе "Метаксы" — лекарства, восходящего к благородному девятнадцатому веку, — встретить рассвет, а этак к полудню вернуться сюда и опять сидеть-посиживать в надежде услышать, что паромное сообщение возобновилось.

В глубине души ему не верилось, что он мог бы оказаться среди убитых, пострадавших или пропавших без вести. Он и так уже пострадал и пропал без вести. Что до смерти, то он больше не полагал, что ее причиной станет пуля или любая другая штуковина, изобретенная людьми ради взаимного уничтожения. Это раньше его преследовала мысль, что он погибнет именно так. "Застрелен". Не грабителем, не охотником, не

снайпером-маньяком, притаившимся за поворотом шоссе, а каким-нибудь преданным читателем. Иногда его посещало что-то вроде предчувствия, он явственно воображал себе роковую сцену во всей ее неизбежности. Ведь он сам себя обрек на строгое отшельничество — и этот факт непременно подскажет какому-нибудь неприкаянному юнцу идею для его собственной великой миссии. Одни наводят на тебя фотоаппараты, другие — ружья; с точки зрения Билла, разницы почти никакой. Заморыш с розоватыми глазами, сам себя воспитавший, ни братьев, ни сестер (таким он начал представляться Биллу); не видящий вокруг ничего, кроме собственных отражений в полный рост; и вот ему попадается книга, которая заговаривает с ним на опасном и лучезарном языке. Ну, Скотт не из таковских, слишком умен и предприимчив, чтобы поддаться на уговоры духов тьмы; но даже Скотт пришел к нему, как посылка: вывалился из фанерного ящика, жадно хватая ртом воздух, беззастенчиво силясь проглотить все, что только могло остаться после того, как книги прочитаны и слухи собраны. А палец, присланный бандеролью? Какое-то время он его хранил: палец, по-видимому, безымянный, потемневший, точно от мумии; Билл частенько разглядывал его и гадал, что имел в виду отправитель. Но все это быльем поросло; Билла уже оставило предчувствие, будто однажды, выйдя с почты, он увидит, что наперерез ему движется хилый парнишка с лукавой улыбкой, отрепетированной за несколько недель.

Захотелось позвонить этой, увидишь-вмиг-позабудешь, фотографу, поговорить с ее автоответчиком.

Он пошел назад в гостиницу. Нога болела не сильно, левое плечо, ушибленное об афинскую мостовую, почти зажило. Зато другое почему-то стало ныть. Зашел в холл какого-то крупного отеля — купить "Пари геральд", увидел транспарант: "Добро пожаловать на съезд британских ветеринаров". Опять вокруг врачи. В газете пишут: люди тысячами покидают Бейрут, спасаясь от войны. Гробы складывают штабелями у кладбищенских ворот — мертвецов уже некуда девать. Некоторых хоронят за городом — оптом, по два-три тела в одной могиле. Руины разрисованы черепами, воды нигде не достать, крысы растут и жиреют, электроснабжение нарушено.

Билл рассудил, что в Бейруте ему ничего не угрожает. Только изоляция, беспощадная, железная, настоящая, та неподдельная, репетицией которой были все эти годы. Не ходит паром — авось пойдет "ракета", воспарит над морской зыбью и, лавируя, проскочит между снарядами береговых батарей. Нельзя по воде — есть шанс, что откроют аэропорт. Рейс призраков: в салоне, кроме самого Билла, шесть-семь издерганных бейрутцев, беженцев наоборот, возвращающихся к террору.

Выйдя на улицу, Билл попытался вспомнить название своей гостиницы, чтобы спросить кого-нибудь, как туда, черт подери, пройти. Маленькая, дешевая, чуть ли не ночлежка, на приличном расстоянии от этих мачт, качающихся у пристани яхт-клуба. Вот какую жизнь он мог бы прожить: телефон с автоответчиком, простыни из бутика, гоночный шлюп, и милая сердцу женщина, и красная кефаль жарится в яме на углях. Он обратил внимание, что каждый глубокий вдох отзывается болью.

В номере внес в блокнот расходы. Потом просмотрел написанные страницы и подумал: нет, больше не могу. Слишком тяжело. Тяжелее полостной операции, да к тому же от смерти не спасает. Посмотрев на картину, висящую на стене, он увидел все существующее за пределами той

комнаты, где сидел, и той, которую силился описать. Картина изображала рыболовные сети, сложенные в парусиновые корзины, и в этом содержалось все без изъятия: его женщины, его страсти, его воспоминания, имена старых друзей, величайшие реки мира. Писательство, если взглянуть на него непредвзято, портит человека. Потакает худшим наклонностям. Сводит все тревоги к одной — к страху выдохнуться, исписаться. Примешивает к твоему хитроумию толику коварства, а твоему сердцу — этой скользкой медузе — дает предлог погрузиться в еще более глубокое молчание. Он никак не мог припомнить, почему захотел написать о заложнике. Родил несколько страниц, вроде бы даже на его вкус неплохих, — а пользы-то?

Вскинув голову, он сказал вслух:

— Келтнер не спешит, легонько чиркает по мячу. Ого, ребята, ну и бросок! Как провод протянул!

Снял ботинки и носки. Развалился в кресле с блокнотом на коленях, положив ноги на кровать. Нужно потолковать с врачом и выпить. Начать с выпивки. Но вставать будет больно, идти в кафе больно, сидеть и дышать больно, небось даже глотать и то будет больно; следовательно, здесь мы имеем классическую дилемму. Зря не спросил у Чарли, как бросают пить. Он любил своего старого друга, испытывал к нему неослабевающую нежность все те часы, которые они недавно провели вместе в Нью-Йорке и Лондоне, чувствовал неослабевающую тягу уйти, распрощаться, сделать ручкой. Чарли любил порассуждать о том, как доживет до старости на Парк-авеню, воображал себя иссохшим старичком в инвалидной коляске, которую толкает какая-нибудь бессловесная чернокожая сиделка в бесшумных кроссовках. Она неустанно передвигает коляску, чтобы он всегда был на солнце. Он так стар и дряхл, что еле дышит, но его нарядили, точно ребенка в праздничный день, надели на него великанский пиджак, рубашку с болтающимся, как слюнявчик, воротником, он беспомощен и элегантен. Он видел себя закутанным в одеяло в самое теплое время дня на самом солнечном отрезке улицы. Когда на тротуар падает тень, сиделка выталкивает его на свет, и так они вечно, неторопливо следуют за солнцем, и вот он опять застывает истуканом на углу довоенного дома, нежится в самом теплом на ближайшие пятнадцать минут месте; пророча себе склеротический закат, Чарли заливался слабым румянцем сладостного стыда.

Билл мог бы выбрать такую смерть: миндальное мыло, новехонькая мебель на кухне, вдова с автоответчиком. Он любил своих старых друзей, но завидовал кое-чему из того, что они имели, и мечтал, чтобы они от этого — не важно от чего — отказались; пусть все опять будут на равных.

Фейерверки назывались салютами.

Эта жизнь едва ли не сплошь — волосы: волосы забиваются в пишущую машинку, каждый волосок сверху донизу обрастает пылью, обвивается, весь такой пушистый-пушистый, вокруг молоточков и рычагов; волосы липнут к фетровой обивке футляра точно так же, как спиральные завитки мочалки впиваются в брикетик мыла, приходится выцарапывать их ногтем; все его клетки, чешуйки и гранулы, все его поблекшие пигменты; вездесущие клоки волос попадают в строительный раствор, становятся частью возведенных им текстов.

Раз уж приходится дожидаться парома, не осмотреть ли достопримечательности... Он что, вслух это произнес? Турецкий форт, Английское

кладбище. С болезненно-сосредоточенной гримасой он осторожно переменил позу, проверил, что влекут за собой те или иные движения, как отзывается в теле перераспределение тяжести. Оказалось, встать с кресла можно без проблем. Пошел в туалет, помочился — ни капли крови. Задрав рубашку, осмотрел синяк на животе: не расползается, форма прежняя, цвет прежний. Посетить выставку средневековой керамики, деревню кружевниц. Посмотрелся в зеркало, обнаружил, что несколько дней не брился. Расквашенная половина лица — не лучше, но и не хуже. Скорее даже лучше и определенно не хуже. Он решил надеть носки и ботинки, совершить — пускай только ради того, чтобы удрать от разверстой пасти блокнота, — маленькую экскурсию.

В правом плече ощутимо покалывало.

Он мог бы сказать Джорджу: я пишу о заложнике, чтобы возвратить его на прежнее место, вернуть миру частицу своеобразия, которую мир утерял, когда пленника заперли в том подвале. Да, именно так. Наказывая того, кто непричастен к преступлению, переполняя подвалы безвинными жертвами, вы каплю за каплей откачиваете из мира своеобразие, навязываете ему диктатуру вашего единственного мнения, и тогда дух пожирает то, что вовне, подменяет реальность нелепыми измышлениями о заговорах и прочих кознях. Одна нелепица берет мир в тиски и прессует, другая зарится на общественный строй, пытается срастись с ним, пропитать его собой. Он мог бы сказать Джорджу, что для писателя сотворение персонажей — способ раскрепостить сознание, затеять бурный обмен мнениями с мириадами чужих своеобычностей. Вот чем мы отвечаем на насилие, вот как мы подавляем в себе страх — расширяем диапазон человеческого сознания и возможностей. Этого поэта вы украли. С его пленением мир стал еще чуточку однообразнее. Вот что надо было сказать этому мерзавцу — хотя вообще-то Джордж ему нравится. Впрочем, говори не говори — все равно Билл только недавно стал так смотреть на вещи, а Джордж, конечно же, возразил бы, что террористы не располагают подобной властью; и вообще Билл понимал, что вскорости обо всем этом забудет.

Помнил он то, что важно: что отец носил шляпу, которая называлась "Ритц", серую с черной лентой и упругими, шершавыми полями, и вечно кто-нибудь да говорил: "Прежде чем делать заказ, снимите мерку с головы" — это была фраза из каталога фирмы "Сирс и Робак", — и что фейерверки назывались салютами.

Он подумал: хорошо бы посидеть на солнце, удрать от треклятого блокнота. Поймать такси, поехать на набережную, присесть на скамейку, около которой стоят парусиновые корзины с рыбацкими сетями. Медленно зашнуровал ботинки, но затем откинул с кровати покрывало и прилег на постель, всего на минуточку, чтобы унять головокружение, избавиться от чувства, будто неудержимо истончаешься, блекнешь, таешь в какой-то дали.

Волосы льнут к ковру, висящему над кроватью, волосы забиваются в сетчатый фильтр ванны, застревают в трубе, липнут к сальной раковине, лобковые волосы образуют причудливые узоры на стульчаке, волосы на затылке прилипают к воротнику рубашки, волосы в тарелке, на подушке, во рту, но больше всего он их замечает в пишущей машинке, эдакий волосонакопитель; все, что выпадает, застревает в механизме, колтун и седина, пушистый хаос, все, что не чисто, не твердо, не ярко.

Найти бы человека, который будет всякий раз выталкивать меня из тени на солнце.

Всегда есть что-то, чего тебе видеть не положено — но, пока этого не увидишь, не станешь взрослым.

Когда мальчик срывал с его головы мешок, пленник вглядывался в стену, пытаясь рассмотреть приникших к ней ящериц. Они были маленькие и блеклые, молочно-зеленоватые, такие блеклые и неподвижные, что, не сосредоточившись, не заметишь.

Подвал высосал из него всю тоску. Остались только образы.

Всеведущее время, навьюченное на насекомых, двигалось мучительно медленно, если вообще можно сказать, что оно движется, если вообще можно назвать его временем. Оно разве что с ним не разговаривало. Оно тоже изнывало от отчаяния, оно присутствовало в еде и в последствиях еды, оно проникало в ткани его тела под видом лихорадки и инфекций, вытекало вместе с нескончаемым жидким поносом.

А образы были маленькие и невнятные, потускневшие от времени. Ему хотелось думать о горящем городе, о ракетах, взлетающих с пусковых установок. Но единственные образы, которые удавалось вылепить его сознанию, были обрывочными и глубоко личными, непостижимыми крохотными картинками из жизни неведомого дома, где движутся неясные силуэты, как бы в дальнем конце сумрачного коридора.

Пленник очень нервничал оттого, что у него не было карандаша и бумаги — ни огрызка, ни клочка. Мысли вываливаются из головы и умирают. Чтобы поддержать в мыслях жизнь, он должен их видеть.

Ящерицы представлялись ему осколками света, солнечными лучами в форме заостренных кусочков жадеита. Он запоминал их расположение на стене и пытался унести эту картину в мир мешка.

Мальчик был одет так: спортивная фуфайка с чужого плеча, под ней — темная футболка, штаны камуфляжные, грязные; на ногах — рваные полосатые кеды.

Война шла теперь безо всякого расписания. Возобновлялась когда угодно или вообще не прерывалась; израильские бомбардировщики кружили над городом с вездесущим ветхозаветным грохотом — казалось, рушится от взрывов сам небосвод.

Себя пленник считал любимой игрушкой мальчика. Вовремя подвернувшейся штуковиной, которую мальчик может приспосабливать и подгонять под свои переменчивые замыслы. Для мальчика он был детством, идеей светлой зари жизни. Юнец, найдя какую-то вещь, без стеснения делает ее стержнем своего бытия, и теперь вещь таит секрет подлинного “я” мальчишки. Пленник много размышлял об этом. Он стал счастливой находкой, позволившей мальчику отчетливо увидеть самого себя.

Потом он все-таки перестал запоминать ящерок. Решил не нарушать какое-то жесткое, не совсем понятное ему самому правило.

Его тело начало распухать. Наблюдая за превращением своих ног в белесые аэростаты, он не признавал их за свои. Сначала ушли голоса, а теперь и плоть уходит.

Никто не приходил его допрашивать.

Стало трудно встать или даже изменить позу на матрасе; он осознал, что близится время, когда он превратится в коллекционера неизлечи-

мых синдромов. Точнее, они сами придут и в нем поселятся. Серозная жидкость в тканях, спазмы в груди, полный набор.

Как ему нужны карандаш и блокнот. Некоторые мысли не сформулируешь, пока не запишешь на бумаге.

Он думал о голом по пояс, заживо распятом на проволоке.

Трудно приспособиться к отсутствию вещей, придающих существованию смысл. Не можешь точно выяснить, что случилось с правилами: их изменили, слегка подправили или окончательно, навечно отменили; да были ли эти правила вообще, да можно ли называть их правилами или даже доверять смутному воспоминанию о чем-то, именуемом "правилами"?

Он отождествлял себя с мальчиком. Относился к себе как к кому-то, кто, возможно, превратится в этого мальчика самым простейшим способом — достаточно обратить мысли вспять. Иногда мальчик встревал в его воспоминания. Вот время съеживается — и возникает какой-то момент какого-то призрачного летнего дня, когда мальчик стоял у двери.

Почувствовав сквозь мешок, что тьма уплотнилась, пленник понял: опять отключили свет. Он — всего лишь один из бейрутцев, света нет, воды нет, слушай свист осколков, всё как всегда.

На кривом стальном пруте, которым мальчик бил пленника по пяткам, если вспоминал, что надо бы это сделать, еще оставались присохшие комочки бетона.

Война по-прежнему шумит, а вот транспорта больше не слышно — умолкли привычные автомобильные гудки, прорывавшиеся и сквозь автоматные очереди, и сквозь уханье орудий. Люди бросают город. Он попытался мысленно нарисовать картину запустения — длинную анфиладу руин на месте бывшего проспекта, свою последнюю печальную усладу, — и опять не вышло.

Оглянуться ему не на что, кроме жалких обрывков. Вся энергия, материя и гравитация — впереди, грядущее обступает со всех сторон, как говорят люди — ну да, люди скажут... Обступает изнурительно медленно, никак не наступит.

Мешки — чушь какая-то. Почему у них обоих на головах мешки? Чтобы не быть опознанным в каком-то крайне маловероятном будущем, мальчику достаточно одного мешка — своего. Если же мальчик хочет, чтобы на голове у пленника был мешок, мешок без прорезей для глаз, переносная темница, средство наказания, тогда самому мальчику мешок не нужен. А кормить пленника можно и через отверстие для рта.

В тусклой мгле — два образа. Бабушка, которую приходилось привязывать к стулу. Пьяный отец, сидящий на унитазе, спущенные штаны забрызганы блевотиной.

Только бумага сможет впитать его одиночество и муки. Написанные слова смогут открыть ему, кто он такой.

Он знал, что иногда мальчик прикидывается, будто уходит, а сам остается наблюдать за ним. Он — самоличное открытие мальчика, пойманный им солнечный зайчик. Ощущая сгусток человеческого присутствия, он точно знал, где находится мальчик, — и недвижно лежал на матрасе, созерцая мертвенный покой, все то время, пока мальчик стоял и смотрел.

Маленькие непостижимые образы под мешком.

Единственный способ оказаться в мире — вписать себя в него карандашом, чернилами, авторучкой. Его мысли и слова умирают. Дайте ему написать десять слов, и он снова вернется к жизни.

Сюда его привезли в машине без одной дверцы.

Мокрый клочок бумаги и карандаш, обгрызенный собакой. Он выписался бы, как выговариваются, извергнул бы на страницу ужас, переполняющий его душу и тело.

Есть ли время для последней мысли?

Он почувствовал, что мальчик стоит у двери, и попытался увидеть его лицо в зеркале слов, вообразить, как он выглядит, кожу, глаза, форму носа, каждую черту поверхности, зовущейся лицом, если можно сказать, что у него есть лицо, если поверить, будто под мешком действительно что-то есть.

Прислушавшись к разговору за соседним столиком, Билл понял, что оказался в обществе британских ветеринаров. Двое мужчин и женщина. Он посмотрел на кушанье, стоящее перед женщиной, показал на него пальцем. Официант, накорябав что-то в блокноте, отошел. Билл залпом выпил свой бренди.

Встал, прихватив с собой пустую рюмку, наклонился к ветеринарам.

— Не согласитесь ли, — сказал он, — оказать услугу писателю, ответив на пару вопросов. Видите ли, я сейчас работаю над куском, где требуются познания профессионального медика, и, поскольку мне нужна небольшая консультация, я бы, с вашего позволения, отвлек вас на полминуты.

На вид нормальные ребята. Смотрят вполне приветливо, не пугаются, непохоже, что он им особенно помешал.

— Писатель, — сказала женщина своим спутникам.

Плечистый бородач пристально уставился на Билла, остальные двое переглянулись, гадая, что сулит эта встреча — развлечение или скуку смертную.

— Мы могли о вас слышать? — спросил не без скептицизма бородатый ветеринар.

— Отнюдь. Я не из таких писателей.

Похоже, эта реплика никого не задела, хотя Билл и сам не очень понял, что имел в виду. Скорее даже, его ответ их успокоил, задал тональность непринужденного разговора между анонимными попутчиками.

Билл посмотрел на свою пустую рюмку, поискал глазами официанта, заглядывая даже на территорию соседних заведений, — открытые террасы ресторанов выстроились вдоль эспланады плотной шеренгой.

— Но неужели нам не могло подвернуться что-нибудь ваше? — сказала женщина. — В аэропорту, например, в аэропортах имена не всегда запоминаешь.

Мужчины одобрительно глянули на нее.

— Нет, вряд ли. Определенно нет.

Женщина маленькая и широколицая, но это ее не портит, подумал он. Манера говорить слегка выпячивая губы. Аккуратная каштановая челка.

— А что вы пишете? — спросил второй ветеринар.

— Прозу.

Бородатый неуверенно кивнул.

— Понимаете, я работаю над эпизодом, где никакие годы копания в книгах не могут заменить тридцатисекундной беседы со специалистом.

— А фильмов нет? — спросила женщина.

– Точно. Есть у вас книги, которые стали фильмами? – сказал второй ветеринар.

– Нет, боюсь, мои книги – только книги.

Плечистый слегка улыбнулся, поглядывая на Билла из кущ своей бороды.

– Но, вероятно, вы где-то появляетесь в качестве писателя, – сказала женщина.

– В телевизоре то есть? – спросил у нее второй ветеринар.

– Ну знаете: часто смотришь и думаешь – еще один, сколько же их.

Билл поманил проходящего мимо официанта, помахал в воздухе рюмкой, но осталось неясно, заметил ли это официант, понял ли, какой напиток Билл заказывает. Горели цветные лампочки; целая компания вышла на балкон на верхнем этаже белого здания, стоящего прямо за дальним рядом пальм.

Билл присел у столика на корточки; продолжил беседу, переводя взгляд с одного собеседника на другого.

– Ну хорошо. Мой персонаж попадает под машину на городской улице. Сам встает, без посторонней помощи уходит. Тело в синяках. Где-то что-то ноет, иногда приступы боли. Но в принципе он чувствует себя нормально.

– Вы же понимаете, – сказала женщина, – что мы диагностируем и лечим только болезни и травмы животных.

– Это я знаю.

– Животных, не людей, – сказал второй ветеринар.

– Я с удовольствием рискну.

Вскочив, Билл погнался за официантом – на бегу осушил почти пустую рюмку, бережно передал, выговорил по слогам название бренди. Потом вернулся к столику ветеринаров и снова присел на корточки.

– Итак, проходит несколько дней, и у моего персонажа появляются более тревожные симптомы, прежде всего постоянная сильная боль в боку, ближе к животу.

Другой официант, не тот, с кем толковал Билл, принес ветеринарам еще вина.

– Он начинает гадать, не повредил ли себе что-то внутри, и какой это может быть орган, и насколько это серьезно, не чревато ли тяжелой болезнью и так далее. Дело в том, что он собирается в путешествие.

– Значит, он мочится кровью? – спросил бородатый ветеринар.

– Нет, в моче крови нет.

– Если вы заставите его мочиться кровью, можно закрутить занятную историю с почками. Тут мы вам могли бы помочь.

– Я не хочу, чтобы в моче у него была кровь.

– Что, утонченные читатели поморщатся? – спросила женщина.

– Нет, понимаете ли, болит спереди.

– А как насчет селезенки? – спросил второй.

Немного подумав, Билл не смог удержаться от вопроса:

– А у собак есть селезенка?

Остальных это страшно насмешило.

– Если нет, – сказал бородач, – значит, я всю жизнь делал спленоктомию мохнатым карликам и неплохо на этом зарабатывал.

Биллу очень понравился смех бородача – грудной, заливистый. Первая жена Билла презирала его за симпатию к врачам – думала, Билл примеривается, как бы ее пережить.

– Позвольте мне кое-что добавить, – сказал Билл. – Мой персонаж любит выпить.

– Тогда селезенка у него почти наверняка увеличена, – сказал второй ветеринар. – А большую селезенку легче повредить, она будет кровоточить долго-долго и причинять сильную боль.

– Но селезенка слева, – сказал Билл. – Мой персонаж чувствует боль справа.

– Вы нам об этом говорили? – спросила женщина.

– Кажется, забыл.

– Может, поменяете на левый бок, чтобы была селезенка? – сказал бородатый. – Думаю, кровь из нее будет хлестать без удержу. Занятную историю удастся закрутить.

Официант принес бренди, и Билл вскинул руку – торжественно попросил прерваться, дабы утолить жажду.

– Но поймите, мне нужен правый бок. Это принципиально важно для сюжета.

И почувствовал: все напряженно задумались.

– Верхний правый сегмент подойдет? – спросил второй ветеринар.

– Пожалуй, сгодится.

– Ничего, если он будет чувствовать боль при всяком глубоком вдохе?

– Больно дышать. Почему бы и нет, собственно.

– Ничего, если у него будет ныть правое плечо?

– Пожалуй, сгодится.

– Тогда задачка решена, – сказала женщина.

Бородач вновь наполнил бокалы.

– Разрыв печени.

– Гематома.

– Локальное скопление крови.

– Наружных проявлений нет.

Официант принес ужин Билла и поставил его на соседний столик. Все невольно туда уставились. Билл перенес тарелку и столовые приборы на столик ветеринаров и, сидя на корточках, начал разрезать мясо.

– Значит, корень всех этих бед – в печени. Как он вообще-то и подозревал. Что мне с ним делать дальше? Как он себя чувствует?

Женщина переглянулась со вторым ветеринаром.

– Обмороки бывают?

– Допустим, бывают.

– Кровь не поступает к голове, – сказала женщина Биллу.

– Что еще?

– Давление понижено. Возможно, также назревает острое воспаление брюшины.

– Но он хочет отправиться в путешествие, – сказал Билл.

– Совершенно исключено, – сказал второй ветеринар.

– А что за поездка? – спросила женщина.

– По морю. То ли круиз, то ли просто ему нужно попасть в определенное место таким путем. Поездка недлинная, не слишком утомительная.

Налив себе вина, Билл обвел собеседников взглядом.

– Неправдоподобно. На все сто процентов, – сказал бородач.

– Нет, такого мы допустить не можем, – сказала женщина. – Ни за что. Нельзя злоупотреблять доверчивостью читателя.

Билл осушил бокал с вином, чувствуя, что тоже увлекся этой забавной игрой.

— Но если у него нет никаких симптомов, кроме дурноты? Кровь не поступает к голове? Как раз в таких случаях люди и отправляются в круизы.

— Извините, но это совершенно исключено, — сказала женщина.

Бородач сказал:

— Если вы навяжете ему симптомы, которые мы обговорили, единственный правдоподобный вариант — направить его к врачу.

— Или просто смириться с тем, что он вот-вот впадет в кому.

Прежде чем приступить к еде, Билл аккуратно нарезал всю порцию мяса. Привстал, высматривая официанта. Воздух имел отчетливый привкус — привкус счастья.

— Вы только не обижайтесь, но мы не о попугайчике говорим. Мой герой — здоровый во всем остальном человек.

— Здоровый во всем остальном. Остроумно подмечено.

— Эти ваши здоровые люди — здоровые во всем остальном или в целом — не дают врачам применять их знания. Вот в чем вся закавыка.

— Животные, только животные и никого, кроме животных, — сказала женщина, подавшись вперед, упершись руками в стол.

Биллу удалось привлечь внимание официанта; он помахал своей пустой рюмкой, делая над ней пассы свободной рукой. Бородач налил своим коллегам вина.

— Ну хорошо, — сказал Билл, — согласен. Я заставлю моего героя капитулировать перед советами и мудростью специалистов. Что конкретно предпримет врач, если к нему заявится человек в таком состоянии?

— Тут же вызовет "скорую", черт подери, — сказал бородач. — Что тут еще предпримешь?

Эта фраза всех ужасно развеселила. Второй ветеринар сходил к столику Билла за его стулом, Билл уселся, съел еще кусочек мяса. Официант принес бренди, а англичане заказали еще вина.

Потом было решено поехать за город, в некий ночной клуб на побережье, популярный среди ливанцев, — они стекаются туда толпами, принося с собой тоску и боль изгнания. Билл сидел в такси, притиснутый к дверце, чувствуя, как в голове все путается, растворяется в тумане. Одурь. Сколько лет он не слыхал и не вспоминал этого слова. Ветеринары пытались заставить шофера сымпровизировать стишок в честь Катаклизмоса, местного большого праздника, отмечаемого в память о всемирном потопе.

В просторных залах клуба было полно народу. Немолодая женщина с беспроводным микрофоном в руке, лавируя между столиками, стенала нараспев то по-арабски, то по-французски. Билл сидел и пил на краю длинного стола, где локоть к локтю теснились пять ветеринаров — у самых дверей к троице его знакомцев присоединились еще двое. Широколицая ветеринарша позволила ему положить напряженную руку на ее рыхлое, как вспаханная земля, бедро. Каждые сорок секунд раскупоривалась очередная бутылка шампанского. Биллу показалось, что в дальнем углу зала — его книга, тучная и забрызганная щелоком, с лужей кислоты вместо лица, застегнутая на молнию и обесцвеченная, с обломанными, поблескивающими в кровавом месиве зубами. Это было так реально, так явственно, что с него ненадолго слетела одурь. На танцполе, прильнув друг к другу, топтались пары, бутылка шампанского разо-

рвалась прямо у какого-то мужчины перед носом — тот замер в плотном облаке крови и пены, озабоченно осматривая свой испорченный костюм. Куда ни глянь — подтверждение сентенции, что мода отражает жизнь: на женщинах украшения в виде черепов, на некоторых бравых молодчиках — солнечные очки в камуфляжной оправе и экипировка враждующих милицейских формирований Ливана. Споры прокатывались по залу волнами, хлопали пробки, журчало шампанское; Биллу подумалось, что в воздухе витает какое-то двойственное настроение: задумчивость под покровом болтовни и шума, тоска по дому, за которой скрыта некая тайна: на самом деле люди только делают вид, что хотят отгородиться от войны, — война затягивает их в свой омут, и здесь они собрались, чтобы, взявшись за руки, добровольно пройтись в пляске смерти мимо разграбленных отелей, мимо пустырей, сплошь заваленных обломками. И, разглядывая странного человечка с набеленным лицом, который вышел на маленькую эстраду, чтобы спеть "Мэкки-нож", безупречно — аж мороз по коже — копируя знаменитый шкворчащий, как картошка на сковороде, голос Луи Армстронга, Билл испытал омерзение: как противно, когда подобный звук издает лилипут, живущий в чемодане, чертик из коробочки, тьфу, гадость, кровь леденеет, но ветеринары поддались чарам, сидели не перешептываясь, не моргая, это была песнь акулы, которой они дожидались всю ночь, стишок в честь катаклизма.

Дышать было больно. Он провел рукой по бедру женщины. Ее стрижка — прямая челка до середины лба — почему-то навевает ощущение, будто щупаешь учительницу в кладовке, среди свежести новехоньких тетрадок и мелков, запасенных на весь учебный год. О Боже, сделай так, чтобы она согласилась. Позднее, в мужском туалете, Билл и бородатый ветеринар сошлись лицом к лицу и разминулись, не обменявшись ни словом, ни жестом. Совершенно естественно для непредсказуемой долгой ночи в далеком городе среди незнакомых людей. Биллу показалось, что с того момента на эспланаде, с бризом и цветными лампочками, успела пройти целая жизнь.

Проснулся он в своем номере на кровати — раздетый до трусов, но в носках и в одном ботинке. Далеко не сразу сообразил, где находится. А разобравшись, попытался припомнить, как сюда добрался. При каких обстоятельствах и с кем он ушел из ночного клуба, память не зафиксировала. Ему стало страшно, он вообразил, как выписывает ногами вензеля невесть где, как идет, пьяно пошатываясь, сквозь мрак. Мир чрезвычайно опасен. Теперь-то до него дошло, какой идиотизм — бросать вызов этому чудовищу. Еще повезло, что уцелел. В пачке — одна, последняя сигарета. Он снял ботинок, закурил. Странно воображать себя в момент прошлого, которого не помнишь: как с фантастическим проворством маневрировал, петлял, путал следы — потом за целую жизнь не разберешься. Ему было стыдно и жутко, но одновременно он ощущал, что ему покровительствует какой-то сатанинский талисман. Важное он помнил: как его одноклассник, знаменитый пожиратель кузнечиков, разинул рот, демонстрируя объедок крыла и один глаз, как по зубам текли соки изжеванного тельца.

Он пошел в ванную отхаркаться. Прокашлялся, все-все выплюнул. Справил нужду. Стряхнул в унитаз последнюю каплю мочи. В этом — вся его жизнь. Положил недокуренную сигарету на стеклянную полочку, умылся. Вытерся полотенцем, вышел, присел на край кровати, задумчи-

во куря, рассматривая сигарету в своей руке: отличная идея – завернуть маленький столбик измельченного табака в тонкую бумагу, гениальное изобретение, подкормка для мозгов. Забавно, что он раньше никогда этого не замечал.

Брюки он снял – или с него сняли, – даже не расшнуровав левый ботинок. Какие характерные улики оставляют после себя странности ночной жизни. Ему хотелось, чтобы сигареты хватило еще затяжки на четыре, но получилось всего две, и это было как горестная, невосполнимая утрата.

Он заснул и проспал несколько часов. Встал, по-видимому, ранним вечером. Позвонил администратору, выяснил имя и адрес врача, с которым можно потолковать. Оделся, чувствуя себя превосходно, готовый наплевать на врача, потом передумал, потом снова наплевал, ощутил голод – верный признак выздоровления.

Решил отправиться к врачу. Уже собираясь выйти в коридор, вдруг вздумал позвонить в пароходство. Узнал, что паромы снова ходят.

Похлопал себя по карманам: паспорт, бумажник, дорожные чеки. Побросал вещи в сумку, спустился вниз, сдал ключи. В пароходстве отстоял очередь из трех человек – это с ним вместе. Глазел на плакаты – на рыжие пляжи в косых лучах заходящего солнца. Какой-то человек принес чашки с кофе и стаканы с холодной водой на круглом железном подносе, подвешенном к проволочным стойкам. У Билла появилось ощущение исторической важности момента. Клерк показал рукой на поднос, оба взяли по чашке и, не присаживаясь, завели беседу.

– Ну и как далеко до порта Джуния?

Клерк сказал:

– Если в километрах – примерно двести сорок.

– А от Джунии до Бейрута как люди ездят? – спросил Билл.

– На такси. Возьмете такси.

– С меня запросят слишком много?

– Конечно.

– Ну а пробоины в судне? Заделаны?

Всех остальных это рассмешило: не обменявшись ни словом, ни взглядом, они заулыбались какой-то своей общей шутке.

– О пробоинах не беспокойтесь.

– Заделаны? – повторил Билл.

– Пробоины намного выше ватерлинии.

– О пробоинах мы не говорим, – сказал кто-то из клиентов.

– Пробоины – это ерунда, – сказал клерк.

Билл понюхал гущу на дне своей чашки, пытаясь перехитрить боль, прошмыгнуть мимо нее.

– Ну а прекращение огня? Как вам кажется – на этот раз всерьез?

– У них перемирия всегда всерьез. Нельзя наперед сказать: "это надолго" или "нет, на это полагаться не стоит". Перемирия всегда всерьез и никогда не затягиваются.

– Но перемирие как-то влияет на безопасность парома? На канонерки оно распространяется?

– Море – это чепуха, – сказал клерк.

– О море мы не говорим, – сказал второй клиент.

– По сравнению с сушей море – ерунда.

Билл заплатил за билет дорожными чеками, и клерк спросил, есть ли у него виза. Визы у Билла не было. Клерк спросил, есть ли у него вейвер от Госдепартамента[1]. Билл в жизни не слыхал ни о чем подобном.

— Ничего. Способ есть.

— Что за способ? — спросил Билл.

— Когда прибудете в Джунию, идите на паспортный контроль — увидите человека из Вооруженных сил Ливана. Там всегда кто-нибудь есть. Он в мундире, у него чернильная подушечка и штемпель. Скажите ему, что вы писатель.

— Ну хорошо, я писатель.

— Скажите ему, что хотели бы получить журналистскую аккредитацию. Возможно, он намекнет, что хорошо бы кое-кому передать немножко денег. Потом он поставит штемпель на бумажку, и готово — вы под защитой самой могущественной христианской милиции.

— И мне не нужна виза, чтобы въехать в страну?

— Можете въезжать совершенно свободно.

— И сколько же денег дать?

— Если за въезд в такой город, как Бейрут, вы готовы платить деньги, вам вряд ли важно сколько.

Стоя на палубе, он с удивлением наблюдал за посадкой: добрая сотня пассажиров, некоторые с детьми, с младенцами, прикорнувшими на груди или на плече взрослого. Высоко в жгучих лучах солнца носились чайки. Все это показалось ему трогательным и геройским, и эти люди стали ему очень до́роги; семьи, коробки, пластиковые пакеты, младенцы, мелодичный щебет — переселение целой культуры.

Он решил, что нужно разработать план, приблизительно следующий.

В Джунии взять такси до Бейрута. Поторговаться с водителем. Сделать вид, будто знаешь местность, самый короткий путь и стандартную стоимость поездки. В Бейруте найти гостиницу и попросить администратора нанять машину с шофером. Поторговаться с шофером. Обсудить со знанием дела планировку города, попытаться создать впечатление, будто бывал здесь уже много раз. Показать шоферу карту. Карта у Билла была, купленная после приобретения билета, но вот что странно — он нашел ее лишь в третьем по счету магазине, словно Бейрут больше не считается стоящим внимания или пожрал все свои изображения. Показать шоферу карту. Отправиться в южные трущобы. На этом пункте четкий план обрывался, но Билл знал, что в конце концов войдет в штаб Абу Рашида и представится, объявит: “Меня зовут...”

Биллу еще никогда не доводилось представляться незнакомым людям прямо с порога.

Пассажиры всё поднимались и поднимались на борт. Светил, разрубая небо, прожектор — его длинное, изжелта-зеленое копье вонзалось в ночь. Билл нашел свою каюту. Обстановка скромная — три проволочных вешалки да койка. Вновь почувствовав головокружение, он прилег, прикрыл лицо рукой от света. Паром дал гудок, и он подумал сквозь толщу боли, что это хорошо — у пароходов все еще есть гудки, и их перекличка все еще похожа на песню. Он думал, что отдых ему на пользу, от отдыха полегчало. Он думал, что написанные им страницы опасно кренятся: чего-то он не рассчитал, не там подложил рычаг, неверно распределил вес;

1. Зд.: документ, позволяющий пересечь границу страны, с которой у США имеются дипломатические соглашения о безвизовом (при соблюдении определенных условий) въезде.

внезапно его осенило, что в итоге он почти перестал думать о пленнике. Что представляет собой мальчик?

Литература всю жизнь ему заела.

Кровь не поступает к голове.

Он вспомнил, как однажды, когда бишь это было...

Погоди-ка две чуточки.

Он отпрянул от боли, сорвался в темную пропасть, приказав себе не возвращаться.

Он вспомнил, как однажды, когда бишь это было, ехал на такси в Айдлуайлд[1], это по-тогдашнему, и водитель сказал: "Я выкормыш", точно-точно, а дело было так — из-за какой-то банальной неразберихи в личных делах предстояло болтаться в аэропорту часа два с половиной до вылета, и шофер сказал на это: "Я выкормыш старой школы: по мне, лучше ждать, чем опоздать", и тогда Билл сказал себе: возьми эту фразу на заметку, процитируешь ее другу или вставишь в книгу, роскошно звучит: "выкормыш старой школы", у него всегда сердце бьется веселее, когда он слышит такое на улице, в автобусе, в оптовом магазине, дикорастущая поэзия (подумал он сквозь толщу боли) случайных людских реплик.

Взмолился: "Пусть меня забудут".

Вновь сорвался, теперь уж — прямо под откос, отменил приказ "не возвращаться", но фразу он забыл, никому не пересказал, никуда не вставил, лет тридцать пять назад Кеннеди был Айдлуайлдом, время — деньгами, фермеры — в поле, какой крутой откос — страх божий; собрав все силы в кулак, попытался вернуться.

Отец. Погоди-ка две чуточки.

Отец. Я тебе уже сколько раз говорил, надоело говорить.

Мать. Не закатывай рукава, так лучше.

Он услышал, как меняется ритм его дыхания, почувствовал, как погружается в истому, знакомую, хотя он ощущает ее впервые. Древняя неспешная монотонность, затрудненное дыхание — известны из истории, знакомы до мельчайших подробностей.

Прежде чем делать заказ, снимите мерку с головы.

Отец. Есть разговор, сынок.

Что это, он понял сразу. Разве тут спутаешь: написано аршинными буквами, сияет издалека в ночи. Стало ритмом морских волн, ритмом корабля, плывущего навстречу утру, туда, где солнце.

К изрезанному оврагами горному склону над гаванью Джунии лепились дома, в лучах рассвета похожие на воспаленно-алые прыщики. На набережной у пристани, где высаживались пассажиры, стояло несколько грузовиков с открытыми кузовами, нагруженных продуктами и напитками. Едва все сошли, на пароме появились уборщики. Каютами по правому борту верхней палубы ведал хромой старик. Обнаружив на койке неподвижно лежащего человека, он окинул взглядом его небритое, покрытое кровавой коростой лицо и грязную одежду, осторожно приложил пальцы к его бледному горлу, дожидаясь, не дрогнет ли какая-нибудь жилка. Затем произнес молитву и покопался в вещах мертвеца: не позарился ни на деньги в тощем кошельке, ни на добротные ботинки, ни на сумку и ее содержимое, но решил, что ничем не согрешит перед покой-

1. Прежнее название аэропорта имени Кеннеди.

ным, забрав его паспорт и прочие документы, – в Бейруте милицейским можно сбыть любую бумажку, лишь бы там значились фамилия и номер.

14

Со стороны шоссе донесся шум: захлопнулась автомобильная дверца, отъехала какая-то машина. Скотт помедлил, подумал, далеко не сразу обернулся, чтобы глянуть в окно над кухонным столом. Кто, интересно, пойдет к дому пешком? Редкие гости подъезжают на автомобилях прямо к крыльцу. От мойки, где Скотт стоял и драил ковшик, в окно ничего толком не разглядишь, но переходить на другое место он поленился: кто бы это ни был, рано или поздно появится в окне, начнет впаривать Бога, или дикую природу, или гибель жизни на Земле. А может, и не появится. Редкие посетители подъезжают по ухабистому проселку на своих пикапах или фургонах, чтобы что-то доставить или отремонтировать, обычно это люди со знакомыми лицами, в стоптанных ботинках.

Скотт еще раза три-четыре провел по ковшику щеткой и снова обернулся, и, конечно же, это оказалась Карен, очень похожая на саму себя при их первой встрече, – мечтательница, сидящая на облаке в летний день, выплывшая прямо из головы Билла, размахивающая хозяйственной сумкой. От мойки он не отошел. Сполоснул ковшик водой, поработал щеткой, сполоснул – и опять щеткой, и опять сполоснул. Услышал, как она поднимается на крыльцо и открывает дверь. Вошла в прихожую – а он продолжал споласкивать не оборачиваясь, глядя на кран.

Она сказала:

– Я не стала звонить, просто взяла от автовокзала такси. Денег у меня осталось тюк-в-тюк – только на такси и чаевые, я специально хотела приехать промотавшейся вконец.

– Ветер распахнул дверь и кое-кого принес. Ну и ну.

– Если честно, у меня есть два доллара.

Он не оборачивался. Ну вот, теперь придется перестраиваться. Уже несколько лет он считал, что рожден для амплуа покинутого друга или брошенного любовника. Мы все знаем: то, чего мы втайне страшимся, никакая не тайна, а нечто всем известное и неистребимое, обещающее повторяться снова и снова. Он завернул кран, поставил ковшик на сушилку, выждал.

– Спроси меня, рада ли я, что вернулась. Я по тебе скучала. Как ты, нормально?

– С Биллом не пересекалась? – спросил он.

– Я его словно бы все время видела, ну, знаешь... А так – нет. Ты ничего не слышал?

– Все тихо.

– Я вернулась, потому что боялась, у тебя не все ладно. И потому что по тебе скучала.

– Я тут нашел чем заняться. Кое-что сделал, кое-что разобрал.

– Ты всегда ценил труд до седьмого пота.

– Да, старина Скотт не меняется, – сказал он.

Его голос звучал как-то незнакомо. Наверно, подумал он, из-за того, что я давно ни с кем не разговаривал вслух. Но возможно, виновата ситуация. Говорить было опасно: он не знал, в какую сторону покатится фраза, к некоему тезису или, с равным успехом, к его полному антитезису. Сейчас Скотт мог качнуться в любом направлении, среагировать так

или сяк — все выйдет естественно. Он был лишь косвенно причастен к тому, что срывалось с его языка, и потому в его замечаниях ощущалась нехорошая, с легкой гнильцой беспечность.

— Конечно, вполне возможно, ты предпочитаешь жить один, — сказала она. — Я это знаю. Я знаю, что уехала, наверно, не в самый лучший для тебя момент. Но я искренне считала...

— Знаю.

— Мы с тобой никогда не были попугайчиками-неразлучниками.

— Не переживай, — сказал он.

— У меня плохо получаются такого типа разговоры.

— Знаю. Не переживай. Мы оба не в своей тарелке.

— Из Нью-Йорка не звонила, с автовокзала не позвонила.

— Это не вокзал. Ты вечно говоришь "автовокзал". А это жалкая касса в помещении магазина.

— Потому что телефону я не доверяю, — сказала она.

Он обернулся, присмотрелся к ней: выглядела она просто ужасно. Подошел, обнял. Ее затрясло, он покрепче прижал ее к себе, а потом отступил назад, чтобы осмотреть с головы до ног. Она плакала — вздрагивала словно от рыданий, кривила лицо, но слезы не текли, губы вытянулись в ниточку, глаза погасли; он положил ей руку на затылок, ласково привлек к себе.

Они перешли шоссе и долго гуляли по лесу, гуськом по тропке выбрались на заросшую кочедыжником поляну. Карен сказала Скотту, что привезла с собой фотографии, контрольки Британиной сессии с Биллом. Он отмолчался, но у него отлегло от сердца: обида заглажена, ущерб частично компенсирован, и на том спасибо. Карен сказала, что Брита не будет публиковать фотографии без разрешения Билла или Скотта.

Почти всю ночь они обнимались, прижимались друг к другу влажными телами или просто лежали как придется, ничком, навзничь, сплетались ногами, то говорили, то не говорили, то забывались легким целомудренным сном, то любили друг друга усердно — как дрова рубили, дружно пыхтели, сливались где-то в незнаемых глубинах своих тел; или Карен говорила, а Скотт смеялся, упиваясь тем, как она изображает нью-йоркскую разноголосицу: там блеют и брешут, рвут-мечут и без ножа режут; или Скотт говорил ей, что контур ее лица впечатан в сетчатку его глаз, и потому иногда он видит ее, когда, например, ест суп, видит лицо, парящее в облаке ее волос, — точно лазерное шоу по мотивам Боттичелли.

На следующее утро они съездили за двадцать две мили, чтобы купить лупу и световой столик[1].

После обеда освободили письменный стол на чердаке и разложили контрольки. Двенадцать листов специальной пленки, на каждом — тридцать шесть черно-белых отпечатков: шесть полосок по шесть кадров. Листы формата восемь с половиной на одиннадцать дюймов, каждый кадр — полтора дюйма в длину, один дюйм в высоту.

Скотт и Карен стояли у противоположных краев стола. Наклонялись, стараясь не испачкать пленку, рассматривали полосы кадров, пока еще не слишком внимательно, не слишком вдумчиво — спешить не хотелось.

1. Специальный столик для просмотра проявленной фотопленки на свет.

Карен сцепила пальцы за спиной; потом и Скотт засунул руки в карманы; так они и продолжали просмотр, низко нагнувшись к столу, затаив дыхание, иногда меняясь местами.

Вечером они наскоро поужинали; затем Скотт перетащил телефонную тумбу на чердак. Приставил к столу, водрузил сверху световой столик.

Они стали просматривать контрольки по очереди. Расположение контролек на листе точно соответствовало изначальной последовательности кадров, и можно было заметить, как Брита нащупывала ритм, тему, ловила какой-то сигнал, прочитывала на лице Билла что-то еле заметное и стремилась это увеличить или истолковать, возвести в ранг истины, превратить в него самого. Так что портреты Билла — на самом деле лишь репортаж о движении мысли Бриты, краткая анатомия души и глаз фотографа. Как показалось Скотту, Брите требовалось все неумышленное, случайно подмеченное, Билл фамильярный, Билл в живой беседе, не в книге. Просматривая под лупой кадр за кадром, он видел фотографа — видел, как портретист пытается освободить портретируемого от всех тайн, что окутывают избранный им жизненный путь. Брита хотела сделать снимки, которые стерли бы, перечеркнули отшельничество, преобразили Билла, наделив его лицом, знакомым нам с детства.

Или Скотт все понял не так? Теоретические рассуждения об объективности фотоискусства лучше оставить на потом.

Сначала составить списки кадров. Работа титаническая. Классифицировать: по точке съемки, по выражению лица модели, по ее местонахождению, по степени затемненности кадра... Только голова, голова и плечи, погрудный портрет, видны или нет руки, наличие фона. Ну и так далее. Одно дело — то, что разложено здесь перед нами. И совсем другое — как это проанализировать, описать и кодифицировать.

Впрочем, в определенном смысле, на беглый взгляд различия между кадрами странно незначительны — все двенадцать листов пленки запросто могут показаться одним и тем же размноженным изображением, вроде роя смутных картинок, возникающих перед глазами, когда моргаешь[1].

И это лишний резон все проанализировать. Потому что в действительности отличия, конечно, есть — руки сложены то так, то сяк, перемещается сигарета... Детальное изучение требует времени.

За завтраком Скотт сказал:

— Мне об этом очень не хотелось думать, но...

— Я знаю, что ты сейчас скажешь.

— Мы должны быть готовы к варианту, что Билл не вернется, что он больше никогда не подаст нам о себе вестей. Но меня это не озадачит и не оскорбит.

— И меня тоже.

— О его поступках мы должны судить объективно, не примешивая наши переживания.

— Нельзя мерить общей меркой.

— Что бы он ни сделал, мы должны понять: он готовился, он давно это в себе вынашивал.

— Так уж ему понадобилось.

— Кто-кто, а мы не вправе требовать от него объяснений.

1. Намек на картину Уорхола "Этель Скалл 36 раз" (1963).

– Нам можно остаться здесь жить? – спросила Карен.

– Дом выкуплен. И он сам захотел бы, чтобы мы тут жили. Есть мои сбережения – я откладывал из зарплаты, которую он мне платил, а она каждый месяц автоматически перечисляется с его счета на мой, и если бы он не хотел, чтобы я продолжал ее получать, то перед отъездом известил бы банк.

– Я могу устроиться официанткой.

– Думаю, нам не о чем беспокоиться. Мы в доме Билла. По уши завалены его книгами и бумагами. Конечно, все упирается в его родных. Когда они узнают, какая сложилась ситуация, то, возможно, захотят нас выставить и продать дом. Могут попытаться продать его архив или опубликовать новую книгу. Когда-то я навоображал, кажется, все сценарии непоправимой беды – теперь любой из них возможен. И вот еще проблема – гонорары за вышедшие книги.

– Заранее нервничать не будем, – сказала она.

– Кому они причитаются по праву, очень запутанный вопрос.

– Он жил с нами, а не с ними.

– И никаких распоряжений не оставил.

– Если бы не мы, Билл не имел бы возможности посвящать все свое время литературе.

– Верно. Мы устранили все препятствия.

– Так может, они разрешат нам здесь жить? Мы пообещаем сохранить все как есть, доделать работу Билла.

Скотт рассмеялся.

– Близится ночь крючкотворов. Обнажаются длинные ножи. На всех стенах – лозунги и кровь.

– Пускай дом принадлежит им, – сказала Карен. – Но они должны нам разрешить здесь жить. И рукопись остается нам. И портреты тоже.

Скотт, наклонившись к ее уху, пропел отрывок из старинной песни "Битлз", строчки о том, кто носит портреты Председателя Мао[1].

Потом поднялся на чердак и под шум дождя просидел там один до самого обеда, горбясь над световым столиком, делая заметки.

Что у него есть – тайна подлинного имени Билла.

И еще – фотографии, великий труд по их описанию и классификации.

И еще – рукопись нового романа Билла, целый дом, набитый машинописными страницами, страницы выплескиваются наружу, в сарай, примыкающий к дому сзади; даже в подвале, по самый потолок, – и то страницы.

Рукопись полежит. Может быть, он свяжется с Чарли Эверсоном – просто лаконично известит его, что книга закончена. Рукопись полежит, слухи пойдут, а рукопись не стронется с места. Со временем он, может быть, отвезет фотографии в Нью-Йорк, встретится с Бритой, отберет кадры для публикации. Но рукопись пусть лежит, а слухи пусть ползут, а фотографии пусть всплывут, маленькая, тщательно продуманная подборка, эксклюзивная публикация, и слухи будут распространять-

1. "Но если ты хочешь денег для людей, чьи души полны ненависти, я тебе одно скажу – перетопчешься, брат... / Говоришь. – изменишь конституцию, ну что ж, мы все хотим перекроить твое сознание. / Говоришь – государственные институты священны, знаешь, лучше дай-ка свободу своей душе. / Но если ты по-прежнему будешь носить портреты Председателя Мао, никто знать тебя не захочет" ("Revolution").

ся, шепот перейдет в звон, а роман останется лежать в этом вот столе, накапливая мощь, уплотняя свой ореол, обретая бессмертие, придавая новую глубину легенде о прежнем Билле.

Чем хороша жизнь — она на каждом шагу дает тебе шанс исправиться. Это не я говорю, это Билл говорит.

В Б*ейруте*

Водитель рассказывает ей три истории.

Первая — сводится к тому, что люди жгут покрышки. Вокруг взрываются заминированные автомобили, на улицах перестрелки, палят дальнобойные пушки, рушатся дома, целые районы исчезают в клубах дыма, а люди жгут покрышки, чтобы отгонять москитов и мух.

Вторая история: две местные милиции затеяли своеобразный поединок: первая расстреливает портреты лидера второй, вторая платит той же монетой. Огромные фотографии клеят на стены, пришпиливают к тентам на овощных рынках, а противники поливают их автоматными очередями — только бумажные клочья летят; иногда совсем уж гигантские портреты подвешивают к проводам, протянутым поперек улицы; расстрелянные изображения моментально заменяются новыми, а те снова превращаются в ошметки. Благодаря новому способу ведения войны улицы, где действуют эти милиции, стали выглядеть не в пример веселее.

И наконец: стали делать бомбы с начинкой из плотницких и кровельных гвоздей. Полиция обнаруживает большое количество гвоздей — вбитых, вколоченных в тела случайных жертв взрывов.

Брита ждет — ей кажется, что история номер три должна увенчаться какой-то моралью. Тут явно предполагается ирония, некая печальная усмешка, констатирующая, что люди — странные существа, склонные увлекаться мелкими и неуместными практическими хлопотами, закрывая глаза на ненормальность происходящего. Эх, люди, люди — чтобы заглушить отчаяние, они хватаются за любую занятную деталь. Правда, саму Бриту история про гвозди оставляет равнодушной. Да и другие истории особо не увлекают. Она приехала сюда уже уставшей от всех этих историй, даже от тех, которых никогда еще не слышала. Все они одинаковы, все они правдивы; грустно, что без них нельзя. Вдобавок почти все такие истории ее бесят, особенно слухи, что некоторые террористические группировки выдают аккредитации журналистам.

Машина минует нагромождение обломков — все, что осталось от многоарочного фасада ипподрома. Сворачивает, едет в запрещенном направлении по улице с односторонним движением, но это никого не смущает. Тут, по какой бы улице ты ни ехал, все равно едешь разом по правилам и против правил. Брита видит скелеты сгоревших автомобилей, величественные гейзеры, бьющие из пробитых водопроводных труб. А заодно и уличную жизнь: торговцев, деревянные тележки, продавца, выставившего радиоприемники и обувь в раскрытом багажнике своей машины. Балконы разрушенных снарядами зданий свисают, как плети. Машина въезжает в трущобы на подступах к лагерям беженцев. Машины, обернутые в лица Хомейни, — весь корпус снаружи оклеен бумажными плакатами, лишь на лобовом стекле со стороны водителя оставлено неширокое окошко. Магазины, обложенные мешками с песком;

груды мусора, который никто не вывозит. На лотке уличного торговца она замечает городок из пачек "Мальборо" – от аккуратных штабелей веет тоской по четкой планировке, продуманности, порядку.

Брита здесь по заданию некоего немецкого журнала – ей поручено сфотографировать лидера одной из местных группировок, Абу Рашида. Он прячется где-то в самой гуще этих раскуроченных улиц, где из проулков широким строем наступают сорняки и дикий гибискус, а женщины покрывают головы платками и стоят в очередях, повсюду длинные очереди за продуктами, питьевой водой, постельным бельем, одеждой.

Ее водителю на вид лет шестьдесят. Вместо "бомба" он говорит "бумба". Это слово он произнес уже раз одиннадцать, и теперь Брита специально дожидается, чтобы тихо повторить вслед за ним: "бумба". Заложили бумбу. Должно быть, в Ливане люди говорят только о Ливане – по крайней мере в Бейруте все определенно сводится к бейрутским делам.

К машине подходит нищий, что-то бормоча нараспев; один глаз у него заплыл, к рубашке прилипли куриные перья. Водитель нажимает на клаксон, сигналя парню, несущему штык в ножнах из крокодиловой кожи, – и клаксон проигрывает первые такты песни "Эй, встречай меня, Калифорния!".

Улицы кишат картинками. Ни на стенах, ни на одежде живого места нет – портреты мучеников, духовных наставников, бойцов, загорелых красавцев в плавках. К чисто побеленной стене прибит человеческий череп; есть и реалистически нарисованные черепа и черепа, образующие цепочки букв и слов, мальчишки ходят в футболках с черепами: крохотные синие черепа, как горошек. Водитель переводит надписи на стенах – сплошные "Отец Черепов", "Кровавые Черепа из Голливуда, США", "Арафат, убирайся домой", " Черепных Дел Мастер был здесь". Арабская вязь прекрасна всегда, даже если наспех нанесена из баллончика. "Крутой Сэм бомбы засунет всем". А это значит: "Али 21". А это значит: "Я опять с вами благодаря Али 21". Машина медленно движется по узким улицам, карабкается в гору по немощеным проулкам, и Брите приходит в голову, что этот город – фабрика эсхатологических видений. Повсюду афиши фильмов, но ничего отдаленно похожего на кинотеатр. На афишах мужчины: голый торс, несоразмерно большой автомат, пояс с гранатами, пылающие города на заднем плане. Заглянув в пробоины в стене здания, Брита видит руины другого здания, где в открытой всем ветрам комнате на новехоньком диване сидят трое обкуренных мужчин. На КПП работают подростки с выколотыми на руках черепами, сочетающие в одежде элементы сирийской, американской, ливанской, французской и израильской военных форм, сгибающиеся под весом рожковых автоматов.

Водитель показывает журналистское удостоверение Бриты, и подростки заглядывают в машину, всматриваясь в ее лицо. Один что-то произносит по-немецки, и она еле подавляет в себе совершенно идиотский порыв поинтересоваться, не продаст ли он ей свое кепи. У него на голове потрясающее кепи с заломленным синим козырьком, отличный бы вышел подарок для одного ее нью-йоркского приятеля.

Машина трогается с места.

Писателей она больше не снимает. Это как-то потеряло смысл. Теперь она работает по заданиям журналов. Темы очень интересные: войны, почти не замеченные прессой, босоногие дети в клубах дорожной пыли. Писательский проект однажды вдруг бац – и кончился. В чем при-

чина, Брита сама не знает — просто желание отпало. Ей больше не кажется, что писателями она могла бы заниматься вечно.

Теперь пошли плакаты в честь нового прохладительного напитка "Кока II", приляпанные к стенам из цементных блоков, и ее озаряет безумная догадка: эта реклама — тайный знак присутствия маоистов. Цвет букв подозрительный — очень уж вызывающий, кричаще-красный. Машина ужом пробирается по узким теснинам, где чем только не воняет, где в канавах струятся сточные воды, где горят покрышки, а вот собака — одни ребра да язык — лежит неподвижно, вся в зеленых мухах, вся сверкая; даже плакатам тесно, стены залеплены сплошь, а сами плакаты заполнены мелкими, не рассмотришь, граффити: завитушки сплетаются, перекрывают одна другую, этакий "Гнев. Бумага, бытовая масляная краска, фломастер", и Бриту осеняет еще одна безумная мысль — это же местные дацзыбао[1], это как плакаты китайской Культурной революции, крупным шрифтом обличавшие и остерегавшие, призывавшие к самокритике. Во всяком случае, определенное внешнее сходство есть. Кое-где плакаты, наклеенные один над другим, добираются почти до третьего этажа, по десять в ряд, теснят друг дружку, образуют многослойные пласты, что-то провозглашают, тысячи арабских слов вьются между буквами и римскими цифрами логотипа "Кока II".

Посреди изуродованной площади стоит мужчина. Машина тормозит, Брита подхватывает кофр, вылезает. Водитель передает ей журналистское удостоверение. Очевидно, ей нужно следовать за тем, кто ждет на площади. Он старше водителя; она замечает, что у него не хватает половины правого уха. На ногах шлепанцы, в руках пластиковая бутылка с водой. Некоторые люди так и живут в руинах, среди холмиков щебня и известковой пыли. Машины если и попадаются, то стоящие вплотную к стенам; они только двух видов: машины без номеров и машины, "раздетые" догола, буреющие на солнце, точно яблочная кожура. Брита видит, что в одном транспортном средстве — фургончике без колес, утонувшем в пыли по самые оси, — обитает целая семья. Проводник, зажав бутылку под мышкой, без единого слова ведет ее прямо в развалины. Пригнув голову, переступая через обломки, она ныряет вслед за ним в сумрак. Всюду свисают провода, пыль пахнет чем-то кислым. Прилавки, крюки — вероятно, в былые времена здесь торговали мясом. Пройдя руины насквозь, они оказываются в переулке. Напротив — что-то наподобие небольшой фабрики. Здание кажется нетронутым, если не считать разбитых окон да шрамов от осколков; они входят в огромную железную дверь, на которую для прочности привинчены крестовины.

На лестнице часовые — двое подростков в масках-мешках, к их рубашкам пришпилены булавками фотографии какого-то седоголового человека. На третьем этаже проводник останавливается перед дверью, пропускает Бриту вперед. В комнате обедают двое мужчин — едят спагетти с хлебцами пита, запивая диетической колой. Проводник исчезает, один из мужчин, встав из-за стола, сообщает, что будет переводить. Брита смотрит на второго: ему определенно за шестьдесят, он в чистой одежде защитного цвета, рукава рубашки аккуратно закатаны до локтей. Волосы у него седые, усы чуть темнее волос, тело красновато-бронзо-

1. Слово "дацзыбао" дословно переводится с китайского как "объявление крупным шрифтом".

вое, закаленное пустыней. Руки костлявые, как будто немощные, на носу очки в золотой оправе, во рту сверкают две-три золотые коронки.

Брита начинает расставлять оборудование. Она не видит необходимости заводить светские разговоры. Переводчик распихивает мебель по углам и опять садится за стол. Мужчины продолжают есть молча, с безразличным видом.

Она выглядывает в окно: школьный двор. Здание школы в дальнем его конце почти полностью разрушено. Во дворе сидят на земле тридцать-сорок мальчиков, обняв колени руками, слушая, что им рассказывает мужчина в защитной форме.

Рашид что-то говорит переводчику.

— Он говорит, пожалуйста, угощайтесь, будьте у себя дома.

— Благодарю за любезность, но я не хочу вас стеснять или задерживать. Не сомневаюсь, он человек занятой.

Она наводит аппарат на детей во дворе.

Рашид что-то говорит.

— Не дозволено, — говорит переводчик, привстав. — Никаких снимков, кроме как в этой комнате.

Брита пожимает плечами:

— Я не знала, что вы ставите ограничения, — садится на корточки, роется в кофре. — Я полагала, репортер занимается своей статьей, а я — своей съемкой. Никто меня не предупреждал, что некоторых тем надо избегать.

Рашид не поднимает головы от тарелки. Говорит ей:

— Не тащите в Бейрут ваши проблемы.

— Он говорит, что у нас достаточно проблем, которые надо решать, и если вам чего-то не объяснили в Мюнхене или Франкфурте, нас это не волнует.

Брита закуривает.

Рашид что-то говорит, на сей раз по-арабски. Фраза остается без перевода.

Брита курит и ждет.

Переводчик обмакивает свой хлебец в остатки соуса на тарелке.

Брита говорит:

— Послушайте, я знаю: все, кто приезжает в Ливан, ищут занятных приключений, а потом, ничего не поняв, еле уползают, опозоренные и искалеченные; так что я, с вашего любезного позволения, хотела бы сделать несколько снимков и уехать.

Рашид, не поднимая головы от тарелки, говорит:

— Вы, должно быть, знаете историю.

Переводчик поясняет:

— Он говорит, что в этой фразе — целое тысячелетие кровопролитий.

Брита, сидя примерно в пятнадцати футах от мужчин, вскидывает фотоаппарат.

— Я хочу задать ему один вопрос. После этого я заткнусь и займусь своим делом.

Она держит Рашида в видоискателе.

— На лестнице я видела мальчиков с вашим портретом на рубашках. Зачем это? Что это дает?

Рашид пьет, утирает рот. Но вместо него отвечает переводчик.

— Что это дает? Это дает им идею, которую они примут, которой будут повиноваться. Этим детям нужно отождествлять себя с чем-то высоким — не только с тем, как их зовут, из каких они семей. С чем-то, что не имеет ничего общего с жизнью их отцов и дедов, безвестных и бесправных.

Брита фотографирует Рашида.

— А мальчики на школьном дворе, — говорит она, — чему они учатся?

— Мы учим их принимать, кто они, учим предназначению. Они все дети Абу Рашида. Все люди — один человек. Все бейрутские милиции состоят из малолетних подонков: тех, кто принимает наркотики, пьет, ворует. Это угонщики машин. Кончается обстрел — бегут "раздевать" машины на запчасти. Поэтому мы учим наших детей, что они частица чего-то сильного и самодостаточного. Они — не выдумка европейцев. Они не соревнуются, кто быстрее попадет на небо. Мы их не для рая готовим. Мучеников здесь нет. Портрет Рашида — их общее "я".

Погасив окурок, Брита пододвигается вместе со стулом поближе к Рашиду, все чаще щелкает затвором.

Рашид ест персик.

Глядя в объектив, он говорит:

— Скажите, вы думаете, я сумасшедший? Живу в этой трущобе, в этом аду, рассказываю детям о мировой революции?

— Вы — не первый, кто так начинал.

— Да-да. Именно.

По-видимому, он искренне обрадован — его миссия подтверждена историческими фактами.

Мальчик приносит письма и газеты. Брита удивленно смотрит на письма. Она думала, что дальше городской черты почтальоны не суются. У мальчика на голове длинный мешок из выцветшей ткани, с прорезями для глаз; углы мешка мотаются, как кроличьи уши. Мальчик отходит к двери и там остается стоять, наблюдая за работой Бриты. Она-то думала, что само понятие "почта" превратилось тут в воспоминание.

— О'кей, еще один вопрос, — говорит она. — Для чего у них на голове мешки?

И разворачивает стул, чтобы упереться в спинку локтями; глядя на мужчин, продолжает снимать.

Переводчик говорит:

— Мальчики, которые состоят при Абу Рашиде, не имеют ни лиц, ни дара речи. Облик у них один на всех. Его облик. Им не нужны собственные лица или голоса. Мальчики отказываются от них ради чего-то высокого и могучего.

— Послушайте-ка, делайте что хотите, меня это не касается. Но эти мальчики учатся обращаться с оружием. Насколько я понимаю, они — бойцы действующей милиции. Я слышала, есть данные о причастности вашей организации к убийствам иностранных дипломатов.

Рашид говорит:

— Женщины носят детей, мужчины носят оружие. Оружие — красота мужчины.

— Отнимем у них лица и голоса, дадим взамен бомбы и автоматы. Скажите мне, это эффективно? — говорит она.

Рашид отмахивается:

— Не тащите в Бейрут ваши проблемы.

Она молниеносно перезаряжает фотоаппарат.

— Он говорит, жестокость уже пришла к нам. Силы природы свободно гуляют по Бейруту. Жестокость можно видеть на любой улице. Она вырвалась наружу, говорит он, и не нужно ей мешать: пусть цветет. С ней не справиться, а значит, надо ускорить ее созревание.

Слушая переводчика, Брита одновременно фотографирует Рашида.

Говорит ему:

— Не клюйте подбородком.

Он пьет, вытирает рот салфеткой.

Затем говорит:

— Мальчик, который там стоит, — Рашид, мой сын. Для меня большая удача — в мои годы иметь сына, который юн, который способен учиться. Я называю себя "отец Рашида"[1]. У меня было еще два сына — теперь они мертвы. У меня была жена, любимая жена, — ее убила Фаланга[2]. Я смотрю на него и вижу все, что не состоялось. Но здесь оно существует. Здесь начинается нация. Скажите, вы думаете, что я сумасшедший? Будьте абсолютно честны.

Брита пододвигает стул к обеденному столу, слегка наклоняет, облокачивается на стол, подавшись вперед, беспрестанно щелкая затвором.

— А что скажете о заложнике? — говорит она. — Ходили слухи, что вы удерживали одного человека. Примерно год назад. Было такое?

Рашид смотрит в объектив. Говорит:

— Я вам скажу, зачем мы держим западных людей в запертых комнатах. Чтобы их не видеть. Они напоминают нам о том, как мы пытались подражать Западу. Как мерзко мы притворялись, наводили внешний лоск. И все это, сами знаете, теперь взорвалось прямо у вас под ногами.

— Он говорит, пока сохраняется присутствие Запада, оно угрожает самоуважению, своеобычности нашего народа.

— А вы отвечаете террором.

— Он говорит, для нас террор — средство дать нашему народу его место в мире. То, чего раньше достигали трудом, мы достигаем террором. Террор прокладывает дорогу к новому будущему. Все люди — один человек. Теперь особая ситуация, такого не было еще никогда — вся жизнь обычных людей становится историческим событием. Он говорит, мы каждую минуту творим и меняем историю. История — не книга, не человеческая память. Утром мы творим историю, а после обеда ее изменяем.

Она перезаряжает фотоаппарат, делает первый кадр.

— Что стало с заложником?

Она ждет, держа палец на затворе. Опускает аппарат, смотрит на переводчика.

Тот говорит:

— У нас нет иностранного спонсора. Иногда мы действуем старыми методами. Что-то продаешь, что-то обмениваешь. Всегда какие-то сделки. С заложниками — то же самое. Как с наркотиками, как с оружием, как с золотом, как с "Ролексами" или БМВ. Мы продали его фундаменталистам.

Брита задумывается.

— И они его удерживают, — говорит немного погодя.

— Кто же их знает, что они с ним делают.

1. По-арабски Абу Рашид значит "отец Рашида".
2. В Ливане — правая партия христианской общины и ее военизированные формирования.

Рашид подносит стакан к губам. Она видит, что его правая рука подрагивает. И, вскинув аппарат, начинает снимать.

Он ставит стакан на стол, смотрит прямо в объектив.

Говорит:

— Мао верил в реформирование мышления. Изменив основы природы какого-то народа, можно творить историю. Когда он это осознал? На пике своей мощи? Или в самом начале, когда был командиром партизан, когда с маленьким отрядом бродяг и преступников скрывался в горах? Если вы думаете, что я совсем сумасшедший, так и скажите.

Перегнувшись через стол, она фотографирует его.

Он говорит:

— Мао считал вооруженную борьбу высшим и величайшим деянием человеческого разума. Это финальная драма и финальное испытание. А если в борьбе падет много тысяч людей? Мао говорил: смерть может быть легкой, как перо, или тяжелой, как гора. Умираешь за народ и нацию — твоя смерть яркая, весит много. Умри за угнетателей, умри на службе у эксплуататоров и обманщиков, умри самовлюбленным и тщеславным — и улетишь по ветру, как перо самой маленькой птички.

Почти вся пленка истрачена.

Глядя в объектив, он говорит:

— Будьте абсолютно честны. Я хочу услышать от вас это слово, хочу услышать, как в конце концов вы назовете меня сумасшедшим. Живу в этой грязи и вони. Говорю с этими детьми каждый день, все время, повторяю одно и то же. Но, знаете, я верую в каждое слово. Эта комната — колыбель новой нации. А теперь скажите мне, что вы обо всем этом думаете.

Переводчик пьет, вытирает рот салфеткой.

— Он говорит очень понятно. Тоска по Мао захлестнет весь мир.

Типично мужская цветистая брехня. Но Брита ничего не говорит — что она может сказать? Дощелкивает пленку. Остается один кадр. Повинуясь внезапному порыву, она подходит к мальчику у двери и снимает с его головы мешок. Срывает, бесцеремонно бросает на пол. С ее губ не сходит улыбка. Она отступает на пару шагов назад. И фотографирует мальчика.

Она делает это, потому что считает нужным.

Мальчик реагирует не сразу. Медленно окидывает ее умным и презрительным взглядом. Нарочно демонстрирует, как ходят под кожей желваки. Он очень смуглый, в рубашке, к которой булавками пришпилен портрет отца. Взгляд смертоносный, другим словом не назовешь, — но одновременно спокойный, расчетливый. Он знает Бриту. Он хочет ей внушить, что много о ней думал, что взрастил в себе ненависть к ней. Волосы у него нечесаные, слипшиеся под мешком; он ненавидит ее не потому, что был ею унижен, но потому, что знает, кто она такая, и в его всеведении есть удовлетворенность, во взгляде — злоба. Вот что случается с душой, когда ее раны латают ненавистью и гневом.

Она видит по его глазам: решение принято, огонь запылал, предохранитель снят. Мальчик кидается на нее. Защищая фотоаппарат, она поворачивается к мальчику плечом. Мелькает мысль: “Ничего, через несколько секунд переводчик разнимет”. Мальчик изо всей силы толкает ее в плечо, тянется к фотоаппарату, Брита в ответ делает выпад локтем, промахивается, бьет мальчика по лицу.

Пауза — все задумались. Возвращаются мыслями к тому, что произошло. У Бриты бешено колотится сердце.

Она ждет, что мальчик в поисках объяснения посмотрит на отца. Но мальчик глядит только на нее: холодно, с новым презрением, с новым чувством превосходства, которое примешивается к обычной ненависти; она отрешенно наблюдает, как он опять готовится к нападению.

Абу Рашид что-то говорит. Опять повисает пауза. Переводчик повторяет его фразу, мальчик, помедлив, подбирает с пола свой мешок и уходит.

Брита неспешно укладывает аппаратуру в кофр. Слышит со двора, как мальчики хором декламируют урок. Ступая как во сне, чуть ли не выпорхнув из своего тела, она подходит к Рашиду и пожимает ему руку, представляется — и не просто представляется, произносит свое имя по слогам.

Внизу, прижав к груди бутылку с водой, стоит полутораухий проводник.

Брита остановилась в Восточном Бейруте, в квартире, принадлежащей приятелю приятеля. Гостиницы либо разрушены, либо разграблены, либо заняты сквоттерами, а квартира пустует уже больше года; в общем, она здесь живет, а в данный момент опять сидит на балконе. Час поздний; она поела, приняла ванну, прочитала в журнале статью о Бейруте — о чем еще читать, думать, говорить в таком месте? Спать ей, в сущности, не хочется. Впрочем, тут все равно спокойно не поспишь. Каждую ночь прерывистый лай автоматных очередей, с восточной стороны, совсем близко — постоянное неясное громыхание, точно сами горы глухо звенят. Порой раздается одинокий выстрел — кто-то решил расстаться с жизнью или два наркодилера не поладили; не нравится ей лежать в постели, когда в любую минуту может начаться пальба. Даже в тишине — а тишина время от времени наступает — Брита ловит себя на том, что придирчиво вслушивается в безмолвие, нервно ждет, когда возобновится грохот, такой, будто ящики спихивают по лестнице. И потому она в очередной раз выходит на балкон, полураздетая, мечтая окунуться в город с головой, почувствовать, как льнет к коже его пороховой воздух.

Она видит, как мерцающие огоньки, взлетая с берега, описывают над крышами длинные бесплотные дуги и исчезают в рваных облаках черного дыма, летящих по низкому небу. Под балконом проезжает фургон; люк на крыше открыт, из него высовывается кучерявый парень в переливчатом спортивном костюме, удерживая на плече реактивный гранатомет примерно семи футов в длину. Чувствуя себя — по крайней мере, в данный момент, — Фаллическим Властелином Леванта. Со всех сторон голоса — это радио, началась передача, когда слушатели звонят прямо в эфир, транзисторы притулились птицами на соседских балконах, радиослушатели говорят о Бейруте — других тем нет.

Ей хочется, чтобы город поглотил ее с головой. Чтобы на нее со всех сторон, как в суперсовременном кинотеатре, обрушивались необыкновенно мощные, усиленные компьютером впечатления.

Брита возвращается в комнату, обнаруживает бутылку дынного ликера "Мидори". Неужели такой ликер существует? Она видела его рекламу в аэропортах и дворцах конгрессов — в этих проходных дворах мира, но всегда считала ее пустой декорацией, яркой неоновой надписью, воссе-
дающей на линии горизонта. И вот ей попалась самая настоящая бутыл-

ка этого пойла в чужой брошенной квартире. Где еще, если не здесь? В том месте, которое по любым меркам находится за гранью реальности. Брита наливает себе немного, выходит со стаканом на балкон. Вдали ревут сирены. На стене здания напротив — наслоения граффити, толстые напластования имен, лозунгов и дат; даже в сумерках заметно, что Али 21 пробрался и в христианский сектор. Он присутствует здесь по-французски и по-английски, в виде свежих неуклюжих каракулей.

"Али 21 против всего мира".

Город озаряет краткая серебристая вспышка; разлетаются во все стороны, а потом гаснут раскаленные светлячки. Отовсюду взывают радиоголоса. Бейрут, Бейрут. Они берут ее в кольцо, наваливаются со зловещей настойчивостью. Люди звонят из подвальных бомбоубежищ: лица в тени, одежда потемнела от обильного пота, спящие дети свернулись калачиком, обняв свои военные игрушки. Помолись за всех заложников, спрятанных на черный день в кладовках и туалетах. Помолись за всех младенцев, лежащих в тряпичных гамаках. Помолись за всех беженцев, за всех их мертвецов и потерпи до конца артобстрела. Война, так ее и так, — очень простая штука. Лунная часть наших душ видит сны об опустошенных странах. Брита слышит голоса, перекликающиеся над городом, сровненным с землей. Бейрут — наш единственный язык.

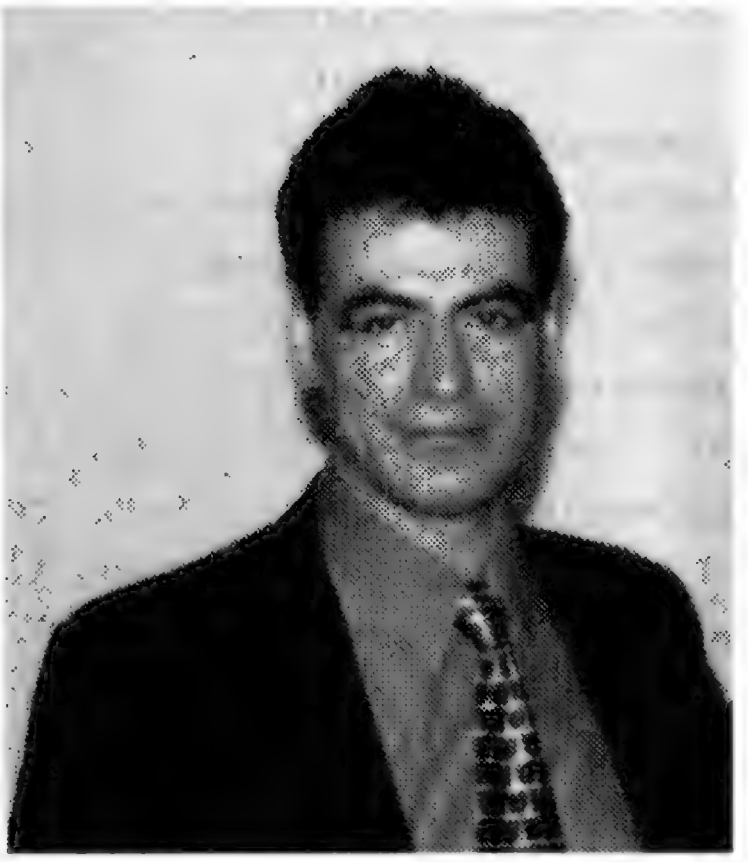
Она допивает зеленый пенный ликер и уходит в комнату — пора спать. Не позже семи надо собраться и отправиться в обратный путь. Хватит с нее Бейрута.

Примерно через час ее что-то будит. Она вновь выходит на балкон, говорит себе: "Держи ухо востро". Почти четыре утра; она чувствует, как земля содрогается под чем-то тяжелым, аж стонет. Перегнувшись через перила, видит: на ее улицу, изрытую лунными кратерами, из-за угла выезжает танк. Танк пыхтит, водит вверх-вниз стволом пушки. Брита чувствует, как мозг переполняется адреналином, но остается на балконе, ждет. Насколько она может судить, это старая советская "тридцатьчетверка", изгвазданный и израненный антиквариат, раз двадцать пять проданный и угнанный, сменивший много партий, режимов и религий. Никаких опознавательных знаков — разве только граффити, бессчетные слои надписей и картинок. Танк движется по улице, и она слышит голоса, видит, что за ним идут люди. Хорошо одетые мирные граждане — беседуют и смеются, два десятка взрослых, две дюжины детей, преимущественно девочки в нарядных платьях, белых гольфах и лакированных туфельках. Поразительно — кто бы мог подумать: это же свадебная процессия! Жених и невеста с фужерами в руках, кое-кто из девочек держит бенгальские огни, брызжущие восторженными искрами. Гость в бледно-салатовом смокинге, с длинной сигарой в зубах, огибает воронку, пританцовывая, и дети радостно визжат. У невесты красивое платье, лиф отделан аппликацией из атласа — невероятно, сколько в этой девушке жизни. Да и другие будто не отсюда — будто поднялись надо всеми границами и при этом ничуть не удивляются, что оказались здесь, среди руин. Поглядеть на них — словно бы так и надо, чтобы свадебная процессия во всем своем великолепии шествовала в сопровождении вольнонаемного танка. Горят бенгальские огни. У других детей в руках букетики из роз и папоротника. Брита вцепилась в перила. Подмывает пуститься в пляс, расхохотаться, спрыгнуть с балкона. Ей охотно верится, что она тихо приземлится в гуще процессии и вместе с ней дойдет в пижамной куртке и трусиках до самого рая. Танк проезжает прямо под ней, видна грубо

разрисованная турель, Брита ныряет в комнату, наливает еще стакан дынного ликера и выходит поднять тост за молодых, кричит им “Bonne chance” и “Bonheur”, “Good luck”, “Salám” и “Skål”, и турель начинает поворачиваться, и ствол медленно ходит туда-сюда, словно отпускает пошлые шуточки насчет медового месяца, и все смеются. Жених поднимает бокал, салютуя полураздетой иностранке на балконе верхнего этажа, и свадьба удаляется в ночь; замыкает колонну джип с торчащей из заднего окна безоткатной пушкой.

Слишком быстро все кончилось. Брита остается на балконе, вслушиваясь в последний шелест затихающих голосов. Пока еще темно; она чувствует, как холоден продымленный воздух. Впервые с момента ее приезда город погрузился в тишину. Она анализирует безмолвие. Смотрит, скользя взглядом по крышам, на запад. Там, в районе одного из главных КПП, что-то вспыхивает во мраке. Вторая вспышка — на том же месте. Затем — еще несколько, ослепительных, белых. Брита ждет вспышек с другой стороны, ответного огня, но все вспышки — в одной точке и беззвучные. Что же это может быть, если не начало первой на дню автоматной перестрелки? Конечно же, только одно. Там кто-то с фотоаппаратом. Брита еще с минуту остается на балконе, глядя на пульсирующий свет магнезии, наносящий изображения на полоску пленки. Съежившись от холода, считает вспышки беспощадного света. Мертвый город сфотографирован в очередной раз.

Луис Армента Мальпика



За спиной Бога

Фрагменты поэмы

Перевод с испанского А. Щетникова

α

Сотворив человека,
Бог укрылся за своей же спиной.
Земля его рук была единственной, однако существовали
и другие миры все еще необитаемых воспоминаний.
Этот человек был один среди одиноких вещей. Он расточал
себя,
создавая новые камни и деревья,
и не находил такой темноты, в которой свет мог бы пустить
свои корни.
Губы его не знали любви,
сердцевина зрачка оставалась слепой,
и глухая тоска умеряла инстинктивное желание
начинать день, ощущая кожей жизнь других людей.
Забвение кружилось среди птиц медленной смертью.
Компас крылатых песен ведет к началу всех слов,
и если ламии с их неосязаемыми позвонками отложат свои
личинки
в складках папируса, из них когда-нибудь зародятся драконы
и сирены.
Но описание царства жизни не создает жизни
без крупицы пыльной соли
на чистом листе. Без
небесного рангоута над волнами,

© Luis Armenta Malpica, 2003
© А. Щетников. Перевод, 2003

разбившего свой голос
о скалы безмолвия
и голода
(запоздалое забвение смерти).
В этот первый день прилива и отлива
Бог вылепил из глины фигуру,
которую он до того увидел во сне,
и поместил ее на свой престол, чтобы он не пустовал.
А потом он спустился на землю,
вышедшую из его рук.

β

Пихты. Тюлени. Снег.
Что это за место, в котором находился Бог,
а все вокруг лежало в белом безмолвии,
словно облака, оставшиеся
где-то вдали?
Волны назывались Атлантидой,
однако человек не мог произнести это слово
без того, чтобы не ощутить
тайного холода рыб. Острых шипов
в венах. И казалось, что рифы его зубов
покрыты мхом.
Что это за место, в котором нет бога,
а человек идет по его следам?

γ

Человек нарекает сущее действием веры:
он решился произнести имя морей,
и тотчас все покрыла буйная зелень,
пальмы взмыли в небо,
и память об Атлантиде умчалась на дальние скалы.
Дымный столб веры вознесен милосердием
от истока воды и до последнего стока ее.
Омовение этого мира
не коснулось еще его губ.
Он молчит о том, что хотел бы сказать,
потому что еще никогда не любил.

ε

Сумеет ли этот бог узнать о том,
что свет напоминает его глазам?
Древняя жажда,
рыбья луна в окружении странствующих облаков,
оставивших давно позабытое царство,
и слова, громыхающие непрестанно, как обвал
непрочной земли, не принесут утешения —
только то, что пронзит его кости
вопреки его собственной крови:
Вавилонская башня
отринутого
слепым человеческим облаком

черной ночью этого мира.
Забвение сокрушает
человека и его память.

ζ

“Во рту моем рыба, — сказал он,
обращаясь к тем, кто услышал море внутри, —
она обитает в блестящей слюне языка,
в отзвуках, которые оставили в памяти
слова благодарности
за то, что свет находит приют
на дне моих глаз,
за то, что воздух полнит легкие
другими
сокровенными
рыбами.
Жизнь скрывается в этих морях:
слово “время”
набегает волна за волной
с жаждой паукообразных
и замирает перед зубами,
пережевывающими тишину моего жилища.
В округлых песнях, отшлифованных снами,
возникает рыболовный крючок, китовая кость,
крест, на котором будет распята рыба,
упомянутая в начале.
Ибо я сказал,
что она умирает”.

η

А еще одну смерть не упоминает никто.
(Назвать бы нежностью
эту погоню за плачем, изрывшим морщинами тело,
назвать бы, беззвучно, предельным отсутствием
это ощущение вечного взмаха крыльев в наших руках,
эти жабры Бога,
который не может дышать
на земле.)
Смерть — это когда на глазах
или живых губах не запечатлен ни один поцелуй.

ι

Достаточно произнесенного слова,
чтобы ночь заполнилась сладкими водами
(вот полыхают огни,
мы их зажжем молодыми,
и мебель переболеет без нас
горькой душистой золой).
Достаточно далекого слова,
произнесенного поверх языка
(чистое присутствие веры —

и время начнет выходить косяками
из ныне бесплодного горла).
Достаточно единого слова
и ударов неподкупного сердца
(как если бы под пальцами Бога
был слышен пульс человека).
Слова, обращенного к нам
на ощупь
(изустно).

V

За спиной у Бога рождаются дети.
Рядом с мужчиной — женщины.
Рыбий рот у него
и птичьи глаза.

Ну а музыка берет свое начало в снах
влюбленных, когда они засыпают,
обняв друг друга.

ρ

Бог все время размышляет о людях,
созидающих друг друга
своей любовью.
И не чувствует себя — Богом.
Все, что он создал, оказалось призрачным.
Так
могло бы
ощутить себя
разбитое
зеркал
о.

υ

Когда Бог поверит в то, что он — Бог,
он перестанет быть человеком.

φ

Эфемерное
бытие бога —
вечное
мгновение
человека.
При ударе в бок
в его глазах
прорастают две розы,
и стынут в крови
крики стервятников,
почуявших близость поживы.
Бог живет, чтобы родиться среди людей,
чтобы они, глядя на его
изъязвленное тело,

видели красные цветы
и отгоняли птиц
на последнем рубеже его жизни.
А другие люди, с коршуном на плече,
не поверят в цветы, потому что на небе
не будет солнца.
Да озарит их ночная тьма!
Подобно цветам,
человек расточает свой запах,
когда умирает.

χ

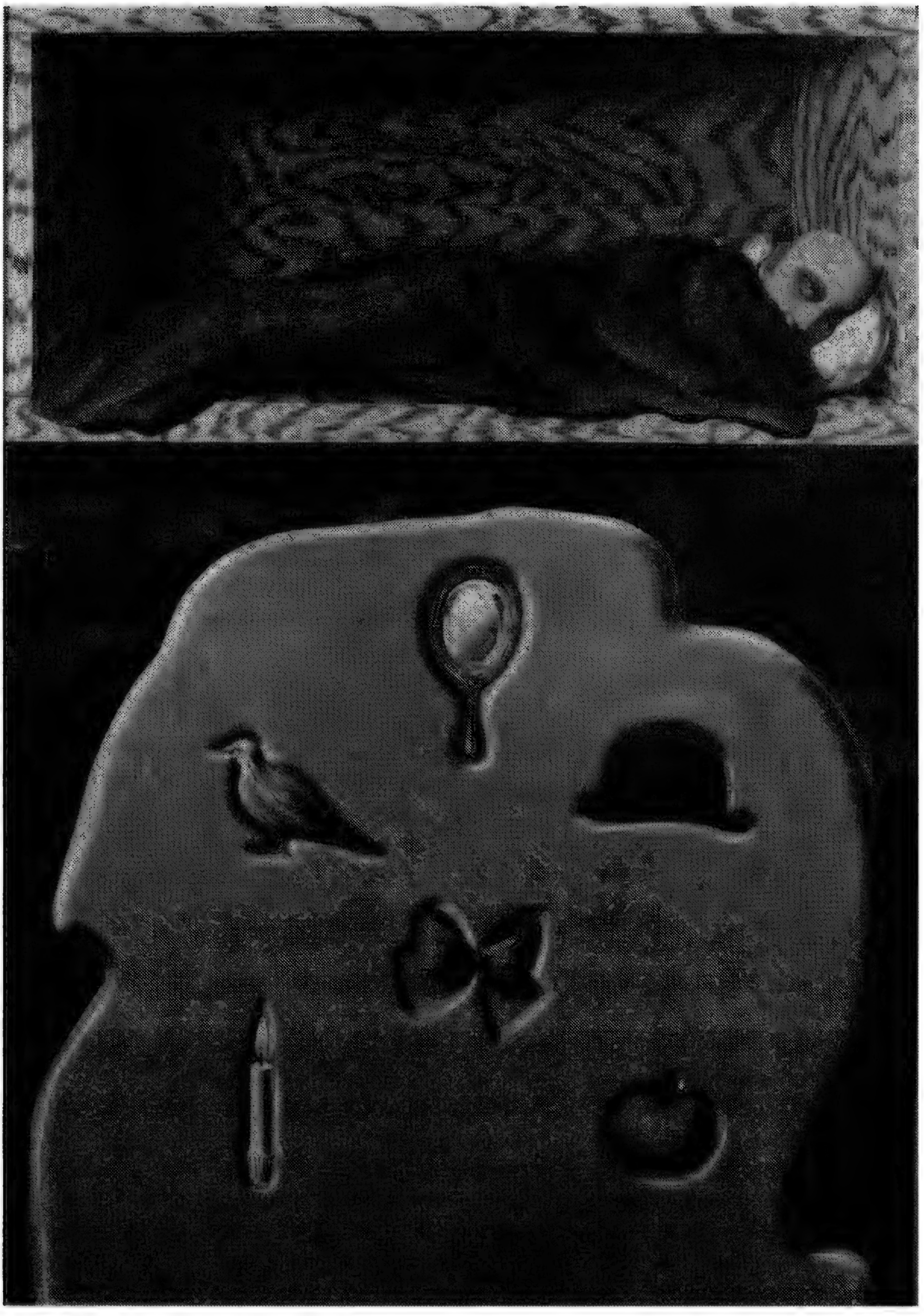
Посвящается Антонио Порчья

Слезы польются рекой
у того, кому случилось заглянуть в глаза
этого Бога,
в бескрайнее море безвестных
воспоминаний.
Множатся скорби его, затмевая собою
тех, кто предался жалкой телесной любви
и под покровом ночной молитвы
скрылся от гнева
и грозы.
А они посылают своего бога к проклятому дьяволу,
чтобы распять его множество раз.
Для человека крест —
это форма обнимающего его
любимого существа.
Бог удостоверяет этот факт
и смеется.

ψ

Чтобы доказать свое несуществование,
Бог стал человеком.
И пробудил в человеке стремление к свету.
Он погасил свой огонь, возжегши другую лампаду
среди одиночества, снов и неизбывной тоски.
Повернули назад следы на снегу Атлантиды.
Он вернулся сюда с пустыми кулаками, чтобы
охранять то, что в них было раньше:
зарождающийся
проблеск
его голоса
на земле.
Одному лишь Богу дано сохранить чистоту.

“Уснуть и видеть сны...”



В “Литературном гиде” использованы работы М. Дени, А. Джакометти, Г. Климта, Г. Моро, Р. Магритта, М. Эрнста

Роже Кайуа

Чары и проблемы снов

Онейрический образ
Образ претерпеваемый и завораживающий

Перевод с французского С. Зенкина

Философы Востока и Запада – Чжуан-цзы и Шанкара[1], Декарт и Лейбниц – с примечательным постоянством и разнообразием изобретали для различных целей хитроумные и порой убедительные доводы, стремясь показать, сколь трудно, а то и вообще невозможно, отличить сон от яви; а между тем любой из нас убежден, что наилучшим образом осуществляет эту банальную операцию каждое утро при пробуждении, без всякого труда и даже о том не задумываясь. Далее, наряду с этими учеными рассуждениями небесполезно будет напомнить, сколь много пользы и свободы самое существование снов всегда давало писателям – лучшим и худшим из них, от Библии до романа-фельетона. В данном случае это скорее второстепенные литературные приемы, но их постоянство и действенность по-своему показательны.

С другой стороны, известны сонники, традиция которых восходит к самому началу исторических времен. Специализирующиеся на них (и не только на них) издатели продолжают печатать старые сонники и публиковать новые. Кроме того, толкование сновидений получило и наукообразную, под стать нашей эпохе, форму: будучи обновлено психоанализом, оно все более процветает, а вместе с ним и вообще интерес к снам, к их нередко завораживающему действию. Это значит, что связанные с ними проблемы – не из тех, что порождаются преходящими обстоятельствами и исчезают вместе с ними. Моя задача – попытаться выяснить истоки и причины столь настойчивого преимущества, которым они пользуются.

I

С самой глубокой древности людям казалось, что образы сновидений скрывают в себе таинственный и вместе с тем доступный смысл, который умелый толкователь способен прояснить. Отсюда – бесчисленные сонники, то есть словари для дешифровки их странных, озадачивающих сообщений. Один из таких сборников относится к Древнему Египту XII династии, то есть ко второму тысячелетию до нашей эры. В Индии шестьдесят восьмой из стихотворных трактатов (pariçishta), дополняющих собой "Атхарваведу" и датируемых обычно V веком до христианской эры, озаглавлен "Трактат о сновидениях". Он опирается на другой, еще более древний трактат, который носит такое же название и содержит целый каталог предзнаменований, скрывающихся за пе-

© С. Зенкин. Перевод, 2003

1. Шанкара (ок. 788–820) – индийский философ и поэт, религиозный реформатор. (*Прим. перев.*)

переживаемыми во сне событиями. А.-Л. Оппенгейм опубликовал и перевел неовавилонский сонник, найденный в Ниневии среди табличек, известных под названием Библиотеки Ашшурбанипала (669 – ок. 633 гг. до н. э.). Не раз переиздавался и адаптировался сонник Артемидора из Далтиса. Вся эта литература отличается странным однообразием.

Сновидение есть нечто запутанное, смутное, неясное. Сонник закономерно вынужден вычленять из него какие-то отдельные происшествия, единичные элементы. И вот начинает тянуться нескончаемый перечень. Произвольные примеры из вавилонского сонника: "Если ест мясо медведя – к восстанию; если ест мясо обезьяны – к завоеваниям; если ест обычное мясо – к спокойствию духа; если ест смолу – к огорчению; если ест нефть – к беспокойству духа..." И так далее без конца. Потом новые ряды перечислений: "Если ему подают... если режет... если берет... если носит..." Приняв общий принцип, уже невозможно остановиться.

Другие сонники, разделенные веками и географическими широтами, ни по сути, ни по изложению почти не отступают от этой, видимо, незыблемой традиции. Вот еще один, последний, пример из "Сушрутасамхиты" (Индия, ранее IV в. до н. э.), потому что он более всего отличается от популярных сонников, как таблица соответствий – от психоанализа, хоть это и отрывок из труда по медицине.

Сновидения, предвещающие смерть

Буду говорить о снах, связанных со смертью и здоровьем; о снах, которые может видеть и сам больной, и его друзья:

Тот, кто, натерши тело маслом, направляется к югу вместе со слонами, хищниками, ослами, вепрями или быками;

тот, кого черная встрепанная женщина в красном платье ведет связанным, усмехаясь и подпрыгивая, к югу;

тот, кого спутники увлекают к югу или кого на прогулке окружают покойники;

также и тот, кого внезапно схватят люди с изуродованными лицами и собачьими лапами, кто пьет мед или масло, кто садится в грязь или же, измазавшись в грязи, машет руками или хохочет;

тот, кто ходит без одежды с красным венком на голове или у кого из живота вырастает тростник, бамбук или пальма;

тот, кто проглочен рыбой или же проникает в тело своей матери, кто падает с горы или в темную расщелину;

тот, кто унесен потоком, кто потерял свой священный шнур[1]*, кого окружают и опутывают вороны или иные зловещие птицы – все они погибнут,*

тот, кто видит, как падают звезды и иные светила, как гаснет лампа или как вырывают глаз; кто видит, как дрожат изображения божеств или же земля;

тот, у кого рвота, понос или же выпадают зубы, кто карабкается на куст хлопчатника или же на какое-то иное дерево в цвету[2]*, кто взбирается на муравейник, на погребальный костер или на искусственный столб;*

тот, кому подают или кто ест хлопок, жмых, железо, соль, кунжут, вареную пищу или же пьет крепкие напитки, ВСЕ ОНИ ЕСЛИ ЗДОРОВЫ, ТО ЗАБОЛЕЮТ, А ЕСЛИ БОЛЬНЫ, ТО УМРУТ[3].

1. Атрибут касты брахманов, который ее члены должны постоянно носить на себе. (*Прим. перев.*)
2. В тексте упоминаются санскритские названия растений Butea frondosa, Eryphrina fulgens и Bauhinya variegata. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. авт.*)
3. Sources orientales, II, Les songes et leur interprétation. Paris, 1959, p. 223–224.

В этих материях человеческий ум проявляет себя странно-консервативным. Думается, что это закономерно. Действительно, задача определяется самой человеческой природой и мало поддается переменам. Нет ничего, ни бессмыслицы или чуда, ни противоречия, которых нельзя было бы увидеть во сне, причем практически исключено, чтобы хоть малая часть этих небывалых вещей осуществилась в реальности. Следовательно, толкователю приходится сводить их бесконечную множественность к небольшому числу событий, которые почти наверняка бывают у каждого на протяжении его недолгой жизни: к таким событиям, как встреча, болезнь, прибыль или убыток, неудача или успех, в предельном случае богатство или разорение, путешествие, любовь, не говоря уж о самом неизбежном из всех — смерти. Всякое искусство гадания — хиромантия, астрология или какое угодно еще, а равно и толкование снов — вынуждено проходить сквозь эти узкие врата: сводить бесчисленные исходные данные, ничем не ограниченные в своей причудливости, к какой-нибудь дюжине приключений, почти обязательно случающихся в жизни с каждым. Это беспроигрышный рецепт. Ибо при первом же совпадении всякий оказывается поражен тем, как сумел толкователь прочесть в непроницаемой загадке предвестье судьбоносного события, которое как будто бы ничто не позволяло предвидеть — за исключением, правда, статистики. Во всяком случае, факт состоит в том, что уже около четырех тысяч лет перечни соответствий между образами снов и их значениями не перестают пользоваться успехом. В наши дни, в куда более гибкой форме и с помощью научного словаря, их традицию продолжают психоаналитические толкования, отвечая на ту же самую древнейшую потребность.

Множество снов, объясняемых пророками, встречается в Библии. Таковы, например, сны Навуходоносора или Фараона. В послебиблейской литературе возникает мысль о том, что сам по себе сон неважен, а существенно толкование, как действенно-эффективное предвестие, оказывающее влияние на реальность. "В Иерусалиме было двадцать четыре толкователя снов. Однажды случилось мне увидеть сон, и я обошел одного за другим всех толкователей. Каждый дал свое, отличное истолкование, и все они осуществились во мне, ибо сказано: сон следует устам толкователя"[1]. Существуют рассказы-примеры, демонстрирующие истинность этой доктрины и говорящие о ее богословском обосновании.

Сон о проломленной житнице

К равви Элиезеру пришла женщина и сказала: "Я видела во сне, что в житнице дома моего открылся пролом". Он отвечал: "Ты зачнешь сына". Она ушла, и так и случилось. Вновь приснился ей такой же сон, и она рассказала его равви Элиезеру, и тот дал такое же толкование, и так и случилось. В третий раз приснился ей такой же сон, и она пошла к равви Элиезеру. Не найдя его, она сказала его ученикам: "Я видела во сне, что в житнице дома моего открылся пролом". Те отвечали: "Ты похоронишь мужа". И так и случилось. Удивленный ее стенаниями, равви Элиезер спросил, что стряслось. Ученики рассказали ему. Он вскричал: "Несчастные! вы убили этого человека! ведь писано же: И как он истолковал нам, так и сбылось". (Бытие. 41. 13.)

И равви Иоханан заключает: "Всякий сон важен лишь своим истолкованием"[2].

1. BERAKHOT, 55 B. См. Georges LEVITTE et Guy CASARIL. Les rêves et leurs interprétations dans les textes post-bibliques. *Evidences*, n° 82, mars 1960, p. 18–28.
2. *Midrach*, Gen. R. LXXXIX, 8. LEVITTE et CASARIL, *art. cit.*, p. 20.

Действительно, если бы осуществлялись бессвязные и мимолетные образы сновидений, то пришлось бы предположить, что они способны предвещать или предрешать непредсказуемое будущее. Если же, напротив, осуществляются их истолкования, то, чтобы допустить и понять это, достаточно вспомнить, что люди легковерны и поддаются влиянию, а сверх того еще и тщеславны, ведь приятно воображать себя предметом пророчества или сверхъестественного предвестия. Вполне вероятно, что по сходным причинам и психоаналитические откровения наших дней обладают столь же исключительной силой внушения для пациентов.

II

Второй ряд проблем связан с взаимодействием яви и сна, с их противоположностью, иерархической соотнесенностью, возможной взаимосвязью. При этом вопрос ставится о том, что значат уже не образы снов, а самый факт сновидения. Мир сна — это другая вселенная; является ли она более реальной, одинаково реальной, менее реальной, чем мир яви?

Нередко утверждалось, что так называемые первобытные народы не различают сон и явь. Думаю, такое мнение требует уточнений: они прекрасно знают, что есть сон и что есть явь, но придают увиденному во сне не меньше реальности, чем пережитому наяву. Иногда, под более сильным впечатлением от сна, они приписывают ему больший вес, чем простому и заурядному восприятию вещей, и полагают, что он свидетельствует о какой-то высшей реальности. Иначе говоря, различение проводится, но отсюда не следует, что сон кажется чем-то иллюзорным, а явь — бессомненной. Может даже статься, что сон считается превосходящим явь по плотности существования.

Значительность и убедительность сна вызваны впечатлением, которое он производит. Сон, не взволновавший человека, быстро забывается; это пустая и легковесная фантасмагория, которая возникает и тут же рассеивается, бесследно исчезает, сколь бы пышным ни был ее мгновенный расцвет. Но если с его образами, быть может даже и малоинтересными, связывается в сознании чувство тревоги или жизненной полноты, ум начинает неустанно искать тайную причину своего собственного расстройства. Он угадывает в нем некое предостережение, пока еще двусмысленно-невнятное откровение, некий оклик, предвещающий угрозу беды или же обетование необыкновенной судьбы.

Примечательнее всего, что переживаемое чувство остается независимым от образа, который, казалось бы, стал его причиной. Какая-нибудь сцена, которая наяву показалась бы заурядной, забавной или смешной, во сне вызывает у сновидца содрогание. А раз так, то он должен выяснить причину этого страха, предмет которого как-то саркастически скрыт. Отсутствие всякого объяснения наводит на него беспокойство и трепет. И наоборот, бывает, что зрелище в принципе отвратительное, ужасное или возмутительное связывается с состоянием восхищения или блаженства, показывая, что его не следует воспринимать буквально и что оно, напротив, означает какой-то большой успех, странную и драгоценную милость судьбы.

Контраст, во всяком случае разлад между образом и сопровождающим его чувством и составляет отличие сна от яви, где одно всегда согласуется с другим, ибо чувство вытекает из самого зрелища, а не прибавляется к нему извне какой-то неясной, своевольной, опасной силой. Сила сновидения в

том, что оно требует объяснения, продолжения, чуть ли не осуществления. Как только оно вступает в соперничество с реальностью, то сразу же оказывается выше нее, и изначально человек склонен оспаривать именно реальность, так как ее банальная непрерывность поражает его меньше, чем чудеса сновидений, — по крайней мере, всякий раз, когда они своим гипнозом вызывают в его сознании неотвязное беспокойство и недоумение.

Скорее всего, у власти снов и нет другого секрета. Из этой власти вытекает несколько следствий, прежде всего то, что события сна кажутся не менее правдивыми, чем события яви. Все увиденное во сне считается достойным веры. Пробудившись, человек считает естественным призывать к ответу друга или соседа, который во сне вел себя с ним враждебно или угрожающе, нанес ему какой-то вред или оскорбление. Тот, бедняга, знать ничего не знает, однако же вынужден допустить, что в своем собственном сне и впрямь мог, сам того не ведая, провиниться тем, в чем его упрекают. Отпираться бесполезно. Чем можно опровергнуть несомненность ощущений?

Парагвайский индеец увидел во сне, как миссионер У. Б. Крабб крадет тыквы у него из огорода. В ту ночь миссионер Крабб находился в ста шестидесяти километрах от деревни, где жил сновидец. Но этот довод совершенно не разубедил последнего: он же *видел*, как миссионер срывает и уносит тыквы. Другому приснилось, что тот же самый миссионер, обвиняя его в каком-то преступлении, стреляет в него из ружья. Счастливо избежав гибели, но опасаясь нового покушения, он на следующий день попытался убить У. Б. Крабба.

Точно так же туземец с острова Борнео увидел во сне, что жена изменяет ему. Отец жены увел ее, чтобы ей не пришлось платить пеню, обычно налагаемую на неверных жен. Свидетельство сновидца перевешивает любые отговорки и заверения. Одному человеку приснилось, что другой человек, которого он знал и назвал, ударил копьем его тестя. Тесть действительно болел, но явно не от удара копьем; во всяком случае, у него не было никакой видимой раны. Не важно: понятно же, что копье из сновидения наносит незримые раны. Тому, кого обвинили, осталось лишь искать защиты у властей[1]. Он сам не отрицал своей вины, ведь он не мог быть уверен, что его "душа" не совершала поступков, пока он спал, в сновидении, которого он не помнит.

Такое объяснение, весьма широко распространенное, было точно замечено уже миссионерами XVII века у индейцев Новой Франции[2]: "Не в силах уразуметь, каким образом действует душа во время сна, когда она являет им удаленные или вовсе отсутствующие предметы, они воображают, будто она покидает тело, пока оно спит, и сама направляется к предметам сновидения, в те места, где они их видят, а к концу ночи, когда сны рассеиваются, возвращается в свое тело[3]".

Аналогичные представления отмечались у эскимосов с берегов Гудзонова залива, в Африке и Австралии. Когда сон противоречит яви, он считается более истинным, чем она. Х. Кэллауэй сообщает о случае с зулусом, которому приснилось, что друг питает против него дурные помыслы. С тех пор он стал его избегать. Он больше доверял открывшемуся во сне, чем реаль-

1. Henry Ling ROTH. *The Natives of Sarawak and British North Borneo.* London, 1896, I, p. 232.
2. Французские владения в Канаде XVII–XVIII вв. (*Прим. перев.*)
3. *Relations des Jésuites dans la Nouvelle-France*, LIV (1669–1670), p. 66. Цит. по: L. LEVY-BRUHL. *La Mentalité primitive.* Paris, 1933, p. 104. Большинство используемых примеров заимствуется из этого труда, а также из других сборников этого автора: *La Mythologie primitive.* Paris, 1935, и *L'Expérience mystique et les symboles chez les primitifs.* Paris, 1938.

ному опыту дружбы[1]. Еще дальше заходят ирокезы: "В сем вопросе их религия достигает сугубой тщательности: что бы им ни примнилось во сне, они полагают себя совершенно обязанными это выполнить как можно скорее"[2]. Если кому-то из них приснится, что он убивал французов, то, как писал в 1626 г. о. Лалеман, первый, кто встретится ему в безлюдном месте, в высшей степени рискует быть им убитым.

Не обязательно даже, чтобы сновидец сам что-то делал; ему достаточно присутствовать при том, что совершают другие. Чтобы реальность точно повторила сон, идут на все: "Не так давно один человек из селения Ойогоэн увидал ночью во сне, как десять мужчин ныряют в замерзшую реку, погружаясь через одну прорубь во льду и выныривая через другую. Пробудившись, он первым же делом приготовил большой пир и созвал на него десятерых друзей. Все они пришли, и было много радости и удовольствий... Тут он рассказал им свой сон, чем их, однако, отнюдь не удивил, ибо они незамедлительно вызвались его исполнить. Итак, все направились к реке, стали колоть лед и пробили в нем две проруби на расстоянии пятнадцати шагов одна от другой. Ныряльщики разделись, и первый из них проложил дорогу остальным: прыгнув в одну прорубь, он весьма удачно вынырнул из другой; так же сделали и второй, и все остальные, вплоть до десятого, который и заплатил за всех, ибо не смог выбраться и жалким образом погиб подо льдом"[3].

Как явствует из этих примеров, сон представляет собой не просто предвестие реальности, но и своего рода долг перед нею, от которого надо как можно скорее освободиться, чтобы в ткани событий не образовалась неустранимая трещина, способная вызвать смерть того, кто видел сон. Гуроны, предвещая будущий психоанализ, полагали, что в сновидениях проявляются тайные желания человеческого сознания и что неудовлетворенное желание не менее злотворно, чем яд или кислота, которые неумолимо продолжают свое незримое действие: "И вот они верят, что душа наша дает знать о своих природных желаниях как словом, так и сновидениями; оттого, когда эти желания осуществляются, она довольна; и напротив, ежели не дать ей желаемого, она возмущается; и не только не доставляет своему телу благо и блаженство, какое желала ему доставить, но нередко даже восстает против него, причиняя ему всяческие недуги и даже смерть"[4].

Таким объяснением соблазнительно злоупотребить. Вместо того чтобы с трудом исполнять настоящее сновидение, которое может и не принести никакого удовлетворения, выгодно придумать сон, в котором ты якобы видел то, чего на самом деле желаешь и что запретно, дабы тем самым заранее оправдать проступок или преступление, которое тебе хочется совершить. Малоазиатские курды, когда им приснится какой-нибудь дорогостоящий предмет, тут же заявляют, что обязаны завладеть им "силой оружия, путем убийства или грабежа", а если им приснился враг, то это для них знак, что они должны спешно его уничтожить и разграбить его имущество[5].

1. H. CALLAWAY. *The Religious System of the Amazulu.* Natal, 1868, p. 164.
2. *Relations des Jésuites, ibid.*, p. 96. Ср. LI, 1666–1668, p. 124: "Все, что им приснится, должно осуществиться".
3. *Relations des Jésuites*, XLII (1655–1656), p. 150–152.
4. *Relations des Jésuites*, XXXIII (1648–1649), p. 188–190. Ср. LIV (1669–1670), p. 100: "Они убеждены, будто для исцеления [от недуга] и спасения жизни нет лучшего средства, чем сделать все, что они видели во сне".
5. Abbé J. TFINKDJI. *Essai sur les songes et l'art de les interpréter en Mésopotamie. Anthropos*, VIII, 1913, p. 506–507.

В предельном случае человек оказывается вынужденным исполнять сон, в котором его увидел кто-то другой. По свидетельству Г.-В. Штеллера, на Камчатке достаточно было заявить, что тебе приснились милости какой-то девушки, чтобы действительно их получить. Она умерла бы, если бы не сделала так, чтобы реальность заплатила долг перед сном[1].

Примечательно, что во всех этих примерах никогда не встает вопрос об истолковании снов, о проникновении через составляющие их образы к их скрытому значению. Сон воспринимается буквально. Нужно аннулировать или же исполнить его (одним и тем же способом), сделав так, чтобы он не остался бездейственным предзнаменованием, пустой угрозой, напрасным пожеланием, иначе этот образ, нагруженный высшей опасной властью, сам осуществится в реальности и тем исчерпает свою волшебную силу.

В такой ситуации сон — это не предсказание, а предписание; не предвестие, а принудительный прообраз будущего. Человек, видевший сон, а также и весь мир в целом обязаны соответствовать этой чарующей фантасмагории. Поэтому так важно перед войной видеть во сне победу, перед охотой — добычу, перед игрой — выигрыш. Человек намеренно изводит себя постом и бдением, пока у него не возникнут галлюцинации, на которые спроецируется его желание. Видения сна, в который упрямец впадает от истощения сил, скорее всего и не могут продолжать собой иные образы, кроме образов его вожделения. Тем не менее сновидение приносит ему уверенность, в которой он нуждается. Он не подозревает, что посещающие его видения порождены самой истовостью его упований. Он убежден, что эти не подвластные ему образы приходят к нему извне, возникают вне его и ему адресованы, что это обетование, которому он может доверять. Сон гарантирует собой будущее и в то же время предстает как награда за заслуги и жертвы, за ревностное благочестие. В самом деле, это уже не пассивно получаемая милость случая, а ожидаемое, чуть ли не принудительное явление высшей силы, с которым в дальнейшем будет покорно сообразовываться реальное событие, словно запоздалый и неизбежный снимок.

Тем самым сон дает человеку во мраке неоформленного бытия некое настоятельно властное видение, облеченное сверхъестественной мощью в силу своего таинственного происхождения. Откровение, возникающее из снов, — это дубликат реальности, возникающий до нее и обязательной для нее. Оно устанавливает реальность в том виде, в каком она должна сбыться. Будущее неведомо, множественно, неопределенно. Увиденное во сне, оно становится незыблемым. В этом сила сна: он подчиняет себе реальность. Слабость же его в том, что любому обманщику ничего не стоит объявить себя обладателем бесценного дара, возникшего в средоточии недоступных тайн — в сознании спящего. Хорошо бы уметь контролировать, регистрировать образы сновидений. И действительно, там, где сон служит одной из основ политической власти, он, по природе своей подозрительный, мимолетный, баснословный и не доказуемый никаким свидетельством, начинает превращаться в социальный институт. Регламентируется его применение, тщательно очерчиваются пределы его компетенции. Повсюду, где отмечается практика инкубации[2], она сопровождается точно разработанным ритуалом. Вступая в святилище, кандидат подвергается очищениям,

1. G. W. STELLER. *Beschreibung von dem Lande Kamtschatka.* Frankfurt und Leipzig, 1774, S. 279;
2. Инкубация (*лат.*) — обряд ночлега в храме с целью увидеть вещие сны. (*Прим. перев.*)
LEVY-BRUHL. *Mentalité primitive*, p. 116.

он находится под руководством и надзором опытных служителей, которые обладают также исключительным правом удостоверять подлинность посылаемых богами образов. Кроме того, не все сны обладают равной силой. Высшая ценность придается снам повторяющимся, посещающим одновременно нескольких спящих или же оставляющим по себе какую-либо значимую реликвию, а тем самым подтвержденным, удостоверенным, упорядоченным. Такие сны утверждают избранника в социальной должности, дают ему власть целить, карать, кормить, вести священную пляску, отправлять литургию, воссоздавать вживе древний миф, произносить сакральные генеалогии[1]. Они являются наследственным достоянием; повторяясь из поколения в поколение, одни и те же сны подкрепляют и увековечивают связь всего рода с незримым, доставляющую ему титулы и действенное превосходство.

Начиная с этого момента сновидение служит фактором легитимности. Зато оно уже не имеет ничего общего с цепью бессвязных, стремительных, непредсказуемых призраков, одолевающих сновидца. Скорее оно выполняет функцию родового талисмана, чьей власти многие завидуют, так что его, пожалуй, можно продать и купить, а то и выиграть или утратить в результате пари, аукциона, сражения.

III

Как мы видели, потребность в толковании снов, в раскрытии их символического смысла, склонность рассматривать их как загадки обладают примечательным постоянством. Эта потребность сочетается со стилем, стремлениями, привычками любой культуры. Она возникает из века в век во все новых, но всегда привлекательных формах, как будто людям крайне претит считать лишенными смысла те образы, которые, кажется, столь настоятельно требуют от них понимания. Точно так же неистребима и параллельная ей озабоченность взаимоотношениями сна и яви, требующая сравнивать их по ценности и своего рода онтологической плотности. В данном случае задача – не расшифровать тайное послание, а с надежностью отличить реальное от воображаемого, решающе важное от малозначительного. И при этом сны, легко поражающие человека, почти неизбежно получают преимущество над монотонностью повседневного быта.

Эти буквально-фотографические отражения еще не бывших сцен как бы заколдовывают реальность и заставляют ее в нужный момент совпасть с той картиной, которая через них открылась спящему и является одновременно причиной и следствием этой реальности, ее образцом и двойником.

Переживаемая субъектом растерянность вызвана порой грозящим, а порой и действительно происходящим соперничеством между восприятиями яви и образами сна. Он не знает, чему доверяться. Ошеломляющий образ не обязательно является самым прочным и правдивым. Субъекту изве-

1. L. LEVY-BRUHL. *Mythologie primitive*, p. XXIII-XXV. В статье E. W. Gifford, Yuma Dreams and Omens, *Journal of American Folklore*, XXXIX, 1926, постоянный информант объясняет этнографу ошибку одного из своих соплеменников, неточно излагающего миф, тем, что тот не видел его во сне. Об ответственных социально-политических решениях, имеющих источником сновидение, см. L. LEVY-BRUHL. *Expérience mystique*, p. 111–113. В племени хуичолов (Мексика) специально назначенный сновидец выбирает новых управляющих лиц. В Бразилии индейцы тупа-инба решаются начать войну только после благоприятных снов и т. д.

стно, что иные такие образы, поражающие словно молнией, так же и недолговечны, как молния, исчезая вместе с вызванным ими ослеплением. С другой стороны, ясно ведь, что в этой области сила шока, внезапного и необъяснимого озарения неизбежно обладает, по крайней мере на время, своего рода суверенными правами, сразу же затмевая робкие притязания заурядной реальности, которая в конце концов побеждает лишь в силу обычая.

Когда на чашах весов оказываются факты сна и яви и сознание в испуге не решается сделать между ними выбор, то из этой неразрешимой дилеммы возникает ряд затруднений. Смятение, в котором, по-видимому, оказывался на заре истории человеческий дух, колеблясь между удивительными видениями снов и скучно-неизменной обстановкой, вновь возникающей при каждом пробуждении, находит себе причудливое продолжение в чрезвычайно сложной литературной традиции. Своими выдумками писатели словно омолаживают сомнения далеких предков. Во всяком случае, одно соответствует другому с необыкновенной точностью. Как часто случается, вместо тревоги появляется игра, вместо неотвязно преследующих образов — прелесть вольной фантазии. Проблемы остаются теми же, просто переходят в иной регистр: eadem in alio[1]. Попытаемся перечислить основные из этих вечных вопросов.

Во-первых, кто действует во сне? Личность спящего оказывается захвачена каким-то двойником, который живет совершенно неподконтрольно и независимо, но так, что до некоторой степени вовлекает в свою жизнь и его самого. Бывает, что этот персонаж заменяет, продолжает его собой, разделяет его заботы, привычки и вожделения, но бывает и так, что своим поведением он поражает его и ставит в тупик. Порой сновидец ощущает себя внутри своего ночного двойника: его глазами он видит или его руками касается других персонажей сна. А порой он лишь смотрит, как его отражение само движется среди них. Он с содроганием или равнодушием следит за его поступками, совершающимися вне его, словно на сцене, на экране или же по ту сторону зеркала.

Во-вторых, можно ли принести с собой из мира снов какой-нибудь предмет или шрам на теле, какой-нибудь стигмат или залог, который удостоверял бы их реальность, нечто веско ощутимое, что оставалось бы после того, как рассеется фантасмагория, подтверждая существование мира, куда она вводила?

Человек во сне просыпается, вернее, ему кажется, что он проснулся, а на самом деле ему продолжает сниться сон и еще предстоит проснуться — то ли по-настоящему, то ли иллюзорно, как и в первый раз, так что сновидца переносит из сна в сон, из пробуждения в пробуждение, и он никогда не уверен, что достиг истинного пробуждения, которое вернет его в мир реальности.

Мир повседневного быта порой предстает простым удвоением мира снов. Получив доступ в царство правдивых образов-предзнаменований, спящий видит, как перед ним развертываются события, которые реальность вскоре должна будет воспроизводить или имитировать. Мир яви следует и повинуется им, согласуется с ними через более или менее длительное время. Необъяснимым, неизбежным, неумолимым образом он точно повторяет сцены, увиденные во время снов, как будто сам он не более чем отсроченное осуществление этих образов, неспешно, но не-

1. То же самое в другом (*лат.*). (*Прим. перев.*)

пременно возникающих на отражающей поверхности, которая тщетно им противится. Бывает, ждать пришлось так долго, что сон успел почти забыться. Казалось, реальность совершенно от него удалилась, как вдруг в самый неожиданный момент все сходится, составляется и в мельчайших деталях, но на сей раз *взаправду*, воскрешает тот эпизод, который раньше был явлен в мире призраков.

Теперь ясно, сколь значима упомянутая выше трансформация. То, что некогда переживалось как судьба, теперь предстает всего лишь как чудовищное исключение, от которого может пошатнуться разум. Былой неумолимый закон теперь просто литературная гипотеза. Для первобытного человека сцена из будущего, отразившись в зеркале сна, в каком-то смысле *уже* сбылась, соответственно она и должна рано или поздно произойти вновь точно такой же, как увидел ее спящий. Акцент делался на сновидении, и мы видели, что сновидец спешил его реализовать, порой даже с риском для жизни. Теперь все наоборот: скептичный герой с пренебрежением или же презрением относится к вещему сну, но мало-помалу ошеломленно замечает, что реальность постепенно сближается с ним и в конце концов воспроизводит его.

Сходную эволюцию пережили и другие мотивы, например, часто возникающее желание, чтобы несколько снов взаимно подтверждали или контролировали друг друга. Когда сон перестает быть источником политической власти, когда он больше не составляет законное свидетельство, автоматически удостоверяющее истину, то вполне может случиться так, что одна лишь почтительная опаска не позволяет людям выдумывать выгодные себе сны или же бездумно отвергать сны, на которые ссылается соперник. Впрочем, в мире, не придающем более сну столь безраздельной веры, остается ностальгия по ней. Люди, кто с горечью, кто с раздражением, испытывают неудовольствие из-за того, что сон — это нечто сугубо личное, что он всецело замыкает человека в безысходном одиночестве, что им так трудно поделиться с другими. В реальности мы все переживаем совместно. Сон же, напротив, — такое приключение, которое сновидец испытал в одиночку и которое только он один может помнить; это плотно-непроницаемый мир, исключающий всякое совпадение с миром других. Оттого так соблазнительно вообразить, как два человека, несколько человек, даже множество людей сразу видят один и тот же сон, или эквивалентные друг другу, или дополнительные друг к другу сны. Тогда эти сны подкрепляют друг друга, складываются вместе, словно части пазла, и обретают ту же плотность и устойчивость, что и восприятия яви; подобно им, они поддаются проверке и, подобно им или даже лучше их, создают между людьми исключительные, тайные, тесные связи, которые ничто не может опровергнуть.

Особенно трудно преодолеть последнее, самое абстрактное, а равно и самое глубокое сомнение: коль скоро спящий в каждый момент сна не знает, что он спит, и даже бывает убежден, что бодрствует, тогда ведь и считающий себя бодрствующим должен в любой момент допускать, что, быть может, ему все это снится. Как известно, с этим затруднением связана долгая и сложная философская традиция. Оно беспокоило уже Аристотеля, который странно, но и не без проницательности заявлял, что задумывающийся над ним рассуждает *как растение*. Безупречно завершенную форму придал ему Чжуан-цзы в своей дилемме о философе, которому только что снилось, что он бабочка, и бабочке, которой теперь снится, что она философ. С тех пор этот

спор, возобновляясь из века в век, получил богатейшее развитие, вплоть до Пруста и Борхеса[1].

Когда человек еще едва только вышел из первобытного состояния, где сон мог иметь силу закона и нередко обладал преимуществом над реальностью, этот комплекс постоянно встающих вопросов уже содержал в себе основные элементы проблематики, с ранних пор начавшей беспокоить утонченные умы. Действительно, с развитием богословских систем все они, как правило, скорее подтверждали мысль о том, что сон дает доступ в божественный мир, во всяком случае в мир более значительный (если не более истинный), чем мир яви. Отсюда раннее и широкое распространение как веры в сны-оракулы, так и самой онейромантии[2].

Так, согласно папирусу IV в. до н. э., фараон Нектанабо присутствовал во сне при сцене, в ходе которой бог Онурис жаловался Изиде, что его храм стоит недостроенным. Нектанабо приказал разобраться, и выяснилось, что святилище еще не покрыто надписями. Тогда он велел найти самого знаменитого резчика иероглифов и поручил ему закончить эту работу в кратчайшие сроки.

Артемидор (I, 1) упоминает о так называемых "политических" сновидениях, то есть таких, которые снятся в одну и ту же ночь всем жителям города в связи с важными для него событиями. О таких же снах упоминает и Вавилонский Талмуд ("Ta'anith", 21 b). В Месопотамии Ашшурбанипал рассказывает:

Сон Ашшурбанипала

Войско увидело реку Иидидье – ревущий поток, переходить через который казалось опасным. Богиня Иштар, пребывающая в Арбелах, в полночь явила моему войску сон и сказала ему: "Я буду идти впереди Ашшурбанипала, царя, созданного мною!" Войско поверило этому сну и беспрепятственно перешло через реку[3].

Доподлинность сна удостоверена тем, что его одновременно видели много спящих. Она может быть удостоверена и в том случае, если содержавшееся в нем откровение будет признано точным, то есть если реальность подтвердит поведанное во сне, как это происходит в следующем примере, сообщаемом у Плутарха и Тацита[4].

Сон Птолемея

Птолемей Сотер увидел во сне колоссальную статую бога Плутона, находившуюся в Синопе, но так как он никогда не видел эту статую, то не узнал ее; она же велела ему как можно скорее перевезти ее в Александрию. Не зная, кого она изображает и где находится, царь поведал о своем видении друзьям, и те разыскали некоего Сосибия, который много странствовал и сказал, что видел в Синопе колосса, похожего на увиденного царем. Птолемей послал туда Сотела и Дионисия, которые спустя немало времени и с великими трудностями, не без божественной помощи, завладели им и привезли с собой [в Александрию]. *Доставленную на место статую осмотрели ученые и сошлись в том, что это*

1. У меня был случай высказаться на сей счет в книге "Недостоверность грез" (Париж, 1956).
2. Онейромантия (*греч.*) — гадание по снам. (*Прим. перев.*)
3. Цит. по: A. Leo OPPENHEIM. *Le rêve et son interprétation dans le Proche-Orient ancien*, trad. fr. Paris, 1959, p. 99.
4. PLUTARQUE, de Is. et Osir., 28; TACITE, Hist. IV, 83–84; ср. OPPENHEIM, op. cit., p. 99.

изображение Плутона, поскольку на изваянии изображались Цербер и змея; они заверили Птолемея, что это статуя бога Сераписа, а не кого-либо иного.

В классической античности было известно еще более убедительное доказательство правдивости сна — это залог, получаемый во сне и обретаемый спящим рядом с собой после пробуждения. У Пиндара Беллерофонту во сне Паллада приносит волшебные удила, похожие на золотую диадему, с помощью которых ему удастся обуздать Пегаса. Проснувшись, он сразу же оказывается владельцем этого *лишнего* предмета, происходящего не из мира сего и положенного рядом с ним неким божеством[1]. Этот мотив особенно часто встречается в древней литературе Севера. Иногда, в более тонком варианте, оставленная рассеявшимся сном улика является не материальной, но, как и сам сон, летуче-неуловимой, двусмысленной. В коротком китайском рассказе юноше Лю из Пэньжена время от времени снится, что он ходит в публичный дом и там напивается с девками. Каждый сон вновь приводит его в один и тот же дом разврата. Однако он сомневается, действительно ли это сон, ибо после пробуждения его платье все еще пропитано женскими духами[2].

В других случаях сон предшествует реальности. Он возвещает о ней или являет ее сверхъестественно точный прообраз. Такие сны настоятельны и подробны, реальность же в дальнейшем оказывается рабски покорной — этаким галлюцинаторным повтором ранее увиденного во сне. Приведу два примера такого мотива; один относится к древним временам, другой к новым, и оба отличаются тем, что представлены как подлинные случаи. Их разделяет все: века, географическое расстояние, различия культур и традиций. Однако каждый из них на свой лад утверждает, что жизнь порой лишь воспроизводит собой видения снов, являет собой какое-то время спустя как бы отсроченное или затемненное их отражение. Первый рассказ извлечен из китайского трактата, где собраны странные события, якобы имевшие место в правление династии Тан. В нем записано, что образованный юноша по имени Лю Таоцзи около 899 года остановился на ночлег в монастыре Гоцзин на горе Тяньтай. Там ему приснилась девушка в саду под окном, рядом со склоненным кипарисом, окруженным подсолнухами. Ему снилось, что он совершает с нею брачные обряды, и потом он не раз вновь встречал ее, по-прежнему во сне. Прошло время. Однажды в другом монастыре юноша узнал виденные им сад, окно, кипарис и подсолнухи. В монастыре гостил другой путник, у которого недавно заболела дочь — бедная, красивая и незамужняя. Именно на ней женился во сне юноша, и именно с нею он привык встречаться[3].

Сходным образом и мировой судья Дж. О. Остин из Мидлтауна, штат Нью-Йорк, рассказывал 25 июня 1901 года о странном происшествии, случившемся с ним в юности. Камиль Фламмарион принял его свидетельство без всяких сомнений и даже с почтением. Более того, он позаботился вставить его в новое издание своей книги на место другого рассказа, автор которого г. Александр Берар к тому времени объяснил ему, что то была чистая выдумка.

1. PINDARE, *Olymp.*, XIII, 65 sq.
2. *Mong Yeou-Lou*, chap. VI, in *T'ang Kien Wen Tse*, trad. Bruno Belpaire. Paris, 1957, p. 262.
3. *Mong Yeou-Lou*, loc. cit.

Сон мирового судьи из Мидлтауна

Мне было около двадцати лет, и я служил директором общественной школы. Поглощенный своими обязанностями, я думал о них не только днем в часы работы, но и ночью в сновидениях. Однажды мне приснилось, что я в школьном зале и только что закончил готовиться к открытию, как вдруг слышу, что в дверь стучат. Я открываю и вижу какого-то господина с двумя детьми – девочкой одиннадцати лет и мальчиком восьми лет. Вошедший объясняет мне, что из-за Гражданской войны он покинул свой дом в Новом Орлеане и перевез семью в тот округ, где находится моя школа. Он желает доверить детей моему попечению, дабы я занимался их воспитанием и учебой. Потом он спросил, какие книги им понадобятся, и я дал ему список, который он взял с собой. На следующий день дети были приняты в число моих учеников.

На этом сон прервался. Но он так подействовал на меня, образ этого отца и двух детей так сильно запечатлелся в моей душе, что я узнал бы их где угодно, хоть бы среди всего населения Парижа или Лондона.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день после этого сновидения я услышал тот же самый стук в дверь, что и во сне, открыл и увидел перед собой того самого посетителя и двух его детей! И дальше все было так же: мы говорили о том же, о чем и во сне.

Добавлю, что человек этот был мне совершенно незнаком. Новый Орлеан находится в 1350 милях, то есть более чем в 2000 километров отсюда, а я никогда не уезжал дальше чем на 100 миль, то есть на 160 километров, от своего дома[1].

Бывает, что во сне человек видит, рассказывает или толкует другой сон. Древняя надпись на стеле (ибо порой эти мимолетнейшие видения высекают в нетленном камне) повествует о сне царя Набонида (556–539 гг. до н. э.). Царь увидел во сне встревожившее его сочетание светил. Но рядом с ним возник какой-то человек и сказал ему: “Это сочетание не заключает в себе дурного предзнаменования”. Потом, как подчеркивает надпись, в том же самом сновидении ему явился Навуходоносор в сопровождении слуги. Слуга сказал Навуходоносору: “Заговорите с Набонидом, чтобы он мог рассказать вам свой сон”. Набонид рассказывает. Вероятно, затем его царственный предшественник истолковывал видение; но в этом месте стела повреждена.

Случай, когда сновидение рассказывается и толкуется в самом же этом сновидении, предусмотрен в Талмуде (“Barakhot”, 55 b). О нем упоминается также и в “Книге сновидений” из Библиотеки Ашшурбанипала: “Если во сне видит сон и [во сне] рассказывает сон...”

В древней Индии была известна тайна параллельных снов, сообщающих двум незнакомым между собой людям о будущей общности их судеб. Сомадева, автор “Катхасаритсагары, или Океана сказаний” (XII век), рассказывает о том, как царь Викрамадитья во сне увидел девушку в неведомом краю и влюбился в нее. Ему снилось, что он уже сжимает ее в объятиях, когда его блаженство прервал ночной сторож. В то же самое время в далекой стране царевна Малаявати, ненавидевшая мужчин, увидела во сне какого-то высокого человека, выходившего из монастыря. Она стала его супругой и уже вкушала с ним радости любви на брачном

1. Camille FLAMMARION. *L'Inconnu et les Problèmes psychiques.* Paris, 2e éd., 1929, t. II, p. 520–521.

ложе, когда ее разбудила горничная. После множества перипетий оба героя встретились, узнали друг друга и соединились в реальности, как они прежде сделали это во сне.

Более высокую степень сложности представляют собой сны, дополняющие друг друга. Здесь имеется не просто симметрия, а более тонкое отношение, когда второй сон образует ключ к первому. Самый увлекательный пример содержится, пожалуй, в "Тысяче и одной ночи" (ночь 351 по версии Ричарда Бертона).

Два сновидца

Арабский историк Эль-Иссаки излагает такое происшествие:

"Как рассказывают достойные доверия люди (но один лишь Аллах всеведущ и милосерд и никогда не спит), жил в Каире человек, владевший великими богатствами, но столь великодушный и щедрый, что он все их утратил, за исключением отцовского дома, так что ему пришлось трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И так он трудился до тех пор, пока в один прекрасный день под смоковницей в саду его дома его не охватил сон. Во сне он увидел мокрого с ног до головы человека, который вынул у себя изо рта золотую монету и сказал ему: "Твое богатство – в Персии, в Исфахане. Ступай за ним". Проснувшись утром, он отправился в долгий путь, подвергаясь опасностям в пустынях и на морях, от пиратов, язычников, бурных рек, хищных зверей и людей. Наконец он прибыл в Исфахан. В городе его застигла ночь, и он улегся спать во дворе мечети. Рядом с мечетью стоял дом, и вот, по воле Аллаха Всемогущего, через мечеть в этот дом проникла шайка воров. Шум, поднятый ворами, разбудил спавших там, и они стали звать на помощь. Соседи тоже подняли крик, подоспел начальник стражи со своими людьми, и разбойники убежали через террасу. Начальник стражи приказал обыскать мечеть. Нашли человека, прибывшего из Каира, и так сильно избили его бамбуковыми палками, что он чуть не умер. Очнулся он через два дня в тюрьме. Начальник велел привести его к себе и спросил: "Кто ты? и где твоя родина?" Тот заявил: "Я из славного города Каира, а имя мое Мохаммед эль-Магреби". Начальник спросил: "Что же привело тебя в Персию?" Он решился сказать правду: "Во сне какой-то человек приказал мне направиться в Исфахан, потому что там – мое богатство. Вот я и в Исфахане, а богатство, которое он мне обещал, должно быть, заключается в палочных ударах, которых мне так щедро надавали по вашему приказу".

Услышав эти слова, начальник расхохотался так, что у него стали видны зубы мудрости, и в конце концов сказал: "Безумный ты и легковерный человек! Мне вот целых три раза снился дом в Каире, позади него был сад, в саду солнечные часы, за солнечными часами смоковница, за смоковницей источник, а под источником было зарыто сокровище. Я ни на миг не поверил этому лживому видению. А ты, исчадье мула с демоном, бродил из города в город ради одной лишь веры в свой сон. Чтобы я тебя больше не видел в Исфахане! Возьми вот эти монеты и убирайся!"

Тот взял деньги и вернулся к себе на родину. Под источником в своем саду (это был тот самый сад из сна начальника стражи) он выкопал сокровище. Так Аллах благословил его, вознаградил и возвысил. Аллах – Щедрый и Сокрытый".

Не столь подробная версия того же самого сюжета содержится в хасидском народном сказании.

Другие два сновидца

Однажды у ребе Коцкера попросил совета один человек: он хотел знать, следует ли ему покинуть свой родной город, где ему ничего не удавалось, и поискать счастья в других местах. Ребе ответил ему такой историей. Одному еврею из Кракова несколько раз подряд снилось во сне, что рядом с такой-то мельницей зарыто сокровище. Однажды утром он встал, пошел к мельнице и стал копать вокруг нее – но все напрасно. Мельник спросил у него, чего он тут копает, и тот объяснил. Тогда мельник, сильно удивившись, рассказал, что ему самому несколько раз подряд снилось, будто в Кракове во дворе у одного человека зарыто сокровище; и он назвал имя этого человека, которым оказался сам наш кладоискатель. Тот сразу же вернулся домой, перерыл свой двор и нашел сокровище[1].

В обоих этих рассказах человек находит сокровище благодаря сновидению другого человека, которое он способен понять лучше, чем тот. В японском фольклоре имеется любопытный вариант этого мотива: герой покупает или крадет вещий сон. В одной из сказок этой серии человек видит, как из ноздри у заснувшего рядом с ним товарища вылетел слепень, а через некоторое время залез обратно. Спавший рассказывает свой сон: в саду у богача с острова Садо под кустом камелии, покрытым белыми цветами, опустился слепень. Слепень сказал ему: "Копай". Он стал копать и нашел кувшин, полный золотых монет. Тут герой умоляет друга продать ему свой сон. Тот соглашается. Покупатель сна едет на остров Садо, нанимается на службу к богачу, выкапывает сокровище из-под белой камелии, а потом просит увольнения; с тех пор он счастливо живет у себя в деревне[2].

Другое хасидское сказание, многочисленные варианты которого имеются в фольклоре разных народов, показывает, как в кратком сновидении могут уместиться сразу несколько эпизодов человеческой жизни.

Судьба, раскрытая во сне

Жил-был весьма гостеприимный человек, который все время говорил: "О досточтимый мой гость, не величайший ли я гостеприимец из всех гостеприимцев?" Бешт[3] *прислал к нему одного из своих учеников, Зеева Кицеса. Когда тот задал ему свой обычный вопрос, Реб Зеев ответил: "Посмотрим". И вот хозяин заснул. Реб Зеев надавил ему пальцем на лоб, и ему стал сниться сон. Ему приснилось, будто у него остановился знатный вельможа и, испив его вина, упал замертво; гостеприимец из всех гостеприимцев бежал и сделался водоносом. Ведра были тяжелые; он оступился, упал и сломал себе ногу. Сломанная нога так сильно болела, что он проснулся. Он поведал свой сон Ребу Зееву, и тот сказал: "Тебе посчастливилось созерцать, какова будет твоя судьба, если ты и впредь будешь питать Сатану своею гордыней, которая побуждает тебя клянчить похвалы твоему гостеприимству". И тот пообещал вернуться на стезю смирения*[4].

В этой связи в высшей степени примечателен рассказ инфанта дона Хуана Мануэля (1284–1348), племянника короля Альфонса Мудрого, – рассказ, по всей вероятности, восходящий к арабскому оригиналу. Здесь в нескольких минутах видения заключена целая судьба, возможное развитие карьеры.

1. *Kotsker Maasyoth*, 105; ср. LEVITTE et CASARIL, *art. cit.*, p. 27.
2. Сказка переведена в книге: Sources orientales, II, p. 311–312.
3. Израиль Бешт (1699–1760) – основатель хасидизма. (*Прим. перев.*)
4. *Maasyoth ha Gedolim Hadach*, 44; LEVITTE et CASARIL, *ibid.*, p. 27.

Отсроченное колдовство

Жил в Сантьяго декан[1], которому хотелось постичь искусство магии. Он узнал, что никто не знает его лучше дона Ильяна из Толедо. И вот он отправился в Толедо.

Прибыв туда, он в тот же день пошел в дом дона Ильяна и застал его за чтением в удаленной комнате. Тот принял его радушно и предложил сначала позавтракать, а потом уж объяснить причину своего визита. Он отвел ему весьма прохладную комнату и сказал, что очень рад его визиту. После завтрака декан объяснил ему, зачем явился, и попросил обучить его науке магии. Дон Ильян отвечал: он догадывается, что его гость – декан, человек с хорошим положением и с великим будущим, но только он боится, что впоследствии тот о нем забудет. Декан клятвенно обещал, что никогда не забудет милостей, полученных от дона Ильяна, и всегда будет оставаться у него в долгу. Они заключили сделку; дон Ильян объяснил, что магическим искусствам можно учить только в укромном месте, и, взяв его за руку, повел в смежную комнату, на полу которой виднелось огромное железное кольцо. Сперва он велел служанке готовить к ужину куропаток, только не жарить их, пока он ей не скажет. Потом они вдвоем подняли кольцевую крышку и стали спускаться по лестнице из гладко отесанных камней, пока декану не показалось, будто они спустились так глубоко, что русло реки Тахо должно быть уже у них над головой. Внизу лестницы была келья, библиотека и кабинет, полный магических инструментов. Они осматривали книги, как вдруг вошли двое мужчин с письмом для декана. Письмо было от его дяди-епископа, сообщавшего, что он тяжело болен и что декан должен поторопиться, если хочет застать его живым. Эти вести привели декана в большое замешательство, как из-за болезни дяди, так и из-за того, что приходится прервать учебу. Он решился написать письмо с извинениями и послал его епископу. Через три дня прибыли люди в траурном платье с новыми письмами для декана, где говорилось, что епископ умер, что идут выборы его преемника и что, как надеются, этим преемником милостью Божьей станет он сам. Говорилось также, чтобы он не утруждал себя приездом, так как представляется предпочтительным, чтобы его избрали в его отсутствие.

Еще через десять дней появились двое богато одетых молодых дворян, припали к его ногам, поцеловали руку и приветствовали его как епископа. Когда это увидел дон Ильян, он радостно сказал новоизбранному прелату, что благодарит Бога, узнав столь счастливые новости. Потом он попросил у него освободившегося места декана для одного из своих сыновей. Епископ ответил, что раньше прочил на это место своего брата, но готов оказать ему милость и они вместе поедут в Сантьяго.

Все втроем они поехали в Сантьяго, где были приняты с великими почестями. Через полгода к епископу прибыли нарочные от папы, который предлагал ему стать архиепископом Тулузским, предоставляя самому назначить себе преемника. Когда об этом узнал дон Ильян, он напомнил ему о былом обещании и попросил епископской тиары для своего сына. Архиепископ заметил ему, что раньше прочил на место епископа своего дядю, брата своего отца, но готов оказать ему милость и они вместе поедут в Тулузу. Дону Ильяну оставалось лишь согласиться.

Все втроем они поехали в Тулузу, где были приняты с великими почестями и молебнами. Прошло два года, и к архиепископу прибыли посланцы от папы, который предлагал ему кардинальскую шляпу, предоставляя самому избрать своего преемника. Узнав о том, дон Ильян напомнил ему о былом обещании и попросил

1. Сантьяго — Сантьяго-де-Компостела, город в Испании. Декан — настоятель собора. (*Прим. перев.*)

архиепископского титула для своего сына. Кардинал объяснил ему, что раньше прочил на место архиепископа своего дядю, брата своей матери, но готов оказать ему милость и они вместе поедут в Рим. Дону Ильяну оставалось лишь согласиться. Все втроем они поехали в Рим, где были приняты с великими почестями, молебнами и крестными ходами. Через четыре года умер папа, и наш кардинал был единодушно избран на папство. Узнав о том, дон Ильян облобызал ноги его святейшества, напомнил его былое обещание и попросил кардинальской должности для своего сына. Папа пригрозил бросить его в тюрьму: ему ведь известно, что он просто колдун, обучавший магии в Толедо. Несчастный дон Ильян ответил, что он возвращается в Испанию, и попросил дать ему чего-нибудь на еду в пути. Папа отказал. Тут дон Ильян сказал безо всякой дрожи в голосе:

"Значит, придется мне одному есть куропаток, которых я заказал на этот вечер".

Появилась служанка, и дон Ильян приказал ей жарить куропаток. При этих словах папа вновь очутился в подземной келье в Толедо, опять оказался деканом из Сантьяго и был так устыжен своей неблагодарностью, что не переставая просил прощения. Дон Ильян отвечал, что этого испытания довольно, не стал делиться с ним куропаткой и выпроводил на улицу, где пожелал счастливого пути и весьма учтиво с ним расстался[1].

Бывает так, что во сне человек пробуждается от сна, тогда как в действительности продолжает развертываться то же самое сновидение. Из такой перипетии спящий выносит лишь еще более обманчивую уверенность в том, что он бодрствует. Обычно он испытывает такое состояние, когда размышления уже окончательно спутаны с иллюзией. Исторический пример тому дают "Записки" шаха Тахмаспа I (1514–1576), которому 19 числа месяца сафара 961 года хиджры, то есть 23 января 1554 года христианской эры, приснилось, будто он видит начертанный в небе стих из Корана. То был стих II, 131: "Аллах избавит тебя от них: Он ведь – слышащий, знающий". Затем ему приснилось, что он проснулся. Он очутился в своем летнем лагере в Хое, где, опасаясь приближающегося урагана, принимал меры для спасения своей семьи, в случае если ветром унесет шатры. Однако в последний момент ветер переменился, и в поднятой им пыли показалось множество антилоп и баранов. Тут он увидел, по-прежнему во сне, как его сестра раскладывает подушки и на них возлегают какие-то высокие женщины без украшений и нарядных уборов, какие-то грузинки безупречной красоты, а среди них – сестра визиря, которой он не узнал, ибо лицо ее было изменено. Тут он на миг проснулся (или ему приснилось, что он проснулся), продолжая нашевать стих из Корана, начертание которого видел в небе. Потом заснул снова (или ему приснилось, что он снова заснул), вернувшись в свой прежний сон и нашевая все тот же стих. Внезапно он понял, что стих этот означает "поражение врагов"[2].

В Индии, избранном краю аскезы и духовной сосредоточенности, сну приписывались еще и иные чары. Отшельник, натренированный в медитации, сообщает образам своих снов материальное существование, если сумеет *поддерживать* их с достаточной интенсивностью. При этом сон носит сознательный, преднамеренный и творческий характер; это упорное усилие, которое увенчивается успехом, если только прилагать его достаточно долго и достаточно мощно. Поэт Тулсидас сочинил эпи-

1. *Libro de los Enxiemplos*, ex. XI.
2. *Taskarat*, éd. Kaviani, o. 65; H. MASSE. *Anthologie persane.* Paris, 1950, p. 349–350.

ческую поэму о Ханумане и его обезьяньем воинстве. Прошли годы. Некий деспот заточил Тулсидаса в каменной башне. Тогда поэт стал грезить, медитировать, снова грезить, используя все средства, которыми напряженный и натренированный дух создает в себе пустоту. Тогда из грезы его вышел Хануман со своим обезьяньим воинством, они вторглись в царство деспота, овладели башней и вызволили поэта.

Все или почти все эти мотивы содержатся и в неисчерпаемой китайской литературе, которая, по-видимому, систематически исследовала все проблемы, возникающие в связи со сном. Сознательно подбирая иллюстрирующие их сказания, можно, пожалуй, составить нечто вроде казуистики снов. Некоторые из них трактуют об обыкновенных проблемах, другие отличаются большей изощренностью и изобретают невиданные осложнения, властно захватывающие своей необычайной логикой: например, история человека, который во сне входит в реальную стенную роспись, или рассказ, герой которого наяву присутствует при сцене, которая снится другому и которую он прерывает резким поступком, происходящим в сновидении спящего и завершающим его, или юридическая путаница, возникающая при обнаружении мертвой косули, которую некий крестьянин якобы убил во сне, или, наконец, циклический сон Бао-юйя, рассказанный в романе "Сон в красном тереме" Цао Сюэ-циня (1720?–1763).

Циклический (бесконечный) сон Бао-юйя

Бао-юйю приснилось, что он находится в саду, в точности похожем на его собственный. "Возможно ли такое, – сказал он себе, – чтобы существовал сад, в точности похожий на мой?" К нему подошли несколько служанок. Бао-юй снова был поражен: "У кого это могут быть служанки, настолько похожие на Си-жэнь, Пин-эр и других служанок из моего дома?" Одна из служанок воскликнула: "А вот и Бао-юй. Как это он сюда попал?" Бао-юй подумал, что его узнали. Он выступил вперед и сказал служанкам: "Я прогуливался. И вот случайно попал сюда. Давайте еще погуляем". Служанки засмеялись: "Надо же, как обозналисъ! Мы спутали тебя с Бао-юйем, нашим хозяином, но ты не такой привлекательный, как он". То были служанки какого-то другого Бао-юйя. "Сестрицы, – сказал он, – это же я Бао-юй. А кто ваш хозяин?" "Наш хозяин Бао-юй, – отвечали они. – Родители дали ему это имя, состоящее из двух иероглифов: "Бао" (драгоценный) и "Юй" (нефрит), чтобы жизнь его была долгой и счастливой. А ты кто такой, что присваиваешь себе это имя?" И они со смехом удалилисъ.

Бао-юй был ошеломлен: "Никогда со мной не обращалисъ так дурно. Почему эти девушки так ненавидят меня? Неужели и вправду есть какой-то другой Бао-юй? Нужно это проверить". Мучимый такими мыслями, он очутился во дворе, который показался ему странно знакомым. Он поднялся по лестнице и вошел в комнату. В ней лежал какой-то юноша. Рядом с кроватью смеялись и ухаживали за ним девушки. Юноша вздыхал. Одна из служанок спросила: "О чем ты задумался, Бао-юй? Тебя что-то печалит?" – "Мне приснился очень странный сон. Мне снилось, будто я нахожусь в саду и ни одна из вас не узнает меня. Вы оставили меня одного. Я прошел вслед за вами в дом и обнаружил там другого Бао-юйя, который спал в моей кровати".

Слыша этот разговор, Бао-юй не выдержал и воскликнул: "Я искал здесь Бао-юйя, так это ты". Юноша встал, обнял его и вскричал: "Это не был сон, ты и есть Бао-юй". Оба Бао-юйя вздрогнули. Тот Бао-юй, что из сна, исчез, а другой сказал ему: "Возвращайся скорее, Бао-юй". Бао-юй проснулся. Его служанка Си-

жэнь спросила его: "О чем ты задумался, Бао-юй? Тебя что-то печалит?" – "Мне приснился очень странный сон. Мне снилось, будто я нахожусь в саду и ни одна из вас не узнает меня..."

"Хун лоу мэн"[1]

Я составил нечто вроде сборника таких китайских притч[2]. В них идет настоящая игра с силами сновидения, контрастируя с тем, как обычно применяли их европейские писатели. Среди последних одни применяли их как удобный прием изложения – скажем, сон Эра из Памфилии у Платона или сон Сципиона у Цицерона[3]. Это просто замаскированные метафизические гипотезы. У других авторов великие грешники видят поучительные сны, заставляющие их каяться в своих грехах или предрекающие им сверхъестественную кару (надо признать, что такое применение сна известно и в буддизме). Романтизм стремился превратить сон в литературный прием, который стал бы легкодоступным подспорьем лирическому вдохновению: самый четкий пример тому являет, пожалуй, Жан-Поль, чьи романы усеяны сугубо риторическими сновидениями. Позднее некоторые, напротив, ограничивались простой записью своих снов, представляя их как необработанный поэтический материал, который во сне подчинял себе автора, а теперь должен наяву обаять читателей.

В большинстве случаев сновидение остается феерией, которая рассеивается при пробуждении и которой подчас приписывается тяжеловесное аллегорическое значение. Ничего похожего на тонкие интеллектуальные механизмы, придуманные на Востоке. "Это был всего лишь сон", – восклицает человек, пробуждаясь ото сна, порой с разочарованием, порой с облегчением, в зависимости от того, радовали или угнетали его образы сновидения. В любом случае это не более чем иллюзия, приятная или тревожная, и достаточно лишь поднять веки, чтобы обратить ее в ничто. Декарт задавался вопросом о том, что могло бы случиться со спящим человеком, который видит связные и непрерывные сны и которого в этом сонном состоянии переносят в разные, непохожие места, так что он каждый раз пробуждается в новой обстановке, ничем не связанной ни с предыдущей, ни с будущей. Для него сон мог бы обрести постоянство реальности, а реальность – неправдоподобие, неустойчивость, калейдоскопическую мимолетность снов.

Как гласит предание, это теоретическое предположение философа было несколькими веками раньше осуществлено на практике первым имамом исмаилитов Хасаном ибн Саббахом в садах Аламутского замка, с целью добиться фанатической покорности от ассассинов. Хасан приглашал своих более юных и горячих адептов в неприступную крепость, окруженную голыми кручами, – настоящее орлиное гнездо на скале среди пустыни. Казалось, там не может прижиться никакая растительность. Однако же там бил тайный источник, превращавший укрытую от глаз лощину в чудесный сад. В нем в изобилии росли цветы и плоды. Хасан давал своим гостям индийской конопли. Потом, когда они уже находились под воздействием зелья, их переносили по его приказу в чудесный парк. Там они пробуждались в ошеломлявшей их обстановке, восхитительные

1. "Сон в Красном тереме" (*кит.*). (*Прим. перев.*)
2. Он входит в мою антологию: *Puissances du rêve.* Paris, 1962, p. 31–89.
3. См.: Платон. Государство, кн. X; Цицерон. О государстве, кн. VI. (*Прим. перев.*)

красавицы, благоухающие и в прозрачных покровах, предлагали юношам срывать цветы и плоды. Они угощали их прохладными напитками и приглашали вкусить любовных удовольствий. Удовлетворенных и задремавших, их уносили обратно в раскаленные и пыльные кельи. Проснувшись, они видели через бойницы, сколько хватало глаз, бескрайние пески и камни тамошнего неприветливого края. Им говорили, что они видели сон и что сон этот позволил им заранее вкусить радостей Рая, куда они попадут, если умрут, выполняя приказы Пророка. Их еще несколько раз (столько, сколько нужно) переносили во сне в чудесный сад, о существовании которого нельзя было догадаться. Приходя в сознание, они с каждым разом все крепче убеждались, что видели сон.

Этот поразительный фокус засвидетельствован у Марко Поло и еще в одном манускрипте XIV века, хранящемся в Венской библиотеке[1]. Эта хитрость прямо противоречит ходячим мнениям о сновидениях, согласно которым человек часто на миг принимает сон за реальность, но никогда не может надолго принять реальность за сон. Из-за этого предание даже вскоре исказилось, и псевдогаллюцинации стали приписывать действию гашиша: реалистически мыслящий Старец якобы не хотел вполне полагаться на них и для большей верности счел за лучшее подкрепить их подлинными цветами, настоящими плодами и отнюдь не бесплотными девицами.

Существует и христианская версия этой восточной фантасмагории — "Жизнь есть сон" Педро Кальдерона де ла Барка (1600—1681). Ее сюжет всем памятен: Сехисмундо с детства заключен своим отцом, польским королем, в уединенной башне. Король приказывает дать ему снотворное зелье. Спящим его переносят в королевский дворец, где он просыпается в роскошном одеянии, и по приказу отца, желающего его испытать, все придворные обращаются с ним как с королем. Сперва Сехисмундо спрашивает себя, не сон ли это, а потом, осмелев, быстро выказывает себя грубым, вспыльчивым, жестоким тираном. Испытание дало убедительный результат. И тогда, под действием того же наркотика, юноша в тот же день попадает обратно в темницу, снова одетый в свои обычные лохмотья. Сторожу не составляет труда убедить его, что вся чудесная интермедия ему лишь приснилась. Его освобождает народное восстание и во второй раз дает ему высшую власть. Но теперь он думает, что во второй раз видит сон и что чудесное видение скоро рассеется, вернув его опять в тюрьму. Этого не случается, но отныне он знает, что вся жизнь есть сон и сами сны — тоже сон. Вывод скорее метафизический, чем религиозный. Не знаю, повлияло ли на эту польскую уловку, представленную на сцене испанским драматургом, персидское ухищрение, описанное венецианским путешественником. Если никакого влияния нет, то их сближение тем более примечательно.

IV

Начиная со второй половины XIX века появляется множество исследований сна. Возможно, не случайно, что в числе наиболее интересных из них фигурируют книги двух ученых, живших почти одновременно и

1. MARCO POLO, chap. XLI-XLII. Манускрипт 107 из Вены цитируется согласно Хаммеру по книге: Jacques BOLLE. *Les Séductions du communisme, de la Bible à nos jours*, 1957, p. 186—187. Другую его версию см.: Betty BOUTHOUL. *Le Vieux de la Montagne.* Paris, 1958, p. 195—200.

преподававших в Коллеж де Франс. Первый из них, историк и археолог Альфред Мори (1817–1892), выпустил в 1861 году книгу под названием "Сон и сновидения". Второй, знаменитый синолог маркиз д'Эрве де Сен-Дени (1823–1892), напечатал в 1867 году еще более амбициозное и показательное сочинение, главная задача которого четко выражена его названием "Сны и средства управлять ими". Так, под двойным влиянием классической древности и Китая (как по крайнее мере позволительно предположить) сны начали подвергаться систематическому исследованию. Ученые измеряют их могущество, претерпевают сами или превозносят вчуже их чары, пытаются разглядеть их ловушки.

В литературе сон появляется теперь лишь в виде наставительной притчи, риторической уловки или же чистой выдумки, принципиально свободной от законов логики и реальности. Он становится движущей силой интриги, позволяя закрутить ее или дать ей развязку. Он преображает психологию героя, нарушает ход его мыслей, изменяет его поведение. В некоторых случаях он представлен как знамение или предвестие необычайной судьбы: в нем открывается непреодолимая воля рока. У Шарля Нодье его "Смарра" остается ученым упражнением, на мой вкус – очень скверным из-за глупой эмфазы и академизма, который, пытаясь создать впечатление кошмара, являет собой почти гротескную нелепицу. "Аврелия" Жерара де Нерваля – признание в навязчивых тревогах и заботах, от которых погиб его разум, – это нечто большее, чем литературная игра; она предстает скорее как ошеломляющий документ, чем как расчетливая конструкция, хотя ей отнюдь и не чуждо в высшей степени сознательное искусство. Действительно, таковы опасные извивы, ловушки и засады сна, что в этой области безумие способно обрести строгость ученого построения, а мастерство художника – скрыть свои помыслы под услужливой маской панического бреда. Как бы то ни было, эти неравноценные повести придали сну новый смысл, как бы литературный патент на благородство. С тех пор перед ним открывается исключительная карьера.

По сути, вновь выступает старинная проблематика сна, но уже не в схематической форме, которая придавала ее апориям вид каких-то аксиом или математических парадоксов. Отныне она служит материалом для особого рода психологии, которая охотно описывает человеческую душу как чуткую к предзнаменованиям, чувствительную ко всяким совпадениям и к двусмысленной повторяемости случая, беззащитную перед натиском незримого, внимательную к получаемым ею посланиям и предвестиям иного мира, образцовыми носителями которых считаются сны.

Легко заметить, как часто новые рассказы о снах опираются на литературную традицию. Они иллюстрируют собой вечные заботы человека. Удила, обнаруженные Беллерофонтом рядом с собой при пробуждении, – это такого же рода залог, что и стихотворение, найденное у себя в рукаве героем китайской сказки эпохи Тан, или проклятый опал в одном из эпизодов у Лесли Чартериса[1], или же ключ от склепа в рассказе Вилье де Лиль-Адана "Вера".

Внезапный трагизм "Синей рубашки" Луи Голдинга[2], настойчиво повторяющиеся предзнаменования у Ксавера Шандора Джальского[3] в "Сне

1. Лесли Чартерис (наст. имя Лесли Чарльз Бауэр Инь, 1907–1993) – американский писатель англо-китайского происхождения. (*Прим. перев.*)
2. Луи Голдинг (1895–1958) – английский писатель. (*Прим. перев.*)
3. Ксавер Шандор Джальский (наст. имя Любомир Бабич, 1854–1935) – хорватский писатель. (*Прим. перев.*)

доктора Мизика" и у У. Соммерсета Моэма в "Лорде Маунтдраго" – все это продолжение и романическая разработка давнего убеждения, порой, возможно, даже переживаемого на опыте и обычно вполне объяснимого иллюзией, что сон позволяет заранее и с устрашающей яркостью переживать грядущие события. Такого рода новеллы, можно сказать, перенимают эстафету у приключений, случавшихся с образованным юношей Лю в монастыре Гоцзин, а в прошлом веке с Дж. О. Остином, мировым судьей из Мидлтауна. Те два рассказа, представлявшие собой простые документы, отличались документально-сухим изложением. Но сюжетная пружина налицо. Чтобы извлечь из нее драматические эффекты, недоставало лишь писательского искусства и вымысла.

В "Граде снов" Редьярда Киплинга два симметричных сна, увиденных юной англичанкой и солдатом Индийской армии независимо друг от друга, еще до их встречи, знакомства и свадьбы, представляют собой современную версию параллельных сновидений царя Викрамадитья и царевны Малаявати.

Тулсидас, по воле которого воплотилось в реальности и вызволило его из тюрьмы обезьянье воинство, предвещает собой аскета из новеллы Хорхе Луиса Борхеса "Круги руин", который одной лишь силой своих грез создает человека, неотличимого от живых людей, с той лишь разницей, что его не берут ни вода, ни огонь. Поглощенный сосредоточенной медитацией, он вдруг замечает, что его убежище пожирает пожар и сам он находится среди пламени, которое его не обжигает; тут аскет понимает, что он и сам вымышленное создание, которое снится кому-то другому. Патетический вариант того же мотива образует основу новеллы Джованни Папини "Последнее посещение больного дворянина", герой которой следующим образом определяет свое непрочное состояние:

Я существую, поскольку есть кто-то, кому я снюсь и которому снится, как я живу и передвигаюсь, – и которому сейчас снится, как я разговариваю с вами. Когда он начал видеть меня во сне, началась и моя жизнь; когда он проснется, я перестану существовать. Я – игра его воображения, творение его духа, гость его долгих ночных фантазий. Сны этого человека столь плотны и длительны, что я сделался зримым и для тех, кто бодрствует.

Даже неразрешимая проблема Чжуан-цзы, который не может решить, является ли он философом, которому приснилось, что он бабочка, или бабочкой, которой снится, что она философ, получила себе соответствие на Западе в новелле Теофиля Готье "Любовь мертвой красавицы". Концовка ее отнюдь не оправдывает надежд, сводясь к банальной истории про вампира, тогда как поначалу она позволяла ждать большего, когда ее герой Ромуальд заявлял: "То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность"[1].

Правда, в этой неразрешимой дилемме речь все время идет о человеке, об одном и том же человеке, который живет попеременно в разной обстановке, то благочестивой, то распутной жизнью. Контраст же между человеком и насекомым восстанавливается с необычайной смелостью в научно-фантастическом рассказе Генри Катнера и Кэтрин

1. Infernaliana: Французская готическая проза XVIII-XIX веков. М., Ладомир, 1999, с. 417. (*Прим. перев.*)

Л. Мур, где человек и насекомое, находясь в клиниках на двух далеких одна от другой планетах, видят во сне жизнь друг друга и живут этими неразделимыми и взаимодополнительными снами. Разительное различие между этими двумя новеллами прекрасно показывает, как исходные параметры задачи могут варьироваться, приводя к несовпадающим решениям. У Готье смятенный герой живет то одной, то другой жизнью и не знает, которая из них сон, а которая явь. В рассказе же Г. Катнера и К. Мур насекомое живет во сне жизнью человека, а человек — жизнью насекомого, где у него фасеточные глаза, шесть лапок и кольчатое брюшко. Здесь перед нами не одно сознание, неспособное отличить иллюзию от реального восприятия, а сознание двух живых существ, принадлежащих к разных царствам природы, причем каждое из них во время сна живет дневной жизнью другого, образуя цепь ежедневных и бесконечно повторяющихся взаимоподмен.

V

Перечень таких вариаций и постоянных тем конечно же не закрыт. Мне, однако, кажется, что приведенных примеров довольно, чтобы показать, какой силой обладает сон, чтобы обольстить или сбить с толку человеческий ум. Быть может, стоит в заключение добавить несколько слов о том, каково вероятное происхождение этой мощи, которую столь упорно приписывают тому, что вообще-то лишь беспорядочная цепь пустых образов.

Тайна сновидения обусловлена тем фактом, что эта фантасмагория, над которой спящий совершенно не властен, тем не менее всецело исходит из его воображения. Поскольку она разворачивается без его согласия, то ему трудно считать себя ответственным за нее. С другой стороны, он поневоле убежден, что она обращена именно к нему. И вот он предполагает некий смысл в этом послании, которое редко бывает ясным, да, собственно, и не волновало бы столь сильно, не будь оно загадочным. Спящему приятно думать, что сон исходит не от него, а от какой-то внешней силы — высшей, недоступной, все равно благоприятной или нет. Одновременно сам он бессомненно признает себя избранным получателем некоего торжественно-скрытого поручения. Он переживает сон как продиктованный кем-то таинственным. Тот, кто его диктует, возможно и не ведая, что он нечто диктует и что именно он диктует; тот, кто пассивным и бесконтрольным писцом покорно записывает получаемые им властные слова; тот, кто с удивлением читает текст, который ему незнаком и в то же время смутно памятен, — все это одно и то же лицо, сам сновидец. Во время сновидения, будучи в нем действующим лицом или свидетелем, он совершает поступки или наблюдает их по чужому поручению. На его место заступает братски похожий на него образ, действующий по его поручению, но без всяких предписаний, и однако же он за него в ответе — примерно так же, как романист остается в ответе за персонажей, которых он выпустил в жизнь и чьи слова и дела в принципе не могут ему вменяться.

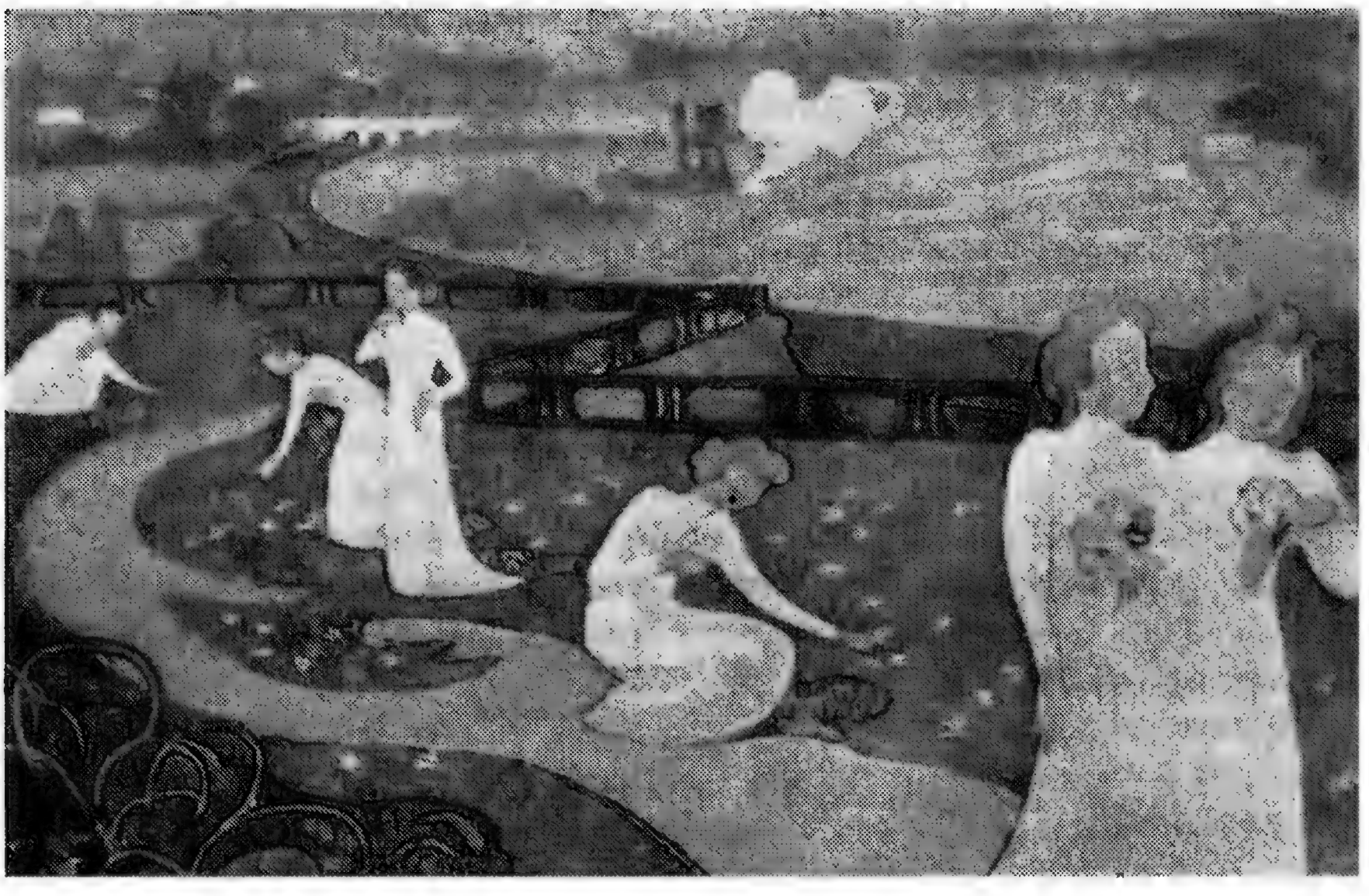
Итак, чары снов вызваны, с одной стороны, очень близкими им явлениями навязчивых представлений, одержимости, подменой личности, ожиданием потусторонних знамений, надеждами на бесспорное откровение. С другой стороны, они сродни литературному творчеству,

хотя в нем прежде всего требуется внимание и бдительность, прямо несовместимые с пассивной отрешенностью сна.

Сон — это как бы общая территория спящего, который его видел, и бодрствующего, который о нем помнит; а роман аналогичным образом посредничает между писателем, который его написал, и читателем, который благодаря его чтению на короткое, как бы вневременное время вступает в мир вымышленный, безусловно обманчивый и непрочный, но охотно принимаемый теми, кто радуется умению литературы творить более устойчивые миры, чем миры сна.

Сделаем еще один шаг. Не будь видимостей, не будь образов, не будь сна — мыслимо ли, чтобы могла возникнуть или существовать человеческая личность, то есть индивид, который является кем-то или чем-то, а не Всем?

Вывод этот столь настоятелен, что даже самые строгие богословы всех времен и всех традиций — те, кто отваживался пройти до конца по головокружительному метафизическому склону, кто был почти математиком в своей безупречно-холодной строгости, — чуть ли не единодушно сходятся в предположении, что отношения Бога и мира можно уподобить лишь тем отношениям, которые всемогущий Дух — которому зато и нет нужды что-либо мочь, да и желать чего-либо презренно по рассеянности, шалости или щедрости, от преизбыточности (в силу избыточного превосходства), — неведомо для себя поддерживает с непроницаемой Вселенной, выделяя ее из себя как некую бесполезную и безразличную феерию.



Татьяна Толстая

Зверотур

Эссе
Написано для "ИЛ"

Кто показывает нам сны, неизвестно; зачем — непонятно. Исполнение желаний? Решение дневных задач? Можно было бы, казалось, обойтись и без снов, а все эти решения и исполнения осуществлять наяву, да некоторые так и делают, обходясь без ночных коленчатых подземелий, пустынных морей и медленных обрушиваний в пропасти.

Может быть, и правда, во сне исполняются желания, но что такое *желания?* Дедушка Зигмунд, летом надевавший чесучовый костюм, и жилет, и воротничок, давивший на кадык, и перчатки, и шляпу, и какие-нибудь носки на подколенной резинке, о которых страшно подумать, плюс борода, плюс очки и манжеты, — дедушка, напрягавшийся всем потным, вбитым в трехслойную чесучу туловищем при виде каждого турнюра, понимал желания просто: тырк да пырк, что же лучше-то, есть ли наслаждение выше? Вот и видишь по ночам шляпы да колокольни, грибы да сапоги. Или сумочки. Или коробочки. Или остро очиненные перья. Или горы в снегу. Или лестницы. Или колодцы. Или просто бананы.

Турнюры, обстрелянные острым дедушкиным глазом, тоже, в свете этой теории, думают все про то же да оно же, как солдат перед дембелем. Странно вообще-то. Есть много еще других интересных вещей на свете.

Дедушка так ловко захватил всю ночную территорию, так хорошо подготовился к неизбежным сомнениям и протестам, что любой еретик, неверующий в высшую ценность шпаги и ножен, всегда останется в дураках: любое частное, интимное счастье, любой светлый секрет немедленно будет опорочен, приведен к общему пещеристому знаменателю. Обмолвишься, например, что самое-самое, во сне ли, наяву ли, — это смотреть на белые кучевые облака, смотреть, как они зримо плывут, огромные и нетяжелые, — сей же момент, как кукушка из ходиков, вывалится венский толкователь: "ку-ку! ку-ку! а это малофейка! ку-ку! это у вас просто сублимация!" — тьфу ты господи.

Нет, я отдаю должное дедушкиному остроумию, вооружившему нас некоторым полезным цинизмом: когда муж фригидной женщины видит во сне, что он засовывает бутылку шампанского в ведерко со льдом, то это конечно да, тут ничего не скажешь.

Но все же я предпочитаю думать, что помимо тутошнего мира самцов и самок есть мир тамошний, непрочитанный, лежащий за оградой как сад во тьме, мир, не поддающийся простому разоблачению или объяснению, мир, не сводимый к простой картинке: вот бездна страшной женской утробы, а вот и утлое суденышко перепуганного и оттого хорохорящегося туриста-спелеолога.

В этом мире, отделенном от нас и в то же время построенном прямо поперек нашего разума, сердца и глаз, обитает Сценарист — а может быть, их несколько, — который говорит на своем языке и предлагает

© Т. Толстая, 2003

нам понимать этот язык в меру нашего разумения. Он все знает о нас, но словно бы не считается с нами: ворует наши вещи, использует наших знакомых и любимых, захочет — меняет им лица, заставляет их обижать нас, оскорблять так, как никогда никто не посмел бы наяву, хоронит не убивая и убивает не хороня, перестраивает квартиры, устраивает странные, нерадостные случки с неподходящими любовниками, оставляющие одно только недоумение, — какое уж там исполнение желаний. Доводит до слез, длинных, жидких слез с подвыванием, — а повода не показывает. А иногда заведет в местности беспредельного, упоительного счастья, а всего-то — пыльная белая среди шумящих деревьев дорога, стремящаяся, разматывающаяся в сторону приближающегося, неслепящего света. А то надо на особой подводной платформе вовремя выбраться с поворотом за угол, пока не наступил Страшный Час. А то попадаешь в Австралию, а там при входе в эту Австралию как бы касса и надо предъявлять какие-то чеки, а они с ошибкой. А то упало и рассыпалось много-много монет, и сценарист заставляет тебя собирать их и так радоваться этой жалкой добыче, как не к лицу и бомжу. А то маленькая девочка, очень нехорошая, просто преступница, опасная такая, и у нее есть камень, он же глаз, и она им, камнем, все это ужасное делает, и ты предупреждаешь, так весь волнуешься, но они (кто? — все) не внемлют. А то поменяли квартиру, и так все хорошо, и комнат масса, просто чудесно, наконец-то, но вот незадача: на кухне дверь прямо на улицу, и посторонние люди имеют право свободно входить и проходить твою квартиру насквозь. Такое право у них, и ничего тут не поделаешь.

Потом он перемещает тебя в место, которое находится Очень Далеко, откуда далеко — не важно. И ты в этом месте находишься и прямо так и думаешь: о-о-о, как далеко!.. Но прямо оттуда видно прежнее место, которое "близко", совсем рукой подать. Но это не важно: между "близко" и "далеко" такое страшное расстояние, что в три года конем не доскачешь. И проснувшись, наяву, ты каким-то новым образом начинаешь понимать и чувствовать и эту зияющую, неперекрываемую бездну пространства, и невозможность путешествия, и непреоборимую тягу к путешествию, к пути, к колумбовым плаваниям, ко всему физическому чувству перемещения: к сладкому морскому или земному ветру, к миражам, к разворачивающимся и сдвигающимся горизонтам, к внезапному виду с горы, к мелькнувшему мимо прохожему, провожающему тебя непонятно каким взглядом.

Можно все детство, всю жизнь читать книжки о путешествиях, особенно с картинками, можно живо представлять себе весь пестрый мир, но только когда Сценарист по своему капризу устроит тебе это "далеко" — просто, можно сказать, на пустом месте, — только тогда наступит счастье настоящего воплощения слова, звука, понятия, смысла. Отсюда уже один шаг до литературы, вернее, до каких-то кривых попыток собственного творчества: то, что поселилось в душе, просится наружу, хочет быть выраженным; просеявшись сквозь сито внутреннего, неотменяемого знания, новое чувство заявляет право на свое рождение в мир, и с этого момента — случись тебе "сочинять" — нет над тобой судьи строже, чем ты сам, ибо кроме тебя никто, ни один доселе живший не знал и не знает, какое оно, это "далеко", на самом деле. А все только притворяются.

"В постель иду, как в ложу: // Затем, чтоб видеть сны". Тому, кто умеет смотреть сны, ночная жизнь дороже дневной. Иногда кажется, что единственное оправдание дневного перерыва между спектаклями — это обдумывание, переживание заново этой рваной ночной пьесы, идущей

всего один раз и без репетиций, — кстати, такое расточительство! Костюмы, декорации, актеры — а завтра все новое! Но сновидцы хорошо знают, что редкий сон не распадается — без предупреждения — через мгновения после пробуждения. Чтобы запомнить увиденное, надо немедленно записать хоть клочки пьесы, хоть часть сцен, образов, слов, испаряющихся как волшебные чернила. Чем старательнее соблюдаешь это правило — сразу записывать, чем точнее слова находишь для записи, тем благодарнее становится Сценарист: он показывает свои выдумки все чаще, позволяет запоминать все лучше, а сюжеты становятся все богаче. Как будто он — странный, бестактный, бесконтактный, аутистический, гениальный, неутомимый — именно этого от тебя и хотел, а ты — тупое, недогадливое, так называемое разумное, а на самом деле глубоко косное и неповоротливое животное — так и собиралось прожить всю жизнь, не подняв рыла ввысь, так и хрюкало бы у корней древа, не заметив, что крона его населена поющими райскими птицами.

Сновидения похожи на кино, в которое ты попал нечаянно, не желая того, но они подспудно и таинственно связаны не с кино, а именно с литературой, во всяком случае — со словом. Именно словесная фиксация сохраняет летучую ткань сна; наивно надеяться, что можно запомнить его сюжет, просто прокручивая в памяти только что виденные образы, как мы это делаем с любым "земным" кинофильмом. Эти "образы" — не образы, это что-то другое. Это рисунки на воде, это тени волн на морском дне: сквозь прозрачную воду видно, как пляшут по песку золотые цепи, но запомнить их форму можно, только если сфотографируешь, зафиксируешь, остановишь — и немножечко убьешь мгновение.

Кроме того, Сценарист — абсолютно бессовестный во многих отношениях, плевать хотевший на наши драгоценные трепетности — проявляет странную стыдливость или же дипломатическую деликатность, а то и юмор в обращении со словом. Опытные сновидцы знают, что Сценарист избегает называть важного для вас человека по имени. Скажем, вы влюблены в какого-нибудь Владимира — как бы хорошо увидеть его во сне, так нет же, так просто вам его фиг покажут, только по большим праздникам. Вместо этого в ваши сны придут Ленин, Путин, Маяковский, Набоков, Мау, Высоцкий, ваш сосед дядя Володя, кто угодно из тезок, только не тот, от кого вы находитесь в мучительной зависимости. Сначала вы не уловите связи, но если записывать сны подробно, то эта странная игра не может не броситься в глаза. И когда вы наконец догадаетесь, то Сценарист, прислав вам напоследок писателя Войновича или бывшего питерского губернатора Яковлева, сменит тактику и, разоблаченный, затеет другую, лучше зашифрованную игру.

Почему это так, зачем это ему — кто знает. В общем-то, это вполне "писательский" прием: "вывести" знакомых под чужим именем. Или это писатели применяют приемы Хозяина снов?

У Блока есть стихотворение "Ночная Фиалка" с подзаголовком-пометой: "сон". Вечер; он бредет по городу, за город и по болоту, входит в избу, там что-то случается со временем — оно вязнет, с памятью — она расширяется, а за прялкой сидит "Королевна забытой страны, // Что зовется Ночною Фиалкой". Там, в этой избе, — как бы Вечность, ведь пряжа — символ времени. "Дальше, дальше — беззвучно прядет, // И прядет, и прядет королевна, // Опустив над работой пробор. // Сладким сном одурманила нас, // Опоила нас зельем болотным, // Окружила нас сказкой ночной, // А сама всё цветет и цветет, // И болотами

дышит Фиалка, // И беззвучная кружится прялка, // И прядет, и прядет, и прядет". И опять: "...Над болотом цветет, // Не старея, не зная измены, // Мой лиловый цветок, // Что зову я – Ночною Фиалкой". И еще раз, и еще, по словесной спирали: "...лилово-зеленый // Безмятежный и чистый цветок, // Что зовется Ночною Фиалкой". Но что это за цветок и почему Ночная Фиалка?

Это растение – скорее всего, *вечерница,* Hesperis matronalis; с виду оно похоже на то, что мы в Питере называем флоксами. (Хотя флоксы, как пишут грамотные люди, относятся к семейству синюховых, а вечерница – из семейства крестоцветных.) Я, может быть, ботаническая тупица, но Блок тупицей не был: его дед Бекетов был известным ботаником, и книжки дома водились, пока их по бессмысленной злобе не сожгли революционные мужики. И название "вечерница" поэту должно было быть известно. И слово "вечер" разлито по всему сну. И, конечно, сон этот очень блоковский, очень серебряновековый: вечер, болото, королевна, лилово-зеленый цвет, вневременье и к концу сна – ожидание Нечаянной Радости. Деревянная изба, Скандинавия, трухлявые короли, когда-то бывшие молодыми, какой-то плен сумерек, недо-смерть, и ночной пленительный, поддерживающий и пропитывающий всю сонную конструкцию запах.

Это все, конечно, так, но есть и другое растение, тоже носящее имя Ночной Фиалки, а именно *любка двулистная,* Platanthera bifolia, семейство орхидных. О, какой у Блока опытный Сценарист, не хуже дедушки Бекетова! Блок видит во сне, конечно, мучительно-неотвязную свою любовь – Любу, Любовь Дмитриевну Менделееву, но только эта *любка двулистная* лиловой не бывает, цветы у нее мелкие и белые, совсем не таинственные, хотя как-то там она страшно полезна фармакологически. Это такая метелка, несколько ободранная и невнятная; колером не вышла, нежным плаксам Серебряного века в свои венки ее не вплетать. (Бывает она, правда, зеленоватой, но про такую наука грубо пишет: "Зеленоцветная любка аромата не издает. Скотом не поедается".) А вечерница и впрямь безмятежная и чистая, бледно-лиловая, нежно-фиалковая – детский такой, трогательный зонтик. Что сам Блок об этом думал, что осознавал – спросить больше не у кого.

Однажды я видела во сне плакат (запись на какие-то платные курсы в пещере, а пещера в горе; Зигмунд, отвяжись). На плакате, выполненном в стиле индийского лубка, скакал раскрашенный в красный цвет Буденный на коне, с саблей. Так странно... но, записывая наутро имя всадника, я тут же, с третьей буквы прозрела и поняла, что это был, конечно, Будда: на ночь я читала книжку о буддизме – все просто, без чудес. Но Сценаристу нельзя же так просто взять и приснить мне Будду, он поискал-поискал созвучия, и ближайшим тезкой самого мирного существа во вселенной, по иронии лексикона, оказался свирепый Семен Михалыч – "мы красная ка-ва-ле-рия, и про нас былинники речистые ведут рассказ".

Иногда он шифрует с помощью английского языка или любого другого, который вы знаете, или знали, да забыли. Я вот знала в свое время три слова по-венгерски, но уже и не вспомню какие. Я забыла, а у него они записаны, и кто скажет, – может быть, он вставляет их где-нибудь по ходу сонных моих странствий, а мне и невдомек... А в одной книжке о снах рассказывается про американца, который приехал в Россию, и ему было страшновато. Приснился ему пчелиный рой в дупле, и одна пчела, заползая в дупло, была какая-то нерешительная. Проснувшись,

он записал сон и тогда вдруг увидел его смысл: чтобы описать "осторожную пчелу", он выбрал слова "cagey bee", то есть "кейджи би" = KGB = КГБ попросту. И то, какой же американец не боится чекистов?

Мне же душным комариным летом приснилось, что у меня куплены билеты в Саудовскую Аравию и турагент меня отговаривает: с ума вы, дескать, сошли, там же страшная жара и загазованность. Казалось бы, слишком простой ход: в квартире жара, вот и снится жара. Но почему выбрана Саудовская Аравия? А потому, догадываюсь я, что у меня одновременно включен вентилятор и таблетка, убивающая комаров, "air" и "яд", а мне во сне лететь в Эр-Рияд.

В Интернете есть несколько сайтов, где сновидцы рассказывают свои сны; хорошо рассказанные сны волнуют не хуже прозы. Вот несколько снов неизвестных авторов. В смысле, спящих людей.

1. Снилось мне, что я в гостях в глухой деревушке, населенной настоящими чаеводами (нигде таких больше нет). Они объяснили мне, что в свежезаваренном краснодарском чае чаинки всплывают наверх в виде "ма-а-аленьких золотистых петушков" и не иначе. А еще мне, как знатному чаеводу, подарили бумажный кулек со сверхэлитной заваркой и ма-а-аленький черненький заварочный чайник. Почти весь сон я очень боялась, что выяснится, что я никакой не чаевод, и подарки отберут.

Или:

2. Иду я как будто по рынку, вижу – люди столпились вокруг какой-то пожилой женщины. У нее в руках большая полосатая сумка, как обычно у торговцев, доверху набитая полиэтиленовыми пакетами. И она вроде бы бесплатно раздает их всем желающим. Протискиваюсь через толпу, хочу получить пакет. Она мне сует маленький, прозрачный. А я вижу, что на дне у нее большие и красивые, она их пытается спрятать, чтобы никому не дать. Я говорю: "Дайте мне, пожалуйста, тот большой пакет". У нее кривится лицо, она что-то собирается ответить, но тут меня оттирает толпа. Я остаюсь вообще без всего. А пакеты, как та тетка сказала, не простые, а от Сороса.

Вот читаю, дивясь... Первый сон – словно бы Павич, второй – как будто некая притча. Сюжеты похожи: "отберут то, что сами дали" или "захотела большего – потеряла все", но стиль описания разный. Сквозь второй сон просвечивает, в общем-то, "Сказка о рыбаке и рыбке", женщина с сумкой выступает вроде бы в роли рыбки... Или это Сорос – рыбка? И задумавшись об этой великой сказке, Пушкиным не придуманной, но написанной, вдруг замечаю, что ведь и в первом сне – "золотой петушок"... а ведь я случайно выбрала для себя эти два сна из бездонной корзины чужих сновидений... Как это они сошлись вместе? Тут не Павич, тут другое...

А вот уж совсем ни в какие ворота:

3. Я приезжаю к своей родной сестре в гости в другой город. И у них там происходят странные вещи. Поселился некий не то человек, не то зверь, которого все именуют Зверотур.

Сие неведомое существо появляется неожиданно, даже в квартире, и пожирает понравившегося ему человека.

Вокруг жуткое напряжение, но несмотря на это город продолжает жить. Мы с сестрой и ее ребенком идем на прогулку.

Все ходят со специальным оружием, которое может на время охладить пыл Зверотура.

Ощущение надоевшего страха очень сильное, даже у меня, недавно живущего в этом городе человека. Это очень угнетает и тяготит душу.

И вот мне воочию довелось встретиться с этим зверем. Напряжение жуткое, потому что он непредсказуем и появляется в самых неожиданных местах. Народ в панике, все разбегаются. Я забегаю в какой-то парк, там стоит черная машина, которая собирается сдвинуться с места. Мне удается лечь на багажник. Машина едет задним ходом с большой скоростью, ветки бьют по лицу, я пытаюсь закрыться руками, но ощущение того, что я уже далеко от зверя, приободряет меня.

Машина попадает в другой город. Решаю для себя, что нужно как-то избавиться от этого зверя, и от ощущения неустойчивости положения, и надоевшего страха.

Иду в библиотеку в поисках информации о Зверотуре. Когда нахожу библиотеку, я встречаюсь там с шофером, который ехал в черной машине. Его отчитывают люди мафиозного вида. Каким-то образом они выяснили, что на багажнике кто-то ехал. Думая, что меня видел шофер, я признаюсь во всем сама, объяснив ситуацию, жалея шофера.

Выслушав меня внимательно, один из мафиози говорит, что поможет мне, и ведет к старушке, которая работает в архиве. Старушка выдает мне одной тайну Зверотура. Оказалось, что его нужно просто полюбить. И я решаюсь на это.

Каким-то образом я опять оказываюсь в том городе и нахожу Зверотура. Оказываюсь лицом к лицу со зверем (он очень большого роста, за 2 метра, огромные плечи и большой рот, уродливое лицо, стоит на двух ногах как человек, но вместо ног копыта, руки как у обычного человека). Солнце мне очень слепит глаза, но несмотря на это я сквозь кожу Зверотура вижу его сердце и... и тут зазвенел будильник.

Получилось очень сумбурно. Я просто вся под впечатлением сна и никак не могу его объяснить для себя. Я не смотрела телевизор, не читала книг. Есть ли вообще такое понятие Зверотура? Я еще до сих пор нахожусь под эмоциями сна (все очень четко и красочно помню), хотя уже вторая половина дня.

...Ни в какие ворота, потому что "автор" словно бы никогда не читал сказку "Аленький цветочек", не опознал Минотавра, и вообще роскошно развитый в мировой литературе сюжет "Beauty and the Beast" пролетел мимо его сознания. А этого почти не может быть... Где был?.. Пиво пил?.. Но это, наверно, и есть самое ценное: такая девственная нетронутость культурного сознания девушки привлекла Сценариста, и он с размаху, как оплеуху, напечатлел на этой всполошенной tabula rasa свой заветный архетипический сюжет. Оп-ля! Знай наших!

"*Вместо ног – копыта...*" – тревожится безымянная сновидица, и точно так же тревожились сновидцы средневековья и античности и в Шумере, в камышовых шалашах, просыпались с колотящимся сердцем и пересохшим ртом, и в Африке, и в Китае; и бог знает где и когда Сценарист впервые послал нашему брату – примату, двуногому без перьев, всеядному, о тридцати двух зубах, млекопитающему, прямоходящему – этот несгораемый сюжет о необходимости *полюбить* монстра, то ли чтобы нейтрализовать его злодейские замыслы, то ли – поднимай выше – как первый сигнал о пробуждении этого странного, истинно человеческого побуждения – милосердия. То ли просто – встречайте свое

Подсознание с букетами и оркестром. И всегда какой-то из снов идущий непорядок с ногами: хромой бес, козлоногий Пан. От наскальных рисунков до — ну хотя бы — Татьяны Устиновой, автора таких ловких детективов, скрещенных с дамским романом: он — хромой ветеран афганского спецназа на протезе (баба-яга — костяная нога мужского рода), она — дочь олигарха (то есть "честная купеческая дочь"). Буря страсти. Красавица и Чудовище. У всех у нас под кроватью в детстве жили такие же, но мы выросли, стали проще, и подкроватные жители ушли.

Еще он любит такую штуку: ты будто бы в своей квартире или на даче, так хорошо знакомой. И вот в одной стене обнаруживается дверь, вроде бы она всегда там была, но ты по глупости или по рассеянности ее не замечал, а сейчас вот обнаружил. И сердце замирает, и открываешь — а там еще комната, или коридоры, и даже словно бы что-то вспоминается — то ли в детстве ты там играл, то ли просто знал, как туда попасть. И там чудесно, так чудесно!.. Я знаю как минимум три литературных сюжета, построенных на этом важном, важном до сердцебиения сценарии. Это "Дверь в стене" Уэллса — классика-переклассика; "Посещение музея" Набокова — не мог он тут не отметиться; и средненький рассказ Дж. Б. Пристли "Другое место"... а не важно, что средненький, важно, что написал, уважил Сценариста. Ну и море вторичной литературной продукции, всякой там "научной фантастики", "фэнтези" и всей этой литературной дребедени, кормящейся очистками ночного сознания и запускающей бессовестную морду в чужую корзину с овсом.

А маленькие опасные девочки, которые делают ужасное, питают бесконечного Стивена Кинга; а сюжет с квартирой, сквозь которую проходят чужие люди, потому что так надо, попадался мне у Арво Валтона. Рассказы и романы Уэллса все насквозь пропитаны снами, и недаром его так тянуло к скрытому миру, что он под конец жизни занялся столоверчением, чтобы навещать поместье Сценариста с черного хода.

"Желания"! Ничего-то мы не знаем про свои желания, а если думаем, что знаем, то никакого исполнения во сне не происходит, не то мы бы все ходили довольные-предовольные. Душные городские европейские желания среднего класса тысячу раз исполнялись в европейской литературе, от фольклора до высокой, сложной прозы. Вот, все женщины твои; вот, ты миллионер; вот, тебе все повинуются; вот, ты объездил весь мир; вот, ты объелся и упился всем, чем хотел объесться и упиться. Придумал. Написал. Вроде полегчало. А потом снятся сны в том смысле, что деньги — это пустые бумажки, пластиковые пакеты от Сороса, а женщины проходят мимо и делают странные вещи не для тебя, а ты хочешь бежать — и сдвинуться с места не в силах, а еда — это вата без вкуса, а на поезд ты всегда опаздываешь, а море стоит вертикально, как синяя стена, а волну можно приподнять двумя руками, как одеяло, а счастье — это плыть в неглубокой розовой воде, — то, что наяву звучит невыносимо пошло, как коммерческие услады Барби.

4. Больше напоминает романтическую фантастику.

Не помню, есть ли города, государства, не смогу сказать точно – что за время года.

Розовые внутренности какого-то подземного сооружения. Все пропитано приятным запахом, который источают все предметы вокруг. Розовые стены, пол и потолок. Бесконечный лабиринт коридоров, но они не давят на психику,

не угнетают. Наоборот – вокруг царство спокойствия, доброжелательности. Люди рядом со мной улыбчивы.

Понравилисъ мне какая-то теплота отношений и минимум одежды – что-то вроде купальников из розового пуха. Но по желанию можно и без них.

Хотя запомнилась, помимо всеобщей розовости, замкнутостъ пространства. Может, это все искусственно создано. Но воздух вокруг чист и благоухает. Водоем с теплой розовой жидкостью, через который я и группа моих друзей плывем на матрацах. Больше похоже на череду бассейнов. Вокруг розовое, розовое, розовое...

Розовый цвет европейцы не уважают, он в нашей культуре как-то маркирует инфантильность, незрелость, глупость, детство; большинство же американских женщин предпочитают розовый цвет: незрелая нация, ой, незрелая... Колхозные вкусы: пушистая розовая кофточка. Новорожденным девочкам — розовое одеяльце. Розовое платье с зеленым поясом на мещанке Наташе в чеховских "Трех сестрах". Все это — фу. Но во сне другая культура, не европейская, своя какая-то. Там розовое — это отлично, это чудесно, это обожаемо: это розовое платье юной Марины Цветаевой "с этой безмерностью в мире мер" — Цветаевой, царственно отметавшей невротические наши заботы о "вкусах" и "пристойности", поэтессы, свободной до неприличия, до фамильярности со Сценаристом, нисколько эту бесстыжую связь не скрывавшей, а, наоборот, выставлявшей напоказ: "Сны видящей средь бела дня, // Восхищенной и восхищённой, // Все спящей видели меня, // Никто меня не видел сонной".

Я тоже часто вижу во сне розовое стекло или "сухую розовую воду", я не знаю, что это такое, но это очень хорошая вода: когда моешь ею руки (она для рук), то как-то куда-то проходишь сквозь слои сонного пространства, как-то словно бы больше понимаешь и вот-вот что-то совсем важное поймешь. Такая вода.

Нас, наверное, много, заглянувших в этот вариант закрытого мира, не только я да девушка, плававшая с друзьями на матрацах, но не все же скажут. Да вот, общеизвестное: "Я теперь скупее стал в *желаньях.* // Жизнь моя! Иль ты *приснилась* мне? // Словно я весенней гулкой ранью // Проскакал на *розовом* коне". Для меня нет сомнения, что какие-то вещи из снов тут просочились и легли стихами. Разберись-ка, Зигмунд.

Да, собственно, вся литература связана со снами: и прямой связью, и связью обратной, и цитированием, и попыткой построить текст как сон, и бессознательным использованием сонных образов, и сознательным. Самый "сонный" писатель — Кафка, самый сонный его роман — недописанный "Замок", где герой попадает в самозапутывающуюся ситуацию, не находящую разрешения, — каждый его осторожный и продуманный шаг немедленно и мучительно усложняет мир в энной степени, а почему? Потому что он действует в этом мире по дневной, ясной, разумной логике, а там совсем иные правила. Кажется, если бы он сделал что-то нелепое, иррациональное, можно было бы что-то поправить, но ведь само решение сделать что-то неразумное есть *разумное* решение, а оно-то все и портит.

Мы не управляем Сценаристом, это он управляет нами. Мы, разумные такие, хотим ответов на вопросы. И иногда он снисходит до объяснений:

5. Я вижу звездное небо (не как с конкретного места Земли, а как такой всеобщий круг), и голос за кадром (или просто мысленный голос) говорит мне, что когда сойдутся вместе четыре конских созвездия, то наступит конец света. Объяснение такое – дескать, "конские созвездия" это такие, в которых есть кони, Кентавр там, например, и т. д. Звезды ведь на небе перемещаются, когда-то возникнет такая ситуация, что они сойдутся.

Или:

6. Сначала я убегала не помню от кого, с подругами. Потом забежали мы в какой-то типа автобус, и зашел человек, очень странный, в темном одеянии, показал на меня и сказал: хочешь узнать свое будущее, я согласилась, и он сказал: "что было – то было, а что будет – то будет", и ушел, исчез. И я проснулась.

Но лучшее, что разрешено видеть во сне пишущему человеку – а таковыми можно считать почти всех, – это упоительные, самые гениальные на свете тексты. Стихи – куда там Пушкину! Правда, проснувшись, понимаешь, что, может быть, все-таки Пушкин обставил тебя и на этот раз... Так, одной знакомой даме удалось проснуться среди ночи и торопливо записать свой шедевр:

Он.
На груди висит вагон.
Оп.
На вагоне медный клоп.

А другому человеку приснили такое:

Летает птичка на рассвете,
Чем дальше в лес – тем больше дров.
Осталась я одна на свете,
Так будь здоров, так будь здоров...

Там, на родине Зверотура, это, наверно, так же грандиозно, как "эники-беники ели вареники", это у них такой Шекспир. Я тоже как-то занималась столоверчением, вызвала дух одного поэта и спросила его, пишет ли он там стихи. "Пишу". – "На каком языке?" – "На ангельском". Ну, значит, нам не прочесть.

Я вот не пишу стихов, да и не претендую; мне снится проза. Такая!.. Такая!.. О, какая! Это такие потрясающие тексты, в которых каждая буква, а не то чтобы слово, стоит на нужном месте и произносить ее, проговаривать вслух – высшее наслаждение для наконец-то дорвавшегося до своей пищи духа. Все прочее – макулатура! Мне дают – нет, меня подпускают к Большой Белой Книге in folio, покрытой черными строчками бесконечного текста. Книга старинная, буквы крупные, может быть рукописные. В каждом слове – Высший Смысл, оказавшийся таким простым для понимания, что от счастья начинаешь смеяться. Смеешься и читаешь, смеешься и читаешь. И тут, как всегда, все начинает портиться, я просыпаюсь – меня изгоняют из рая, сила тупого утра выталкивает меня на поверхность, Высший Смысл закрывается, абракадабрируется и белибердизуется, и горсточка вырванных у сна запомнившихся слов

бессмысленна, как клавиатура пишущей машинки: фывапролджэ, кто ж ее, родимую, не знает.

Смирись, бодрствующий; смирись и спящий: тайна сия велика есть, Большую Белую Книгу навынос не выдают, но главное — она есть; вот это главное. Я видела ее сама. А нам — что ж, нам разрешено тут, по эту сторону ограды, стараться кто как умеет, нам дали чистые листы бумаги, и мы, может быть, сами того не подозревая, напишем иной раз такое ячсмитьбюё, что Сценарист в восторге вклеит и нашу страничку в свое избранное, чтобы было что почитать ангелам в гамаках.

Рамон Гомес де ла Серна

Новая теория сновидений

Эссе

Перевод с испанского Е. Матерновской

Согласно моей новой теории, ткань наших снов сплетают демоны, а тому, кому демон не успевает наслать сновидение, его нашептывают собственные инстинкты. Сны с логическим и стройным сюжетом несут в себе предсказание судьбы.

Ангелы не смеют входить в темную пещеру сна. Каждое сновидение таит в себе глубокие провалы, на дне которых не могло бы находиться ни одно Божье создание. Поверьте, сны — не от Бога.

Наивно принимать ореол суеверий, окружающих сон, за его истинную сущность.

Любой демон обладает бессчетным количеством хитроумных уловок, для того чтобы навевать людям сны.

Недавно, гуляя в саду, я заметил насекомое с алыми крылышками. Опустившись передо мной на тропинку, оно внезапно исчезло. В том месте не было ни норки, ни трещины, где насекомое могло бы спрятаться. И тогда я подумал: "К чему дьяволу театральный костюм Мефистофеля, если можно принять облик насекомого?" Недаром стрекозу с большими синими крыльями называют лошадкой сатаны. Разве это не лучший способ незаметно проникнуть в наш мир?

Сон превращает человеческую душу в темный и грязный подвал, по которому, словно крысы, снуют довольные злые духи.

Лишенный благодати, искаженный мир сновидения служит для воплощения изощренных замыслов Люцифера. Иначе он был бы лишь бессмысленным нагромождением ощущений и образов.

Вспомним, как начинается сон. Появляется таинственное существо, должно быть, морское, и увлекает нас в пучину, заставляя ощутить вначале дрожь, а затем наслаждение.

Во сне становятся явными тайные желания и пороки. Кто, кроме злого демона, способен искушать спящих рядом влюбленных, заставляя их грезить об изменах?

Днем и ночью, когда бы ни застиг человека сон, злые духи спешат проникнуть в него из глубин подземного мира.

Когда за дело берутся могущественные демоны или сам сатана, сновидения выходят подробными, полными мелких, изящных деталей. Так Босх изобразил искушение святого Антония. Умершие во сне просто заблудились, стремясь убежать от кошмара, и вместо двери, ведущей в мир живых, открыли дверь в чертоги смерти.

© Е. Матерновская. Перевод, 2003

Если во власти злых духов оказалась влюбленная пара, мужчина, проснувшись, должен поскорее разбудить свою возлюбленную, чтобы не оставить ее в царстве Люцифера, большого любителя спящих женщин.

Разве, просыпаясь, вы не испытываете облегчение?

Поэтому мудрый человек делает все возможное, чтобы никогда не засыпать. Ночи напролет он бродит по темным улицам, оставаясь под защитой Бога, который смотрит на нас с небес.

Острое чутье полуночника спасает его от Ужаса, перед которым беззащитен тот, кто до утра заперт в своей спальне, брошен в темницу сновидений.

Грэм Грин
Мой Собственный Мир

Фрагменты книги

Перевод с английского Е. Зиминой

Предисловие

За несколько дней до кончины, когда мы с дочерью Грэма Грина Кэролайн навещали его в L'Hôpital de la Providence в Веве[1], он попросил меня подготовить для публикации этот дневник сновидений. Написать предисловие к книге, которую он озаглавил "Мой Собственный Мир", меня побудило лишь данное Грину обещание ее издать.

Грэм столь же решительно оберегал свою личную жизнь, сколь уважал чужую. Об автобиографии и слышать не хотел — поставил точку в двадцать семь лет, написав автобиографическую повесть "Такая вот жизнь". Говорил, что, продолжив тему, неминуемо вторгнется в чужую жизнь. Гораздо более притягательным для него был мир собственных снов. Грин завел дневник сновидений и делал в нем записи на протяжении последних двадцати пяти лет почти ежедневно.

Из нескольких дневниковых тетрадок он тщательно и с большой осмотрительностью отобрал сновидения, которые ему захотелось обнародовать. Идеей издать эту книгу он увлекся незадолго до смерти, и читать ее — наслаждение еще и потому, что автор и сам получал удовольствие, выбирая материал.

В мире подсознательного и воображаемого — он называет этот мир "фарфелу"[2], — где все перепутано и происходит вне времени, Грэм чувствует себя счастливым, ему там легко. "В каком-то смысле это автобиография", — пишет он во вступлении к книге, и, по правде говоря, границ между миром его снов и миром, в котором он жил наяву, почти нет, все шлагбаумы подняты. Здесь он может злословить на чужой счет, пускаться в авантюры и наслаждаться нелепостью происходящего. Во сне он как бы отдыхает от самого себя. "Когда удается запомнить сон целиком, возникает ощущение, словно побывал на специально для тебя устроенном представлении. Будто тебя катапультировали в другой мир, и оттуда все, что заботит наяву, уходит далеко-далеко", — делился он с другом.

Как-то я сказала Грэму, что поражаюсь его способности не только запоминать сны, но и хранить в памяти мельчайшие их детали. Он ответил, что научился этому давно, когда еще мальчиком ходил на сеансы психоанализа. Врач просил его пересказывать сны (пришлось даже рас-

© Verdant S. A., 1992
© Yvonne Cloetta. Предисловие, 1992
© Е. Зимина. Перевод, 2003
Гонорар за предоставленные для публикации авторские права по просьбе сына писателя, г-на Фрэнсиса Грина, переведен в Пермский центр поддержки молодежных инициатив пермского отделения общества "Мемориал".

1. Местечко в Швейцарии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Farfelu (*идиш*) — блюдо из лапши.

сказать эротический сон, в котором участвовала красавица жена самого психоаналитика). Тогда и появился на свет первый дневник сновидений. Годы спустя он вновь стал вести дневник и всегда держал на ночном столике карандаш и бумагу, чтобы, очнувшись, тут же вкратце набросать привидевшееся. Сновидений за ночь у него бывало несколько, и утром, проснувшись окончательно, он легко восстанавливал их по ночным записям и переносил в дневник. Я до сих пор помню его первый дневник — толстый блокнот в темно-зеленой кожаной обложке. Он получил его в подарок от друзей. А другой был цвета бордо.

Не секрет, что сны всегда очень интересовали Грэма: он считал, что подсознательное играет в литературе огромную роль. Он садился работать сразу после завтрака и писал, пока не набиралось пятьсот слов (в более зрелом возрасте нормой стали двести). Перед сном он всегда перечитывал написанное утром, давая подсознанию работу на ночь. Сны помогали ему преодолевать творческий ступор, они же давали ему материал для коротких рассказов или подсказывали идею нового романа (так появились "Поле битвы" и "Почетный консул"). Иногда Грин настолько отождествлял себя с персонажами, что начинал видеть как бы не свои сны. Например, в романе "Ценой потери", зайдя в тупик, он "приписал" подобный сон одному из персонажей, Керри, и тем самым направил повествование в нужное русло.

Меня всегда поражал провидческий характер снов Грэма. Однажды Грин зашел ко мне невероятно расстроенный и признался, что ему приснилась катастрофа. "Надеюсь, с моими родственниками и близкими ничего не случилось", — сказал он, а через несколько часов по радио сообщили, что между Корсикой и Ниццей в нескольких километрах от Антиб, где у Грэма была квартира, упал в море самолет. Все пассажиры погибли. Погиб и находившийся на борту генерал Когни, с которым Грин познакомился во время вьетнамской войны.

Снов-предсказаний у Грэма было много. Виделись ли ему страдания и беды или счастье — сны были такими яркими и четкими, что воспоминания о них подолгу не отпускали его и даже определяли настроение.

Я до сих пор помню один из его повторяющихся снов — сон-загадку, в котором, как кажется сегодня, скрывалось послание. В "Такой вот жизни" Грин описывает сны, повторявшиеся долгие годы после смерти его отца, последовавшей в 1943-м: "В них отец всегда был в больнице — один, без жены и детей. Иногда его отпускали на побывку, и он появлялся дома — такой же страдающий, молчаливый, одинокий. Осознающий, что скоро придется возвращаться в "тюрьму". Я вижу эти сны и теперь, и так ярко, что порой мне даже стоит труда убедить себя, что не было ни больницы, ни отчуждения и что отец не расставался с матерью до самой смерти". Грэма всегда огорчало, что отцу приходилось возвращаться в больницу, и можно было бы считать такие сновидения случайностью, если бы они не содержали в себе предчувствия того, что пришлось пережить ему самому, — вынужденного больничного заключения, приносившего неизмеримые страдания.

В этой последней книге он ненадолго впускает нас в Свой Собственный Мир — мир напряженной внутренней жизни, мир ускользающий, из которого он порой черпает вдохновение и дверь которого держит на замке из страха перед незваными гостями, что могут испортить "узор ковра". В знак прощания Грэм распахивает перед нами ворота Своего Собственного Мира.

Грэм,

в "Силе и славе" ты написал: "Там, в космосе, лежат манящие, сверкающие миры. Наш мир — не вся Вселенная. И где-то в одном из них Христос жив".

Если такое место есть, ты наверняка его нашел.

Ивон Клоетта,
Веве, Швейцария.
Октябрь 1991 г.

Просыпаясь, мы возвращаемся в общий мир, засыпая, уносимся каждый в свой собственный.
Гераклит Эфесский, 500 г. до н. э.

Введение

Приятно иногда осознавать, что существует мир, который принадлежит только тебе. Мир, где путешествия совершаются в одиночестве, а опасностям и переживаемым мгновениям счастья нет свидетелей. Где никто не обвинит в клевете. Люди, которых я встречаю в этом мире, не помнят, что видели меня, и ни один журналист или биограф не смогут впоследствии сравнить мои суждения с чьими-то еще. И вряд ли меня можно будет привлечь к официальной ответственности как проштрафившегося контрразведчика. А ведь я беседовал с Хрущевым во время званого обеда и именно меня контрразведка послала уничтожить Геббельса. Я не лгу — более того, не найдется никого из очевидцев происходивших со мной событий, кто мог бы обвинить меня во лжи.

Из дневника толщиной почти в восемьсот страниц, начатого в 1965-м и оконченного в 1989 году, я решил выбрать отдельные сцены из Моего Собственного Мира. В каком-то смысле это автобиография, открывающаяся главой о счастье и завершающаяся размышлениями о смерти, — описание некой довольно причудливой жизни, пришедшейся на последнюю треть двадцатого столетия (все войны, о которых я рассказываю, относятся к шестидесятым, а не к сороковым годам). И тем не менее ни один биограф не извлечет из написанного никакой пользы, несмотря на то что иногда я даже проставлял для собственного удовольствия даты приснившихся мне удивительных событий или встреч.

Я решил начать книгу с описания моей неожиданной встречи с Генри Джеймсом, произошедшей весной 1988 года в Боливии на борту речного пароходика. Однако план мой изменился после того, как впервые за долгие годы ведения дневника Моей Второй Жизни мне удалось испытать ощущение счастья. Громкие имена — не редкость в Моем Собственном Мире, но счастье, бессмысленное и необъяснимое, посетило меня всего однажды.

Считается, что замкнутую дверь этого Мира помогает отворять опиум, но у меня нет оснований так полагать. В пятидесятые годы я курил опиум во Вьетнаме и Малайе и вел дневник, где описывал ужасы войны Обычного Мира, но в воспоминаниях о Моем Собственном Мире той поры у меня осталось лишь одно знаменательное событие — знамена-

тельное потому, что относится к совсем далеким временам, а именно к году Рождества Христова.

Я вроде бы жил неподалеку от Вифлеема. Я надумал спуститься в город и посетить известный мне бордель, для чего захватил золотую монету, чтобы расплатиться с девушкой, которую выберу. Подходя к городу, я застал странную картину: мужчины в восточных одеяниях били поклоны и приносили дары. И кому же? Глухой стене. Некому было ни ответить на их поклоны, ни принять дары. Я стоял, наблюдая эту странную сцену, и вдруг что-то побудило меня бросить к стене монету и уйти. Что это было?

Время в Собственном Мире может течь медленно, а может лететь стремительно. В тот раз столетия пронеслись как один миг, и оказалось, что я лежал в постели и читал Новый Завет — историю о том, как восточные цари пришли к вифлеемским яслям. Тогда-то я и понял, что видел ту самую сцену. Сначала я подумал, что сам я пришел в Вифлеем, чтобы отдать золотую монету женщине, и отдал ее на самом деле, хотя предстала моим глазам лишь глухая стена.

С точки зрения воображения Собственный Мир любого человека очень отличен от его Обычного Мира. Вот что говорил в одном своем интервью Роберт Луис Стивенсон об истории появления на свет доктора Джекила и мистера Хайда: "У меня кончились деньги, надо было браться за дело. Целыми днями я думал, о чем бы таком написать. Ночью мне приснился сон, это был просто подарок. Удивительно, как вовремя он явился, хотя я и вижу сны очень часто. Например, недавно я увидел сон и написал "Олаллу", у меня и сейчас есть в запасе два ненаписанных рассказа, сюжеты которых я увидел во сне".

"Олалла" незаслуженно прошел мимо внимания публики, у героя есть некое тайное сходство с доктором Джекилом. Действие определенно происходит в Собственном Мире Стивенсона, а не в Испании, о которой идет речь, так же как из Лондона доктора Джекила события переносятся на улицы Эдинбурга или улицы некоего города из Собственного Мира автора.

Удивительно, что, находясь в Обыкновенном Мире, он ощущал себя чужим Своему Другому Миру. Его озадачило собственное произведение, он считал его неудачной попыткой. Вот что он писал в письме: "Олалла" плох, он почему-то звучит фальшиво... Что же делает историю правдивой? "Маркхейм" — правдивый, "Олалла" — вранье, не знаю почему". С доктором Джекилом он так намучился, что даже сжег первый вариант рукописи.

Некоторые из моих рассказов написаны целиком по воспоминаниям о Моем Собственном Мире. В "Сне о чужой стране" я описал свои ощущения, испытанные в Том Мире, когда, заболев проказой, отправился просить помощи в Швецию. Вышедший в печати рассказ отличается от сна лишь финальным выстрелом. Другой рассказ, "Корень зла", действие которого происходит в Германии девятнадцатого столетия, ничем не разнится от увиденного мною сновидения. Проснувшись, я лишь удовлетворенно улыбнулся и перенес события из Моего Собственного Мира в Мир Обыкновенный.

Есть и еще одна особенность в том, что мы называем сновидениями, и она очень любопытно описана Дж. В. Данном в его "Эксперименте со временем". В снах присутствуют "вырезки" как из будущего, так и из прошлого. Я уже писал о том, как семилетним мальчиком увидел во сне ко-

раблекрушение. Это случилось той самой ночью, когда затонул "Титаник". А девять лет спустя я стал во сне очевидцем еще одного жуткого кораблекрушения — в Ирландском море. Просматривая длинный список своих снов, я ощущаю ход времени и отмечаю события, произошедшие в Обыкновенном Мире несколько дней спустя после привидевшегося. События эти слишком незначительны, чтобы говорить о них в этой книге, но в правоте Данна я убежден.

Необычность совершенно неожиданной встречи с Генри Джеймсом в Моем Собственном Мире, я считаю, заслуживает по меньшей мере того, чтобы начать с нее вторую главу — "Знаменитые писатели, с которыми я был знаком". В отличие от биографов, я не вижу необходимости в последовательном нудном описании событий, и моя встреча с Папой Иоанном Павлом II, произошедшая в гостиничном номере, представляется мне менее значительной, чем более поздняя встреча с Генри Джеймсом. (Уверен, что, разбуди я Папу, ничего хорошего это ни ему, ни мне самому не принесло бы. Мы не были созданы друг для друга.)

Отсутствие в книге описания эротических снов может показаться странным, но я не желаю рассказывать о тех, кого любил в Моем Собственном Мире, хоть и не могу бороться с биографами и журналистами Обыкновенного Мира, не пожалевшими моих возлюбленных. Нет в книге и описания кошмаров. Войны и опасности присутствуют, но все они не так страшны, как ведьма, которая каждый раз кралась за мной по коридору в детскую, когда я был маленьким, пока однажды я не обернулся и не посмотрел ей бесстрашно в лицо и она не исчезла навсегда. Когда я жил на Гаити и во Вьетнаме, в Моем Собственном Мире страшных снов было предостаточно, но ужасных и кошмарных не было никогда. Вероятно, в моих страхах всегда было что-то от приключения и толика удовольствия — как в Обыкновенном Мире, так и в Моем Собственном.

Счастье

Это приснилось мне в 1965 году. Я решил заняться вербовкой сторонников Либеральной партии перед дополнительными выборами и поехал для этого в городок под названием Хорден. С центрального вокзала "Виктория" поезда туда не ходили, и ехать надо было по боковой ветке, корденской. Я подумал, что ветка эта очень старая и ехать по ней будет интересно, и не ошибся.

Первый из отходивших поездов состоял из симпатичных вагончиков, построенных, по виду, больше ста лет назад, но до Хордена поезд не шел. К отправлению готовился второй, набитый битком. Я подивился дружелюбию и приветливости пассажиров, охотно освободивших для меня местечко. Одеты они были весьма странно — в платья эдвардианской и викторианской эпохи, — да и станции, мимо которых мы проезжали, тоже были удивительные. На одной дети запускали в небо красные шары, другая выглядела как руины греческого храма. Потом колея сузилась, и поезд въехал в туннель, своды которого были выложены тюфяками.

Никогда в жизни я не чувствовал такого счастья. В старинных домиках, стоявших вдоль дороги, то там, то здесь гас свет, и я мечтал о скорой встрече с женщиной, которую в то время любил.

Поезд остановился у старого трактирчика, и кто-то из пассажиров произнес:

— Смотрите, все мужчины выпивают или играют в карты.

Молодожены, сидевшие рядом (хорошенькая девица, правда, не моего типа, и молодой человек — кудрявый симпатяга с честным взглядом), держались со мной как старые друзья.

— Я прожил в Лондоне пятьдесят лет, — сказал я, — а про хорденскую ветку не знал. Так бы и ездил по ней каждый день!

— Ага, только смотрите, не соглашайтесь ночевать в общежитии, — ответила девушка.

— А что, гостиниц у них нет?

— Никудышные.

С поисками сторонников либералов я решил повременить. Мне хотелось только одного — поскорее осмотреть Хорден, увидеть, какой он. Я думал вернуться в Лондон к ужину, но, выйдя в Хордене, на всякий случай, поинтересовался, когда отходит последний поезд на Лондон. А вдруг он уже ушел и мне придется ночевать в унылом общежитии? Но все оказалось в порядке — последний поезд был в 22.25.

Девушка взяла меня за руку и заявила, что хочет показать мне город.

— Но сначала мы все вместе чего-нибудь выпьем, — ответил я. — Смотрите, какое веселье в барах. Надеюсь, вы не только чай пьете?

— Не только, — сказала девушка.

— Тогда выбирайте самый уютный бар.

Все время, что я оставался там, меня не покидало ощущение необъяснимого счастья. Ах, если б можно было вернуться как-нибудь в Хорден, городок из Моего Собственного Мира!

Знаменитые писатели, с которыми я был знаком

Странная вещь, но в Моем Собственном Мире нет места живым писателям. Похоже, писатели, которых я имею удовольствие знать, должны умереть, чтобы попасть в Мой Тайный Мир.

Генри Джеймс

В апреле 1988 года мы с Генри Джеймсом оказались на речном суденышке, отправлявшемся в Боготу. Об этом путешествии у меня остались на редкость унылые воспоминания.

Судно отходило после полуночи, и мы в полной темноте волокли по причалу свой багаж. Я бы развернулся и поехал обратно, если бы не решительность великого писателя и мое преклонение перед его талантом.

Вдобавок ко всему прочему, по причалу разносился громкий голос невидимого в темноте офицера:

— Любой, кто попытается проникнуть на судно без билета, будет оштрафован на тысячу долларов, — грозил он.

В такой толпе и достать-то билет из кармана было невозможно!

Сесть было негде — мы протиснулись в коридор, набитый одними женщинами, но Генри Джеймс даже не пожаловался. Спустя некоторое время корабль причалил к какой-то пристани, и несколько пассажиров

сошло на берег. Я, разумеется, предложил Джеймсу воспользоваться оказией и удрать, но он и слышать об этом не хотел. Мы должны дойти до самого конца, как бы тяжел он ни был.

— В интересах науки, — пояснил он.

Роберт Грейвз

Однажды ночью я по счастливой случайности встретился на дороге с Робертом Грейвзом. Он выглядел таким же молодым, каким я знал его в Обычном Мире в 1923 году, когда он жил неподалеку от Оксфорда. Он обрадовался нашей встрече и вспомнил еще одну — на итальянской границе, — о которой я забыл. Я сказал, что всегда восхищался его стихами, даже тогда, в двадцатых, и что до сих пор храню как реликвию его первую поэму — "В огне жаровни".

— А мой ужасный сборник стихов, "Лепечущий апрель", ты помнишь? — спросил я. — Ты тогда весьма лестно отозвался об одном стихотворении. А сейчас на аукционе этот сборник продается даже дороже твоей первой книги, — не удержался я и поддел его.

Жан Кокто

Я встретил Жана Кокто в ноябре 1983 года на вечеринке. Встреча меня приятно удивила. Я заговорил с ним, боясь увидеть в ответ холодный взгляд. Но он смотрел на меня с пониманием, даже с нежностью. Его возлюбленный появился чуть позже, мертвецки пьяный.

Т. С. Элиот

Готовясь к поэтическому состязанию, я написал строчку "Красота придает преступлению благородство". Т. С. Элиот набросился на меня:

— Что это значит? Как может преступление быть благородным?

Как я заметил, он отрастил усы.

У. Х. Оден и Ивлин Во

Этих двух писателей свели вместе весьма странные обстоятельства. Я был членом группы, сумевшей уничтожить банду партизан, но главарь банды, Уистен Оден, удрал. Спрятался в лесу, и мы принялись прочесывать лес. На поимку Одена я отправился, вооружившись лишь кухонным ножом, хотя это был самый опасный наш враг. Неожиданно он прорвал заслон и укрылся в каком-то доме. Ивлин Во стрелял в Одена и попал, и теперь тот истекал кровью.

Я решил довести дело до конца и воткнул свой кухонный нож ему под ребро, но он как ни в чем не бывало вдруг затеял дискуссию на литературную тему, из которой я, как это ни странно, не помню ровным счетом ничего.

Следующей ночью я оказался на вечеринке и там опять встретил Одена. Мы вновь разговорились, и эту беседу я запомнил. Я говорил о том, что предпочитаю жить в Англии, а не в Америке, потому что английская литература богаче американской. Перед Шекспиром все писатели — карлики, а карлики не могут завидовать друг другу. В американ-

ской же литературе такого гиганта, как Шекспир, не было, отсюда и взаимная зависть.

Оден, развалившись в кресле, заявил, что ему тем не менее совсем неплохо в Америке. Не будучи ученым, он сумел занять должность на естественно-научном факультете университета. Он производил впечатление преуспевающего лентяя.

— Вот было бы забавно, если б вам удалось открыть какой-нибудь второстепенный закон, — сказал я. — Мы дома могли бы побеседовать о "простых числах Одена".

Хозяйка дома удалилась, пожелав угоститься напитками в одиночестве. Мы пришли к мнению, что чем больше окажется бутылка виски, тем легче будет рассчитывать на хозяйское радушие.

Д. Г. *Лоуренс*

Лоуренсу представил меня герцог Мальборо. Писатель оказался моложе и элегантней, чем я ожидал. О моих работах отозвался весьма благосклонно.

Сартр

Помню свою беседу с Сартром. Перед встречей я набросал список вопросов и старался его строго придерживаться. Я извинился за свой плохой французский, не позволявший мне четко формулировать мысли, на что Сартр любезно ответил:

— Вы очень хорошо говорите по-французски. — А потом добавил: — Ни слова не понял из того, что вы сказали.

Потом он смягчился и заговорил о моей книге[1], которую издал во Франции Робер Лаффорон под названием "Происхождение брайтонского леденца", причем в довольно причудливом виде — как книгу сказок, написанную детским почерком коричневыми чернилами, да еще и с иллюстрациями Беатрис Поттер[2]. От иллюстраций Сартр был в восторге, а о моем мастерстве не сказал ни слова.

Солженицын

Я познакомился с Солженицыным в 1976 году. С ним был еще один человек, который сказал, что собирается выпускать новый журнал, и я предложил ему пригласить Солженицына посотрудничать в первых шести номерах. В очень неприятной форме тот ответил, что терпеть не может солженицынские маленькие глазки и его ханжеский тон.

В другой раз я устраивал вечер в честь Солженицына, который, как выяснилось, был больше известен как художник, чем как писатель. Это происходило в моей московской квартире, увешанной картинами. Они были везде, даже в коридорах. Он опаздывал, и я засомневался, что ему вообще разрешат прийти. Я распахнул входную дверь, показывая, что мы ничего не боимся. Боялся же я только того, что ему у меня не понравится, потому что приглашенные дамы трещали как сороки.

1. Имеется в виду роман Г. Грина "Брайтонский леденец".
2. Беатрис Поттер (1866—1943) — английская писательница-сказочница, собственноручно иллюстрировавшая свои книжки.

В дверях появился приземистый бородач. Я понял, что это агент КГБ, и подумал: "Ну, начинается". Однако следом вошел Солженицын, очень плохо одетый. С бородатым были дети, и, доставив художника, он двинулся к лестнице, как я решил, по соображениям политическим; я кинулся за ним и предложил чашку чаю. Он отказался, но сказал, что конфеты для детей пришлись бы очень кстати... Я дал ему горсть из пакета, который купил в подарок своим внукам за пару дней до того. Тут он вдруг неожиданно проявил интерес к картинам.

— Необыкновенно хороши, — проговорил он, и мне показалось, что он вот-вот зарыдает от тоски.

Я провел его по коридорам, показал и другие картины. Хотел показать еще одну, большую, чтобы он убедился, какой великий художник его поднадзорный, но та куда-то таинственно исчезла — я нашел только маленькую. А вот в комнату, где висели картины ар нуво, я его умышленно не повел.

Работа в разведке

Служба в МИ-6 в Моем Собственном Мире была гораздо интереснее канцелярской работы, которой я занимался на протяжении трех лет в Обычном Мире. Любопытно, что из десятка людей, которых я знал в то время, в Мой Тайный Мир попало только двое-трое. Так что и здесь, видно, сработал закон о государственной тайне. Одним из моих приключений и самым, пожалуй, рискованным — скорее, правда, в духе ЦРУ, чем МИ-6 — была специальная миссия в Германию.

* * *

Каким-то образом я узнал о некоем новом материале на Кима Филби. Стало известно, что он завербовал Эрнеста Хемингуэя писать доносы на беженцев из Гонконга. У Хемингуэя было совсем плохо с деньгами, и пять фунтов в неделю, которые он получал за эту работу, помогали ему содержать семью.

* * *

В 1980 году на большом приеме я познакомился с русским послом. Уже уходя, я спросил его, не хочет ли он ознакомиться с критическим материалом, который я написал о МИ-6. Он сказал, что не отказался бы. Предателем я себя совершенно искренне не считал — просто полагал, что это пойдет на пользу обеим странам.

* * *

В январе 1980 года Ким Филби прибыл ко мне в Лондон с тайным визитом. Внешне он выглядел совсем не таким, каким я его помнил, — глаза бегали, черты лица заострились. Я даже огорчился. Он привез мне эссе, которое написал для "Спектейтора"[1], и эссе это оказалось выше всяких похвал. Он приплыл из Гаваны на английском судне, и я спросил, как он

1. "Спектейтор" — еженедельный английский журнал.

не побоялся, что его арестуют прямо на борту. Он туманно ответил, что сейчас ему ничто не угрожает. В то же время, уходя из квартиры, он пожелал пропустить меня вперед. Сказал, что видел в коридоре человека, показавшегося ему опасным.

Государственные деятели и политики

Из соображений вежливости я предпочитаю не делать различий между этими двумя категориями — государственные деятели могут быть также и политиками. В Обычном Мире я встречался со многими крупными государственными деятелями, и все они, за исключением лишь президента Дьема, мне понравились: Хо Ши Мин, Даниэль Ортега, Альенде, Фидель Кастро, президент Миттеран и особенно Горбачев. В Моем же Собственном Мире нашлось место лишь немногим из них.

Мистер Вильсон[1]

Впервые я встретился с премьер-министром в 1964 году. Вильсон только что пообедал и отдыхал, лежа на медной кровати. В напыщенной манере трибуна он заговорил о своем намерении одним ударом очистить трущобы. Я дерзнул проколоть этот мыльный пузырь.

— Куда же вы денете их обитателей? — спросил я. — Если бы мы были в Африке, их можно было поселить в палатках, но мы в Англии, да и зима скоро.

— Я поселю их временно в общественных зданиях. Например, в мэрии или где-нибудь еще.

— Думаете, им это понравится? Сейчас у них один туалет на несколько семей, а так получится один на сотню.

Не помню, что он ответил.

Генерал де Голль

О де Голле у меня остались лишь мимолетные воспоминания. В Обычном Мире во время Второй мировой войны он жил какое-то время в Беркхеммстеде, городе, где я родился.

Нарезав пайки хлеба, я понес ему его долю.

— Корочку или мякиш, господин генерал? — спросил я, но увидел, как мала была порция. — Лучше того и другого, — сказал я и отдал ему все.

Хрущев

В Обычном Мире я всегда испытывал к Хрущеву симпатию, несмотря на его вторжение в Венгрию. Во времена Кубинского кризиса мне казалось, что он заключил выгодную сделку с Дж. Ф. Кеннеди: отказ от последующего вторжения в обмен на отказ от поставок ядерного оружия Кубе, до которой добраться не труднее, чем до Майами. Мне понравилось, как он молотил по столу ботинком на заседании Объединенных Наций. Возможно, мое доброе к нему отношение во многом определя-

1. Гарольд Вильсон (1916–1995) — британский премьер-министр (1964–1970 и 1974–1976).

лось встречами, которые произошли в Моем Собственном Мире в 1964-м и 1965 годах.

Первая моя встреча с Хрущевым состоялась в "Савое". Присутствовала группа русских, включая господина Чаковского, с которым я познакомился в Обычном Мире в Москве. Он был в то время редактором журнала "Иностранная литература".

Хрущев выглядел жизнерадостным, здоровым и спокойным. Он лишь чуть улыбнулся, когда двое его товарищей по партии затеяли спор. Мы с ним заговорили о принципах финансирования кинопостановок в Англии и о том, как распространители все портят. Я сказал, что русским эта проблема незнакома, но Хрущев заявил, что фильмы в России часто выходят с большим опозданием из-за превышения бюджета во время съемок и бюрократических проволочек, которые возникают, когда приходится согласовывать такое превышение. Он вел себя очень радушно и пригласил меня пообедать с ним завтра (не помню, состоялся тогда наш обед или нет).

В следующий раз я сидел рядом с ним на ужине, и он не обмолвился со мной ни словом почти до самого конца, когда вдруг отметил, что я практически не дотронулся до курицы.

— Тем лучше для рабочих на кухне, — сказал я. — Марксисты наверняка верят в благотворительность.

— Но не в ватиканскую, — с улыбкой ответил он.

Вероятно, он не забыл этот обмен репликами до нашего следующего, еще одного ужина. Дело было в пятницу. Он изучал содержимое моей тарелки — я ел мясо.

— Мясо по пятницам? — спросил он с улыбкой. — А я думал, вы католик.

Во время нашей следующей встречи он собственноручно выдавал мне визу для посещения Советского Союза. Заметив, что в графе "профессия" я поставил "писатель", он выразил надежду, что я напишу о его стране. Какой прозрачной голубизной сиял в этот момент его взгляд! Позже, пересказывая этот эпизод своим друзьям, я сказал:

— Если вглядеться в его лицо, оно прекрасно. Это лицо святого.

В Москве, как мне показалось, далеко не все относились к Хрущеву с такой теплотой. Однажды я оказался в толпе людей, ожидавших появления на трибуне политических лидеров; одновременно на другой трибуне неожиданно возник молодой парень. Он принялся насмехаться над Хрущевым — изображать, как во время одной международной встречи тот вынул горсть рублей из кармана и, демонстрируя их беспомощность, бросил под ноги.

Мне кажется, что иногда Мой Собственный Мир подпадает под влияние Обычного. Дж. В. Данн, автор "Эксперимента со временем", мог бы возразить, что мое сновидение о Хрущеве — в особенности, когда мне снилось, что у него лицо святого (все равно что покойника), — возникло как предчувствие его отставки, о которой я узнал из телевизионного выпуска новостей 15 октября 1964 года в "Савое", где мы вместе обедали девять дней назад, правда, обед этот состоялся в Моем Собственном Мире.

Омар Торрихос[1]

Приехав в Панаму, я был немало удивлен тем, что не застал там Омара Торрихоса, с которым мы были очень дружны и договаривались встретиться. Потом он все-таки появился, но я его с трудом узнал. Со мной приехала и моя дочь, которая должна была переводить на встрече, но он и сам научился немного говорить по-английски. С нами был скучнейший британский вояка, генерал Деннистон. Присоединилась еще и группа американцев, среди которых выделялся комичного вида солдатик в мятой форме, вручивший мне затрепанный томик своих воспоминаний. Читать их я был вовсе не готов. На самом деле я приехал, чтобы предупредить Омара о заговоре: американцы намеревались спровоцировать беспорядки, чтобы вынудить его уехать из Панамы, а сами использовали бы ее в качестве острова, как военную базу в Карибском бассейне для блокировки Центральной Америки.

Я так и не сумел донести смысл заговора до Омара.

Юрий Андропов

Семь лет спустя после встречи с Хрущевым я познакомился с Юрием Андроповым, возглавлявшим в то время КГБ. Он оправился от болезни и заехал в Лондон по пути в Стокгольм на конференцию по разоружению. Андропов похвалил меня за то, что я веду дневник. Он понравился мне — необыкновенно высокий, представительный, только вот правая рука как-то бессильно свисала. Помню, как он говорил мне о своем восхищении поэзией А. Э. Хаусмена[2].

Франсуа Миттеран

В декабре 1983 года в Лондоне я встретил Франсуа Миттерана. Говорили мы недолго. Он шел пешком через Гайд-парк на вокзал Паддингтон. Я сказал ему, что очень не люблю Ширака. Слава богу, не успел добавить, что и Жискара д' Эстена тоже, потому что Жискар тут же возник рядом.

Фидель Кастро

Я встретился с Кастро в июне 1984-го на Кубе. Мы прогуливались и непринужденно беседовали, пока чуть не споткнулись о рыдающего мужчину. Он только что похоронил своего ребенка и сам же выкопал могилу.

Кастро попытался утешить его, сказав, что теперь его дитя не страдает и ни о чем не ведает. Но беднягу это не ободрило. Я перекрестился, а он, мгновенно перестав причитать, пожал мне руку.

— Чувствую, вы из тех, кто верит, что после смерти есть что-то еще, — сказал он.

1. Омар Торрихос (1929—1981) — президент Панамы.
2. Альфред Эдвард Хаусмен (1859—1936) — английский поэт.

Хо Ши Мин

Во время моего визита Хо Ши Мин вел себя очень обходительно и объяснил причину, по которой мне было отказано в первом визите. Мы гуляли по парку, где находилась его резиденция. В любую минуту могли налететь американские бомбардировщики. Появился вертолет, и я подумал, не американский ли, но оказалось — "свой", и он приземлился. Из вертолета вышла очень красивая девушка европейского вида и отправилась одна по тропинке.

— Это не опасно? — спросил я Хо Ши Мина, и он окликнул ее:

— Идите сюда! Вы даже не представляете, что могут сделать с вами наши ребята.

Оливер Кромвель

За окнами моей квартиры послышался шум — звуки военных команд и т. п. Такого я еще в своем районе не слышал. Я попытался включить радио, чтобы выяснить, что же случилось, но ничего не поймал — в это время новости не передавали. Я вышел на улицу и, увидев спину удаляющегося Оливера Кромвеля, понял, почему его называли тенью, отбрасываемой крабом. Никак не ожидал увидеть его в ту самую минуту, когда армия поставила на голосование его предложение казнить Карла I! Он подсел к каким-то людям и заговорил с ними по-французски. Сказал, что Карла в действительности убивает доктрина о божественном праве. Не будь ее, можно было бы пойти на компромисс. Тут же сообщили и новости: против Кромвеля проголосовал только один старый офицер.

— Он хочет поколебать, а не разрушить основы, что грозило бы катастрофой, — сказал Кромвель.

Война

Я с гордостью вспоминаю о том случае, когда именно я помог захватить Гитлера. Я стоял на платформе в ожидании поезда, когда оттуда вышли двое мужчин. В одном я узнал генерала германской разведки. Взглянув на другого, понял, что это Гитлер, хотя и без дурацких усиков. Лицо у него было помятое и какое-то более человечное.

— Гитлер, смотрите, Гитлер! — закричал я, чтобы все стоящие на платформе его тоже увидели.

Гитлер с напарником направились к метро, а люди смотрели на меня как на сумасшедшего, но я продолжал кричать, так что тем двоим удрать не удалось. Гитлер сердито взглянул на меня. Мы прошли в конец платформы, сели на скамейку и довольно долго говорили. О чем мы говорили, не помню. Какие-то люди стояли рядом, не давая Гитлеру уйти, а вскоре появился отряд солдат, который его и забрал.

Минуты опасности и страха

Перечитывая дневник событий, происходивших в Моем Собственном Мире в шестидесятые годы, я пришел к мысли, будто играл в русскую ру-

летку, в которую в реальной жизни играл всего однажды. Сновидения раз за разом уносили меня на Гаити.

В ноябре 1966-го я увидел себя в Порт-о-Пренсе. Я сидел за рулем автомобиля, что мне совсем не нравилось. Рядом был Питер Гленвилл. В Обычном Мире мы вместе работали над фильмом "Комедианты", поставленным по моей книге, вызвавшей осуждение Папы Дока[1]. Питер говорил, что чует опасность, но я и сам ее чувствовал. В городе попадались порой туристы, в музее мы встретили Сейтса, владельца отеля "Олофсон", где я останавливался перед тем, как начал писать "Комедиантов". Приветствуя Питера, Сейтс повернулся ко мне спиной:

— Если бы вы знали, сколько у меня из-за него было неприятностей с тонтон-макутами!

Наверху я повстречал еще двоих знакомых, один из них был врачом. Они удивились, увидев меня, и мне еще скорее захотелось убраться куда подальше.

Во дворе стояло несколько машин, рядом с нашей крутилась какая-то пожилая дама. Я видел ее и раньше на улицах Порт-о-Пренса.

— Мне кажется, это супруга Папы, — сказал я.

И точно — к ней подошел Президент, и они вместе уехали. Я прикрывал лицо рукой, страшно было невыносимо. А Питер явно не торопился — сел за руль и принялся есть сваренное вкрутую яйцо.

Потом мы наконец тронулись, но тут обнаружилось, что выезд из музея перекрыт шлагбаумом. Питер вышел из машины, чтобы поднять его, но стоявший рядом вооруженный часовой сказал, что тот поднимается только по приказу Президента. Теперь мы окончательно попали в ловушку. Счастье, что я больше ничего не помню.

Отношения с религией

Удивительно, как часто религия несмотря ни на что проникает в Мой Собственный Мир. Я написал "несмотря ни на что" потому, что всегда негодовал, когда меня относили к разряду католических писателей. Более того, одну из моих книг, "Сила и слава" (на мой взгляд, лучшую), осудил Святой престол, а кардинал Вестминстерский критиковал мои книги еще до кардинала Хинана. Вполне естественно, что в Моем Собственном Мире меня вряд ли можно назвать правоверным католиком.

Тем не менее в Своем Тайном Мире я видел трех Пап, а в Обычном — только двух — Пия XII и Павла VI. Правда, в первый раз в Моем Мире мне довелось увидеть Иоанна Павла II спящим.

Иоанн Павел II — великий путешественник. Не помню точно, в какой гостинице и в какой стране мы одновременно останавливались. И хотя я не больно хорошо к нему отношусь, мне почему-то вдруг очень захотелось ему исповедаться. Была уже поздняя ночь, и я довольно долго простоял под дверьми его спальни, не решаясь постучаться. Потом вдруг повернул ручку, и дверь отворилась. Папа лежал в постели и крепко спал с тем же самым харизматическим выражением лица, с каким появлялся на экране телевизора. Я стоял и смотрел на него, думая, разбудить или

1. Папа Док (Франсуа Дювалье, 1907—1971) — президент Гаити с 1957 г., пожизненный президент с 1964 г. "Док" — прозвище, намекающее на его медицинское образование. В романе "Комедианты" описана полиция Папы Дока.

нет, а потом все пропало. Наверно, я крадучись вышел из комнаты, унося с собой невысказанную и совсем ненужную исповедь.

Мои последующие встречи с папой Иоанном Павлом II нельзя назвать удачными. В 1984 году мы вместе гуляли в ватиканском саду. Он то светился добродушием, то начинал раздражаться. Мы остановились около двух группок людей — мужчин и женщин, — игравших в карты. Когда игра закончилась, он вручил каждому из выигравших по шоколадке "Перуджина". Меня просто замутило от того, с каким благочестивым и подобострастным видом они приняли этот дар. Как будто он давал им гостию.

В 1987 году я с недоумением узнал из газет, что Иоанн Павел намеревается канонизировать Христа. Похоже, он так возгордился, что возомнил, будто вправе воздавать Христу почести. Папа как раз прибыл с визитом в Антибы, и я увидел его на крепостном валу. Он молился, стоя на коленях и глядя в море. Я прошел мимо, потом понял, что он следует за мной, и замедлил шаг в надежде, что он со мной заговорит и я объясню ему абсурдность его намерений. Но он миновал меня, не проронив ни слова, и направился в город. На нем были старые белые брюки, омерзительно грязные, и зеленый свитер. В небрежности, с которой он был одет, было что-то жалкое, и я даже испытал к нему сочувствие — впервые.

* * *

Мне никогда не нравилось читать лекции, а уж лекции на религиозную тему и вовсе не мой конек, но тем не менее однажды в Моем Собственном Мире я решился объяснить публике свою теорию общей эволюции Бога и Человека, а также тождества Бога и Сатаны.

Вот в каком виде появилась позже эта теория в "Почетном консуле":

"Бог, в которого я верю, обязан отвечать за все зло так же, как и за все добро. Он должен быть Богом, созданным в нашем воображении темнотой и светом. Когда ты говоришь об ужасе, Эдуардо, ты говоришь о темной, ночной стороне Бога. Я верю, что придет время, когда темнота исчезнет, как и твои коммунистические взгляды, Аквино, и мы будем жить всегда при свете дня, подаренного нам Господом. Ты, Эдуардо, веришь в эволюцию, хотя иногда целые поколения людей возвращаются к изначальному скотскому состоянию. Эволюция — это долгая борьба и бездна страданий, и я уверен, Бог эволюционирует так же, как и мы. Только ему, вероятно, достается больше боли"[1].

* * *

Мне сказали, что если я попаду в Израиль, то обязательно должен заехать в Эммаус — деревеньку, ни капли не изменившуюся с библейских времен. Именно там Иосиф повстречал Марию.

— Что же привело его туда из Назарета? — спросил я.

— Наверно, те же трудности с налогами, что позднее вынудили их обоих перебраться в Вифлеем, — ответили мне.

1. В беседе со мной Грэм Грин рассказал, что эта сцена попала в роман из сновидения. Я добавила ее в текст, думая, что читателям это может быть интересно. (*Прим. Ивон Клоетта.*)

* * *

Лежа в кровати, я принял было жизненно важное решение отречься от христианства и стать буддистом, как вдруг почувствовал, что Христос рядом. В темноте его облик был почти не различим. Он, казалось, огорчен тем, что теряет меня, и, по крайней мере, наполовину вера ко мне вернулась.

* * *

Я читал одну интересную еврейскую книгу о Христе. Там жизнь Христа сравнивалась с жизнью другого еврея по имени Муски, закончившейся тем же, что и Христова. Иисус, зная историю Муски, сознавал, что скорее всего умрет подобным же образом. Муски тоже предвидел свой конец, но его знание основывалось на пророчествах, Христово же — на жизнеописании Муски, что делает фигуру Муски более величественной.

В книге довольно интересным образом излагалась также история Никодима. Он взобрался на дерево и отказывался слезать с него, боясь разговора с Христом, потому что видел, как тот появился под охраной двух "грубых галилеян".

* * *

Группа священнослужителей, превозносивших святого Павла и ставивших его чуть ли не выше самого Христа, вводила в церкви новый устав. Символ этого нового устава — фарфоровый бюст св. Павла, у которого было три руки, и из каждой руки росла голова — продавался в магазинах, торгующих церковной утварью. Думаю, новый устав лучше пришелся бы в Испании.

Борьбу против нового устава возглавил знакомый мне священник. Он раскритиковал устав в своей книге. Однажды ночью его разбудил телефонный звонок. Звонивший желал немедленно исповедаться и просил приехать в церковь на другой конец города. Священник согласился приехать, но по дороге его обуяли подозрения. А вдруг его преследуют? Он повернулся и поехал обратно.

Вернувшись, он увидел, что улица, где он жил, в огне — горел не только его дом, но и дома еще четырех священников, выступавших против нового устава.

* * *

Архиепископ Дэвид Мэтью, не только прекрасный писатель, но и историк, был моим добрым другом. Он дал мне совет, как уберечь "Силу и славу" от попыток Святого престола подвергнуть роман цензуре. Это было в Обычном Мире. В Моем же Собственном Мире я попал на его похороны. Ну и странные же это были похороны!

В декабре 1964 года я пришел на эти похороны. Заупокойная служба оказалась очень необычной. Я сидел на галерее с одним из друзей и приходил все в большее раздражение из-за перешептываний и даже хихиканья стоящих внизу прихожан. Мне хотелось крикнуть им: "Архиепископ был моим другом! И он умер!"

А тут еще мой приятель тихонько сказал мне:

— Посмотри на того священника — он еле удерживается от смеха...

Все это было очень странно, и я бы отнес свои ощущения на счет владевшей мной тяжелейшей скорби, если бы в эту минуту другой священник не ухватился за алтарь и не стал с радостным смехом вытаскивать его из церкви. Закончилась служба совершенно неуемным весельем.

Теперь, когда прошло много лет, я вспоминаю ту службу и задаюсь вопросом, почему бы и в самом деле не праздновать окончание жизни таким вот способом.

Писательство

Писательская деятельность занимает в Моем Собственном Мире не очень много места. Как-то мне пришла в голову идея написать рассказ, который должен был называться "География совести". В нем говорилось о жительнице Канады — ирландской католичке, собиравшейся вернуться к мужу в Италию. Она позвонила своему священнику, чтобы попросить благословения на прием противозачаточных таблеток. Тот посоветовал ей вести себя по совести, и она приняла таблетку. Приехав в Рим и оказавшись в совершенно ином моральном климате, она поступила, так сказать, против совести — отказалась от таблеток. Рассказ, по моему замыслу, должен был быть юмористическим, поэтому ему требовался еще один "вывих" "географической совести". Такой сюжет мне представляется вполне возможным, вот только найти недостающий третий вывих в Обычном Мире я так пока и не сумел.

Вот сюжет еще одной новеллы. Действие разворачивалось в большом старом доме, "кочуя" из одной комнаты в другую. Имелся в доме и чердак, но читателю туда до поры до времени был заказан вход, и любопытство его все росло бы и росло. Попасть на чердак удалось бы только в последней главе. Пол там был бы усеян вырезками из старых газет, и, сложив их вместе, читатель узнал бы, о чем шла речь в новелле.

Первые абзацы новеллы перебрались из Моего Собственного Мира в Мир Обычный в том же виде, в каком приснились мне:

На чердаке

Вряд ли меблированная комната, которую я решил купить, понравилась бы кому-нибудь еще, кроме меня. Но как только я вышел из лифта на последнем этаже и увидел растрескавшуюся дверь, я почувствовал, что квартира словно протянула мне руку, приглашая войти. Словно проговорила скрипучим голосом: "Как я рада, что ты снова здесь".

Мои немногочисленные друзья не понимали моей новой привязанности. Они замечали только дряхлость моего нового жилища: оторванные дверные петли, трещины в потолке, протекающую ванну, вечно холодные батареи. Состояние кухни меня не волновало — еда, которую я любил с молодости, теперь продавалась в виде консервов. Помню свою первую ночь в этой квартире и сон, что мне тогда приснился. Как и в любом сне, там было много провалов,

сцен, которые память не смогла удержать. Интересно, часто ли она бывает добрым цензором: просыпаясь, мы иногда не помним самых жутких минут своих кошмаров.

* * *

Как и в Обычном Мире, в Моем Собственном писать книги сродни пытке. 3 мая 1983 года я начал корректировать машинописный вариант своей книги "Мое знакомство с генералом". Она показалась мне никуда не годной. Длинное и бессвязное повествование, ни к чему не ведущее.

Следующей ночью я работал над романом "Монсеньор Кихот" и понял, что один большой кусок получился скучным. Я решил убрать его, но это означало бы, что и конец романа, где монсеньор умирает, тоже надо менять. А чем же, если не смертью героя, может заканчиваться книга?

* * *

В июне 1965 года я присутствовал на репетиции пьесы, которую написал на основе одного довольно неважного перевода. Мой опыт работы с актерами и режиссерами очень напоминал тот, что был у меня в 1963 году в Обычном Мире, когда я работал над пьесой "Высекая статую". Тот же режиссер, Питер Вуд, ставил пьесу и в моем сне. В главной роли был опять Ральф Ричардсон, как всегда напыщенный и не повиновавшийся режиссеру. Он постоянно требовал вернуться к старой, буквальной версии перевода, делал в тексте пометки, а мне их смотреть не давал и вдобавок ко всему горделиво напяливал ни к селу ни к городу свою эдвардианскую фосфоресцирующую в темноте шляпу. Я приходил во все большее раздражение, жалел, что мы затеяли постановку, и сказал наконец Вуду, что роль Ричардсона-детектива переведена скверно. Он не согласился со мной, и я понял, что они с Ричардсоном сговорились и мне придется забыть о своем варианте. Тогда я заявил, что через пару дней уезжаю во Францию. Они не возражали.

— Послезавтра я уже буду обедать в Коломбо д'Ор в Сен-Поль-де-Ванс, — повторил я.

* * *

Не знаю как, но меня уговорили издать две мои книги, "Как это называется" и "Ночные слухи", которые я до того печатать отказывался. Я настаивал на том, чтобы написать вступление, объяснить, почему не хотел раньше их издавать, и показать, как они плохи. В то же время, понимая, что критики поднимут меня на смех, очень боялся и трепетал. Хотел даже сказать, чтобы ни в коем случае не издавали в мягких обложках, но было, видно, уже слишком поздно.

* * *

5 мая 1973 года случилась ужасная вещь. Счастье, что в Обычном Мире со мной такого никогда не бывало.

Я отослал своей секретарше любовную сцену из нового романа и попросил напечатать черновик. И что же? Она вернула мне текст с пропусками — как мне все это надоело! Самым ужасным было то, что, читая

вслух эту сцену своей возлюбленной, я понял, как фальшиво, сентиментально и опасно — словно не существует никаких запретов — она звучит. Моя возлюбленная это тоже поняла, и я разозлился. Отшвырнув бумаги, я сказал:

— Как я могу тебе читать, если ты все время перебиваешь и критикуешь? И вообще, это только черновой вариант.

Но я знал, что книга никуда не годится. "Вот бы умереть раньше, чем ее напечатают. Тогда бы семье просто деньги достались", — думал я. На ум мне опять пришла русская рулетка. Я в самом деле купил револьвер или мне приснилось? Возлюбленная пыталась утешать меня, но от этого становилось только хуже.

Театр и кино

У меня в мозгу словно отпечатался газетный заголовок — "Самоубийство Чарли Чаплина". Началось со слухов о смерти моего друга. Я сидел в большом, переполненном народом кинотеатре и с минуты на минуту ожидал печального известия. Боялся даже, что, когда объявят, среди публики начнется паника. Однако слух о смерти не подтвердился.

Я был дома, когда прозвенел звонок. Открыв дверь, я увидел на пороге самого Чарли, поддерживаемого санитарами. Выглядел он действительно как покойник. Выяснилось, что он принял яд, но не рассчитал дозу — валясь в кресло, он показал мне жестом, сколько было яду. Яд он взял из жестянки. Я попросил сопровождавшего его санитара отдать эту жестянку мне: "Может, когда и пригодится". Было пыткой наблюдать, как Чарли медленно умирает — я, во всяком случае, считал, что все к тому и идет, — как вдруг ситуация внезапно изменилась. Он оклемался и даже сумел уйти на своих ногах.

* * *

В мае 1965 года я усердно работал над исторической пьесой, которую писал белым стихом. В главных ролях были заняты Ричард Бертон и Элизабет Тейлор. Они оказались более приятными людьми, чем я ожидал. А Тейлор в жизни показалась мне красивее, да и играть стала лучше.

В первый раз пьесу давали под открытым небом, в Кентербери, на фоне собора. Бертон произнес вступительную речь перед появлением полубезумного короля (Генриха VI, наверное?), которого играл мой друг Алек Гиннес. Гиннес умудрился пропустить свою реплику, и Бертон прикрыл его, сымпровизировав строчку про "уединение в опавшей палатке". Поняв, что произошло, публика сочувственно засмеялась, а Гиннес огляделся вокруг и произнес:

— Я все сказал.

Я пришел в бешенство. Наверняка он сделал это из зависти к Бертону!

— Свинья, — прошипел я, и он услышал, потому что я сидел в первом ряду.

Он с обидой и удивлением взглянул на меня. Бертон выглядел невозмутимо, но спектакль в тот вечер не состоялся. Его отложили до завтра.

Предполагалось, что на следующий день в Кентербери приедут критики, но места для прессы оказались свободными. Гиннес играл с текстом в руках, а Бертон, не обращая внимания на направленную на него

телекамеру, вел себя как на репетиции — постоянно перебивал других актеров. Просто беда!

* * *

Летом 1965-го я писал сценарий по рассказу, действие которого происходило в Мексике в XIX веке. Делал я это по заказу Питера Гленвилла. Питер захотел покататься на лошади, а чтобы прихватить и меня, нашел маленькую черную лошадку. Но меня верховая езда не увлекала, поэтому я отправил его описывать круги в одиночестве.

Мы добрались до того места в сценарии, где ни в чем неповинного героя по имени Дрю, а также его приятеля по имени Хафтон преследует шериф, подозревающий их в ограблении банка. Они останавливают лошадей рядом с эдакими рукастыми кактусами, которые в Мексике зовутся "канделябрами". Питеру показалось, что с этой сценой у нас возникнут лишние трудности, но я убедил его, что снимать Мексику без кактусов все равно что Париж — без Эйфелевой башни. Довольно было всего-то на пару миль отъехать от Мехико, чтобы найти подходящий кактус.

По сценарию Дрю видит "канделябр" и читает Хафтону детский стишок "Вот свеча, там постель, посвети, чтобы лечь. Вот и нож, что снесет твою голову с плеч", и тут на горизонте появляется отряд шерифа.

* * *

Меня попросили сыграть роль священника, кончающего жизнь самоубийством во время мессы. Пьеса должна была идти в маленьком театрике в Северной Африке. Текста роли мне почему-то не дали и, что я должен делать, тоже не объяснили. Оставалось только импровизировать.

Сцена начиналась с молитвы. Священник говорил пастве, что священны не только вода и вино, но и церковная утварь — дискос и потир.

— Но что мне до того? — воскликнул я. — Я — священник и убиваю себя потому, что Ты, Господь, перестал любить меня.

На следующий день я отправился в город и спросил у двух встретившихся мне африканцев, удалось ли мне потрясти публику. Они сказали, что удалось, и даже очень: люди до сих пор обсуждают вчерашний спектакль. И как бы между делом сообщили, что в их городе жил святой Августин.

* * *

Кэрол Рид[1] сказал мне, что Питер Устинов собирается поставить "Короля Лира" и сам будет играть главную роль. Мне показалось, что он не очень подходит для этой роли, хотя были места, где он блистал, как, например, в сцене бури в степи.

Когда мы с Кэрол обсуждали все это, я еще лежал в постели, и он сказал, что Устинов сейчас принесет мне завтрак. Актер появился в дверях с подносом в руках, на голове — простыня. Поставив поднос, он убрал с лица простыню, и я увидел, что у него белоснежная борода. Лицо его с этой новой бородой совершенно преобразилось — стало кротким, дышало святостью и даже нежностью. Он начал декламировать длинный отрывок, который, как я боялся, он мог сыграть из рук вон плохо: "Долой, долой с себя все лишнее! Ну-ка, отстегни мне вот тут!"[2] Но получилось у него просто великолепно.

1. Кэрол Рид, сэр (1906—1975) — английский кинорежиссер, экранизировал два романа Г. Грина.
2. У. Шекспир. Король Лир. Акт III. Сц. 2. Перев. Б. Пастернака.

Путешествия

В Моем Собственном Мире я странствовал так же много, как и в Обычном. В обоих мирах путешествия не обходились без опасных приключений, но в Моем Собственном события развиваются со сверхзвуковой скоростью.

Китай

В ноябре 1964-го мне посчастливилось взять интервью у китайского императора. Произошло это в городе, который я все еще предпочитаю называть Пекином[1]. Я путешествовал вместе с Майклом Мейером, переводчиком и биографом Ибсена. К сожалению, Майкл оказался плохим компаньоном — то у него голова болела, то просто нездоровилось.

Почему-то на мне была ковбойка, и я принялся извиняться перед императором за свой неподобающий вид.

Император меня удивил. Тощий старикан во фраке и без галстука, полувбежал, полувскользнул в комнату. Его сопровождали мандарины в национальных одеждах. Перебросившись с нами буквально парой слов, они повезли нас на экскурсию по Пекину. В какой-то момент император необъяснимым образом исчез, но вскоре мы услышали его голос. Как оказалось, он отстал и просил его подождать. Не успели мы развернуться, как он догнал нас на такси и пересел в нашу машину.

Я устал смотреть на улицы и стены Пекина и попросил отвезти нас куда-нибудь за город, думая, что и Майклу с его вечными недомоганиями это придется кстати. К тому же он никогда не бывал в Китае.

— Помню, где-то среди полей я видел очаровательную деревушку у стен храма, — сказал я.

Император опять нас покинул, и один старый мандарин стал расспрашивать меня о предыдущем визите. Мне захотелось показать ему цветные фотографии, которые я тогда сделал, но в бумажнике у меня оказались только скучные черно-белые, на которых были запечатлены голые, умирающие от голода люди (и фото, где чинила расправу полиция, — я быстро их спрятал). Так и не найдя ни одной подходящей фотографии, я попытался смягчить неприятное впечатление, указав место и время, когда они были сделаны.

— Это в Киото, в тот год, когда там была ужасная засуха, — пояснил я.

СССР

Я гулял по улицам Москвы ночью, со мной было еще четверо попутчиков. Увидев машину Комитета госбезопасности, мои друзья исчезли, и я остался один. Я решил, что лучше всего будет, не ожидая оклика, самому подойти к машине и спросить, как добраться до гостиницы "Европа".

— Садитесь в машину. Мы вас довезем, — пригласили меня двое сидевших в машине кагэбэшников.

В гостинице кто-то принес для одного из них высокий стул, и я увидел, что этот кагэбэшник — лилипут. Я спросил, почему людям нельзя находиться на улице ночью.

1. По-английски существуют два написания, старое и новое: Peking или Bejing.

— Мы хотим, чтобы на улицах было безопасно, — ответил он.
— От кого же их охранять, раз там никого нет? — сказал я.
Он признался, что об этом как-то не задумывался.

Куба

Меня перевезли через границу на машине. В Гаване в канцелярии со мной поговорил правительственный чиновник. Перевезший меня знакомый думал, что я возьму другую машину и отправлюсь на юг, но я вдоволь насмотрелся на Кубинскую революцию и не горел желанием рисковать. Советник посольства был настроен недружелюбно — обычная, впрочем, история. Мой знакомый сказал, что в окрестностях не осталось ни одного священника, их захватили суфражистки — красивейшие женщины, но сколько страху нагнали!

Я сказал советнику, что немало писал в защиту революции, однако помощи так и не получил. Он уклончиво ответил, что мне довелось видеть больше, чем им.

— Что вы хотите сказать? — спросил я.

— Никто из нас не видел пьяного священника[1], — пояснил он. Наверное, он имел в виду героя моей последней статьи — священника, которого я видел в самолете, когда возвращался домой.

Южная Африка

Когда я был в Южной Африке, то прочитал там в местной газете статью о допросе, которому меня подвергли в полиции. Все мне сочувствовали. Я снял левую перчатку, чтобы показать вывихнутую руку, но обвинить полицию в том, что меня пытали, отказался.

— Они всего лишь были недовольны моими ответами, — сказал я.

Я гордился своим великодушием, но в то же время был польщен тем, что меня считали героем.

— Вам ведь женщина выкручивала пальцы, не так ли?

— Честно говоря, я помню только мужчин. Их было двое. Может быть, была и женщина. Я почти ничего не помню из случившегося.

Я думал сообщить своему другу Этьену Леру, писателю, книгами которого восхищался, о том, что нахожусь в Кейптауне, но не хотел вовлекать его в неприятности, поэтому придумал назваться Верданом, надеясь, что он сумеет понять, что это я, Грин[2].

Чтение

Только что с огромным удовольствием прочел (и даже пометил многие стихи!) новый перевод Библии, сделанный моим другом Джорджем Брауном, членом Лейбористской партии. Особенно мне понравилось, как он обошелся с псалмами — на меня они всегда наводили скуку. Джордж оставил только отдельные фрагменты, и псалмы стали выглядеть таинственно, как траченные временем лоскутки папируса.

1. Имеется в виду герой романа Г. Грина "Сила и слава" по прозвищу Пьющий Падре.
2. Greene и Verdant вызывают ассоциации со словами green (*англ.*), verdoyant (*франц.*), что означает соответственно *зеленый* и *зеленеющий*.

* * *

Читая Босуэлла, я натолкнулся на ремарку Сэмюела Джонсона. Она показалась мне занятной: "Каноники удерживали под одеждой ветры, пока не появлялись женщины, на которых это можно было свалить; или, сказать иначе, женщины ждали подходящей минуты, чтобы свалить это на каноников".

Шла вечеринка, все крутились около стола с едой и напитками. Я подошел к Клоду Кокберну, беседовавшему с молодым писателем по фамилии Грэм о Джордже Оруэлле. Я сказал им, что "1984" — плохой роман, как и все остальные его романы. А что ему действительно удавалось, так это эссе.

* * *

Мне показали книгу Сачверелла Ситуэлла[1], в которой он называет меня виновником своего бегства с родины. Якобы я написал о нем что-то такое, из-за чего они с женой вынуждены были уехать в Кению.

Там они страдали от одиночества, но заставить себя вернуться не могли. В память мне запала одна страшная в своей правдивости фраза: "Одиночество не делится пополам, а умножается на два".

* * *

Недавно в Моем Собственном Мире моя мать читала мне стихи, те, что я любил в детстве, а потом, наверно, забыл. Теперь они звучали по-новому, гораздо лучше. Это была поэма Роберта Бриджеса[2] "О прекрасный корабль, куда мчат тебя белые паруса..."

Наука

Лауреат Нобелевской премии

Я читал одну очень интересную книгу. Ее написала женщина-врач, сумевшая, как ей казалось, найти средство против смертельно опасной кишечной инфекции, вызываемой вирусом Фуггера. Она и сама страдала от этой болезни. Женщина вакцинировала вирусом осу, заставила эту самую осу ужалить ее в живот и выздоровела! Проконсультировавшись со своим другом, тоже медиком, который спросил ее, верит ли она в действенность прививки, она сказала, что верит только наполовину. Тем не менее он посоветовал ей продолжить исследование. Двое пациентов выздоровели, третий умер, а следующий, четвертый, тоже выздоровел. Она получила Нобелевскую премию за достижения в медицине, но после этого погибли еще два пациента. Друг женщины предположил, что выздоровление связано с настроенностью пациента и с его или ее верой в лечение. Она пришла в уныние из-за плохих результатов и из-за того, что не может до конца поверить в собственное изобретение.

1. Сачверелл Ситуэлл (1897—1988) — английский поэт и критик.
2. Роберт Бриджес (1844—1930) — английский поэт и критик.

Тогда ей на помощь пришел муж: он попросил заразить его Фуггером и привить вирус осе, чтобы та вылечила его своим жалом. Муж совершил героический поступок и был вознагражден — он выздоровел.

Космос

Приятель показал мне штуковины, что свалились на его крышу с неба. Одна — обломок камня — вполне могла быть природного происхождения, а вторую — череп, чрезвычайно искусно вырезанный из похожего на мрамор материала, — могло, разумеется, создать только разумное существо. Вот вам, пожалуйста, и доказательство существования разума в космосе!

Изучая Луну в бинокль, я вдруг увидел на поверхности большой скалы изображение человеческого лица. Открытие это и все, что оно могло бы за собой повлечь, чрезвычайно меня взбудоражило. А вот найти кого-нибудь еще, кто бы видел этот высеченный в камне портрет, мне так и не удалось.

Криминал

В мае 1965 года я украл одну очень ценную вещь, даром что она выглядела как обрывок черного шнурка. Если бы мое воровство открылось, меня бы надолго упрятали в тюрьму. Вскоре ко мне домой пришла сыщица из полиции. Настроена она была вполне дружелюбно, но обыскала всю квартиру тщательнейшим образом. Сначала я все прятал шнурок в кулаке, а потом испугался личного досмотра. Пока сыщица копалась в моих вещах, я перепрятал его в коробку с пиленым сахаром, затолкнув шнурок как можно глубже. Сыщица, к сожалению, добралась и до коробки — открыла ее и принялась изучать содержимое. Я надеялся, что она все-таки не сумеет разглядеть черный шнурок в темноте. Потратив немало времени, она наконец закрыла коробку. Обыск закончился.

Я спросил ее, удовлетворена ли теперь полиция, ведь в моей квартире ничего обнаружить не удалось, и она ответила утвердительно. Но я им все-таки не верил — возьмут да нагрянут с повторным обыском, — поэтому надо было бы придумать тайник понадежнее.

Вероятно, урок пошел мне на пользу, потому что с тех пор прошло уже двадцать с лишним лет, а случаев воровства я больше не припомню.

Говорящие животные

Мой Собственный Мир чудесен еще и тем, что животные в нем говорят не менее разумно, чем люди. Например, вечером 18 октября 1964 года я играл с полосатым котенком. Нежным чистым голоском котенок хвастливо сообщил, что убил в тот день четырех птичек. Я отчитал его с притворным гневом — мне и самому птицы не особенно нравятся, — на что котенок ответил с пафосом:

— И получил за них, знаешь ли, сорок два франка!

* * *

В Милане мы были с моей подругой Ивон и ее сеттером Сэнди. Ивон зашла в церковь, я обернулся посмотреть, где Сэнди, и стоявший рядом человек сказал, что он пошел за хозяйкой. Я не поверил — не таков был этот пес.

Итак, Сэнди потерялся, а нам нужно было уезжать из Милана. Я звал его, искал его на соседних улицах, и беспокойство мое все возрастало. Вдруг кто-то сказал: "Да вот он!", и сеттер радостно прыгнул мне на грудь. Только в гостинице я обнаружил, что собака другого цвета. Я бросился обратно, крича "Сэнди, Сэнди", и пес наконец объявился.

— Эх, был бы у меня с собой кошелек и хоть немного денег на такси! Я заблудился, а названия гостиницы не знал, — пожаловался он мне.

Болезнь и смерть

Моя мать умерла, и ее тело нужно было перевезти в другой дом. Мне не хотелось помогать, но ничего не оставалось, было тяжело смотреть на все это, но пришлось. Тело было худенькое, высохшее, сморщенное. Нести его было легче в вертикальном положении, в котором покойница-мать почему-то напомнила мне мою старшую сестру, умершую много лет назад.

Я нес тело, и оно вдруг проговорило: "Холодно, холодно..." Я пытался убедить присутствовавших, что мать, видимо, не умерла, но они не обращали на меня внимания. Я сказал мертвому телу, что затоплю камин и оно согреется. Ответа не было, была лишь моя душераздирающая жалость! Похоже, и после смерти муки не кончаются.

Мы говорили о страхе исчезновения. Я начал рассказывать свой сон, который навел меня на мысль о том, что существует жизнь и после смерти, но только для тех, кто в нее верит. Во сне люди, которых я знал и любил, звали меня к себе. Но из-за недостатка веры я выбрал исчезновение. Большой черный конус вроде того, которым гасят свечу, должен был опуститься мне на голову.

Мы обсудили мой сон, и я доказал остальным, что все мы, независимо от наших убеждений, боимся, что нас погасят.

Антонио Табукки

Сны о снах

Главы из книги

Перевод с итальянского Елены Дмитриевой

Моей дочери Терезе,
подарившей мне тетрадь,
на страницах которой
родилась эта книга.

Под миндальным деревом твоей госпожи,
когда молодая августовская луна всходит над домом,
тебе, если боги улыбнутся,
могут присниться не твои сны.
Древняя китайская песня

Мне давно хотелось узнать, что снилось моим любимым писателям, художникам, музыкантам. К сожалению, те, о ком я рассказываю в этой книге, не оставили свидетельств о ночных блужданиях своего духа. Искушение исправить положение было так велико, что я, призвав на помощь литературу, решил восстановить утраченное. Вместе с тем я сознаю, что эти истории-реконструкции, созданные воображением человека, тоскующего по неведомым снам, — всего лишь убогие предположения, бледные догадки, бесславные подделки.

Пусть они именно так и читаются, и пусть души моих персонажей, которые смотрят теперь сны на том свете, отнесутся снисходительно к своему бедному потомку.

А. Т.

Сон Публия Овидия Назона, поэта и придворного

Ненастной январской ночью шестнадцатого года по Рождеству Христову в Томах, что на Черном море, Публию Овидию Назону приснилось, будто он снова любимый поэт императора и волею богов чудесным образом превратился в гигантскую, величиной с человека, бабочку.

У этой исполинской бабочки были роскошные желто-голубые крылья и огромные выпуклые глаза, способные охватить взглядом весь горизонт.

Подкатила специально построенная золотая колесница, и шестерка белых, запряженных цугом лошадей повезла Овидия в Рим. В колеснице

© 1992, Sellerio editore
© Е. Дмитриева. Перевод, 2003

он пытался стоять, но тонкие ножки не выдерживали тяжести крыльев, и он то и дело опрокидывался на подушки, не без удовольствия демонстрируя ликующей толпе драгоценные восточные браслеты, сверкавшие на задранных кверху ножках.

Когда колесница подъехала к воротам Рима, Овидий приподнялся на подушках и дрожащими ножками с большим трудом водрузил на голову лавровый венок.

Толпа восторженно приветствовала его, а многие даже падали ниц, полагая, что перед ними азийское божество. Овидий хотел объяснить, что он Овидий, но, открыв рот, смог издать лишь странное жужжание, настолько пронзительное, что люди стали затыкать уши.

Вы не хотите слушать мою песню? — возмущался Овидий. — Не хотите слушать песню поэта Овидия, который учил вас науке любви, рассказывал вам о куртизанках и средствах для лица, о чудесах и метаморфозах?

Но толпа, которая вместо членораздельной речи слышала бессмысленное жужжание, в ужасе шарахалась от колесницы.

Наконец подъехали к императорскому дворцу, и Овидий, ковыляя на своих подгибающихся ножках, поднялся по лестнице в чертоги Цезаря Августа.

Император ждал его, сидя на троне и попивая из кубка вино. Что ж, послушаем, что ты для меня сочинил, сказал он.

Овидий сочинил небольшую поэму и рассчитывал порадовать Августа изысканно отточенным стихом и блеском остроумия. Но как это сделать, думал он, ведь я теперь насекомое и умею только жужжать? Тогда он решил передать стихи жестами, плавно взмахивая в экзотическом танце роскошными цветистыми крыльями. Поднялся невыносимый ветер и, раздувая занавеси, понесся по комнатам дворца. Август в бешенстве швырнул на пол кубок. Император был человек угрюмый, ценил мужество и воздержанность. Он не мог стерпеть, чтобы какое-то бесстыжее насекомое танцевало перед ним сомнительные танцы. Август хлопнул в ладоши, и появились преторианцы.

Солдаты, сказал Август, обрубите ему крылья. Преторианцы вытащили из ножен мечи и, словно заправские лесорубы, очищающие ствол дерева от ветвей, обрубили Овидию крылья. В тот миг, когда крылья пуховым облаком опустились к его ногам, Овидий понял, что жизнь его кончена. Повинуясь неведомой силе, уверенный, что это судьба, он повернулся и, покачиваясь на тоненьких ножках, вышел на лестницу. Внизу бушевала разъяренная, кровожадная толпа, к нему тянулись хищные руки, готовые его растерзать.

И Овидий, покачиваясь на подгибающихся ножках, начал неуклюже спускаться по ступенькам.

Сон Луция Апулея, писателя и мага

Октябрьской ночью 165 года по Рождеству Христову в городе Карфагене Луций Апулей, писатель и маг, увидел сон. Приснилось ему, что он в Нумидии, в небольшом городке. Стоит африканская жара, на дворе вечер. Апулей прогуливается близ главных городских ворот, как вдруг его внимание привлекают смех и шум. Он выходит за ворота и видит, что возле красной глинобитной стены дает представление бродячий цирк.

Натертый белилами полуобнаженный канатоходец балансирует над толпой, делая вид, будто вот-вот упадет. Зрители ахают и смеются, собаки лают. Неожиданно канатоходец срывается с каната, но в последний момент успевает схватиться за него и повисает в воздухе. Крики ужаса сменяются восторженными аплодисментами. Другие циркачи бросаются раскручивать лебедку, канат провисает, и акробат со смешными ужимками спрыгивает на землю. В освещенный факелами круг выходит человек с дудочкой. Под звуки восточной мелодии появляется пышногрудая женщина в прозрачном покрывале. Она щелкает бичом, и бич обвивает ее тело, точно змея. У женщины черные волосы и глубокие черные глаза, из-за жары по ее лицу, покрытому слоем грима, стекают струйки пота.

Апулей хочет уйти, но таинственная сила удерживает его, он не может отвести взгляда от этой женщины. Застучали барабаны – сначала медленно, потом все быстрее, и из-под навеса выходят четыре величественных белых лошади и жалкий заморенный осел. Женщина щелкает бичом, и лошади, взвившись на дыбы, мчатся по кругу. Осел предусмотрительно отступает к клетке с обезьянами и лениво помахивает хвостом, отгоняя мух.

Снова свист бича – и лошади с громким ржаньем опускаются на колени. С неожиданной для ее комплекции легкостью женщина высоко подпрыгивает, встает широко расставленными ногами на крупы двух лошадей и гонит их вскачь. При этом она непристойно вертит рукояткой бича у себя под животом, и толпа стонет от удовольствия. Вдруг барабаны смолкают, и осел, словно повинуясь тайному приказанию, опрокидывается на спину и, брыкая в воздухе всеми четырьмя копытами, выставляет напоказ свой напряженный фаллос. Женщина, продолжая скакать по кругу, объявляет громким голосом, что желающие увидеть продолжение представления должны заплатить звонкой монетой, и тут же двое циркачей в костюмах стражников принимаются разгонять бичами мальчишек и бродяг.

Остается несколько человек, среди них Апулей. Он вынимает из кошелька две серебряные монеты, платит и готовится смотреть. Женщина хватает осла за детородный орган и, похотливо прижимая его к своему животу, начинает изгибаться в чувственном танце. Она то и дело откидывает покрывало, обнажая перед зрителями свои прелести. Апулей подходит ближе, и тут осел открывает рот и говорит человеческим голосом.

Я Луций, говорит он, помнишь меня?

Какой еще Луций? – удивляется Апулей.

Твой друг Луций, говорит осел, Луций из твоих “Метаморфоз”, неужели забыл?

Апулей не верит своим ушам и оглядывается по сторонам, но городские ворота уже заперты, стража спит, ничто вокруг не нарушает тишины африканской ночи.

Эта ведьма заколдовала меня, продолжает осел, превратила в осла, и только ты можешь меня освободить, потому что ты писатель и маг.

Апулей бросается к костру, выхватывает из него горящую головешку, чертит ею в воздухе магические знаки и произносит нужные слова. Женщина вскрикивает, ее рот кривится в недовольной гримасе, по лицу ползут морщины, она стареет на глазах. Еще мгновение – и она исчезла, а вместе с ней, как по волшебству, исчезли цирк, глинобитная стена, африканская ночь, и засиял прекрасный солнечный день. Апулей по-

нял, что он уже в Риме, прогуливается по Форуму, а рядом с ним его друг Луций.

Они идут, весело болтая и поглядывая на красивых рабынь, которые пришли на рынок за покупками, и вдруг Апулей останавливается, придерживает Луция за тунику, заглядывает ему в глаза и говорит: этой ночью я видел сон...

Сон Франсуа Вийона, поэта и разбойника

В ночь под Рождество 1451 года, ближе к утру, когда особенно крепко спится, Франсуа Вийон, поэт и разбойник, увидел сон. Приснилось ему, что идет он в лунную ночь по мрачной пустынной местности. Он остановился, чтобы подкрепиться куском хлеба, лежащим в суме. Сев на камень, он поднял глаза к небу, и сердце его сжалось от горя и тоски. Потом он продолжил путь и пришел на постоялый двор. В доме было темно, оттуда не доносилось ни звука — наверно, все спали. Франсуа Вийон громко постучал, и ему открыла дверь жена хозяина.

Что ты ищешь здесь, путник, в столь поздний час? — спросила она, светя фонарем в лицо Вийону.

Я ищу своего брата, ответил Франсуа Вийон, последний раз его видели в этих краях, я хочу найти его.

Он вошел в комнату, освещенную лишь слабым светом очага, и сел за стол.

Подай баранины и вина, приказал он женщине, но та принесла ему тарелку вареной картошки и кувшин сидра.

Это все, что мы можем предложить посетителям в столь поздний час, сказала она, потому что стражники, которые бродят здесь по ночам, съели все наши запасы.

Вийон принялся за еду, но тут вошел старик с обезображенным проказой лицом. Старик опирался на палку. Вийон молча посмотрел на него. Прокаженный прошел к очагу, сел и сказал: говорят, ты ищешь своего брата.

Вийон выхватил кинжал, но прокаженный остановил его успокаивающим жестом.

Я не из стражи, сказал он, я сам разбойник и могу отвести тебя к твоему брату.

Опираясь на палку, он направился к двери, и Вийон последовал за ним. Они вышли в холодную зимнюю ночь. Ночь была светлая, на земле лежал снег. Вокруг простиралась безжизненная равнина, окаймленная черными лесистыми холмами. Прокаженный заковылял по тропинке в сторону холмов, и Вийон, сжимая на всякий случай в руке кинжал, двинулся за ним.

Когда тропинка стала подниматься вверх, прокаженный остановился. Он сел на камень, вынул из своей сумы окарину и заиграл тоскливую мелодию. Время от времени он прерывал игру, чтобы пропеть куплет плутовской баллады, в которой рассказывалось о насильниках, разбойниках, ворах и стражниках. Вийон слушал со все возрастающим беспокойством, потому что баллада была ему хорошо знакома. Он чувствовал, что его охватывает страх, внутри у него все сжималось. Но чего он боялся? Вийон и сам этого не знал, потому что не боялся ни стражников, ни

темноты, ни прокаженного. Скорее даже, он испытывал не страх, а тоску, душевную горечь.

Тут прокаженный встал и направился к лесу. Вийон последовал за ним. Когда они дошли до первого дерева, Вийон увидел, что на суку болтается повешенный. Луна освещала мертвенным светом труп с вывалившимся языком. Это не был труп его брата, и Вийон пошел дальше. На соседнем дереве тоже болтался повешенный, но и он не был его братом. Вийон оглянулся по сторонам и увидел, что все деревья в лесу увешаны мертвецами. Вийон ходил между раскачивающимися на ветру трупами и не спеша рассматривал каждый, пока не нашел своего брата. Он перерезал кинжалом веревку и опустил тело на траву. Оно закоченело от смерти и от холода. Вийон прикоснулся губами к мертвому лбу, и в ту же минуту труп брата заговорил.

Здесь повсюду порхают белые бабочки, дорогой брат, сказал труп, бабочки-призраки. Они ждут тебя.

Вийон растерянно огляделся. Его спутник исчез, и над лесом тихо и скорбно, точно погребальная музыка, зазвучала баллада, которую пел прокаженный.

Сон Франсуа Рабле, писателя и бывшего монаха

Февральской ночью 1532 года в убогой каморке врача лионской больницы после семидневного поста, соблюдаемого им по законам жизни монастыря, к тому времени уже покинутого, Франсуа Рабле, писатель и бывший монах, увидел сон. Приснилось ему, что сидит он сентябрьским днем в трактире в Перигё под увитым виноградом навесом во главе длинного узкого стола. Стол покрыт белоснежной скатертью и уставлен кувшинами с вином, а напротив, на противоположном конце, приготовлен прибор для еще одного человека. Что это за человек, Рабле не знает, знает только, что он его ждет. Между тем трактирщик приносит ему тарелку маринованных маслин и кружку свежего сидра, и он не спеша потягивает чудесный напиток янтарного цвета и заедает его маслинами. Через некоторое время Рабле слышит стук копыт и видит на столбовой дороге облако пыли, которое, приблизившись, оказывается каретой, причем каретой прямо-таки королевской: на козлах — одетый в красное кучер, на запятках — два лакея. Карета останавливается на лужайке перед трактиром, лакеи трубят в рожки, потом спрыгивают на землю, кладут перед дверцей кареты красный ковер и, вытянувшись в струнку, кричат: Его величество господин Пантагрюэль, король еды и питья!

Франсуа Рабле поднимается из-за стола; он понимает, что человек, величественно идущий ему навстречу по красному ковру, который раскатывают под его ногами лакеи, и есть его долгожданный сотрапезник.

Это был человек гигантского роста; он шел, поддерживая руками живот, вернее, толстенное, похожее на полный бурдюк брюхо, колыхавшееся из стороны в сторону. Лицо закрывали густая черная борода и шляпа с широкими полями. Его величество господин Пантагрюэль расплылся в дружеской улыбке, закатал рукава своего королевского одеяния и сел за стол напротив Рабле. Появился трактирщик в сопровождении двух слуг, которые несли супницу с дымящимся супом.

Для начала, чтобы подготовить желудок, легкий суп из ячменя, пшеницы и фасоли, объявил трактирщик.

Его величество господин Пантагрюэль повязал вокруг шеи салфетку размером с простыню и жестом показал Рабле, что можно приступать к еде. Суп, в котором плавали лавровые листья и дольки чеснока, действительно оказался на редкость нежным, и Рабле с удовольствием съел полную тарелку. Что касается его величества господина Пантагрюэля, то он, вежливо извинившись, пододвинул к себе супницу и начал пить суп прямо из нее. Слуги между тем внесли следующее блюдо, и радушный трактирщик принялся раскладывать еду по тарелкам. Это были фаршированные гуси. Франсуа Рабле достались два, его величеству господину Пантагрюэлю – девятнадцать. Трактирщик, сказал почетный гость, расскажи, как ты готовишь этих гусей, чтобы я мог научить своего повара. Трактирщик пригладил густые усы, откашлялся и сказал: прежде всего надо взять отменной кислой капусты и опустить ее в кипящую воду на четыре-пять минут. Затем распустить гусиного жиру, залить им капусту, положить сало, ягоды можжевельника, гвоздику, соль, перец, рубленый лук и варить все это три часа. Потом добавить ветчину, нарезанную кусочками гусиную печень и для связки – хлебную кашицу. Нафаршировать этой массой гусей и сунуть их в печь на сорок минут. Когда гуси будут наполовину готовы, надо полить их вытопившимся жиром. Вот и все.

От рассказа трактирщика у Рабле потекли слюнки, и не только у него: облизав гигантским языком усы, его сотрапезник спросил: а что ты нам еще предложишь, трактирщик? Трактирщик хлопнул в ладоши, и слуги внесли дымящиеся подносы. Каплуны в сливовой настойке и цесарки с рокфором, торжественно объявил трактирщик.

Пока Франсуа Рабле расправлялся неспешно с одним каплуном и одной цесаркой, его величество господин Пантагрюэль успел проглотить их не меньше десятка. Не знаю почему, но сдается мне, сказал его величество господин Пантагрюэль, что к этим каплунам очень подошел бы соус из мозгов, как вам кажется, дорогой сотрапезник?

Франсуа Рабле согласно кивнул, и трактирщик, который только того и ждал, хлопнул в ладоши.

Слуги внесли два блюда с соусом из мозгов. Его величество господин Пантагрюэль намазал содержимое целого блюда на метровой длины хлеб и принялся заедать каждый кусок каплуна несколькими кусками хлеба с соусом, так что через две минуты от соуса ничего не осталось. Когда с каплунами и цесарками было покончено, трактирщик с позволения гостей забрал у них грязные тарелки и спросил: что скажут господа насчет жаркого по-охотничьи из дикого кабана? Или они предпочитают фаршированное заячье филе во фритюре? Чтобы не ошибиться, Франсуа Рабле попросил принести ему того и другого, а его величество господин Пантагрюэль широко разинул рот, показывая, что туда еще много чего влезет. Трактирщик хлопнул в ладоши, и слуги внесли очередные подносы.

Ах, с набитым ртом приговаривал Франсуа Рабле, что за чудо этот дикий кабан по-охотничьи! Зеленые оливки придают ему кисло-сладкий вкус, а приправа из красного перца усиливает аромат кабаньего мяса. А разве эти фаршированные и зажаренные в масле кусочки заячьего филе не достойны называться божественными? – вторил ему его вели-

чество господин Пантагрюэль между одним проглоченным куском и другим.

Трактирщик с блаженным видом смотрел, как они едят. Сентябрьское солнце рисовало узоры на затененной террасе. Маленькие глазки его величества господина Пантагрюэля стали слипаться, казалось, он вот-вот заснет. Вдруг он несколько раз хлопнул себя ладонью по животу и, предварительно извинившись по правилам хорошего тона, рыгнул. Это была великолепная отрыжка, похожая на гром: ее раскаты разнеслись над окрестными полями. От этих громовых раскатов Франсуа Рабле проснулся и понял, что на улице бушует гроза. Он ощупью зажег свечу и взял с комода сухую хлебную корку, которую, нарушая пост, припасал себе на каждую ночь.

Сон Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо, художника и забияки

С первого на второе января 1599 года, проводя ночь в постели проститутки, Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо, художник и забияка, увидел во сне, что его посетил Господь. Господь посетил его в облике Христа и направил на него указующий перст. Микеланджело в это время сидел в трактире, играл в карты на деньги и при этом передергивал. Его партнерами были шулера, некоторые из них успели напиться. И сам он был не знаменитый художник Микеланджело Меризи, а завсегдатай притонов, темная личность. В тот момент, когда Господь посетил его, он как раз поносил Христа и смеялся во все горло.

Ты! – говорил жест Христа.

Я? – изумился Микеланджело Меризи. Но я не святой, я грешник, такой не может быть призванным.

Лицо Христа было непроницаемым. Направление протянутой руки не оставляло никаких сомнений.

Микеланджело Меризи опустил голову и уставился на монеты, лежащие на столе. Я насильничал и убивал, сказал он, у меня руки по локоть в крови.

Трактирщик поставил перед ним фасоль и вино, и он принялся есть и пить. Все, кто сидел с ним за столом, замерли, он же работал руками и челюстями как ни в чем не бывало. Христос тоже замер, не отводя от него указующего перста. Микеланджело Меризи встал и направился к выходу, Христос последовал за ним.

Они вошли в грязный переулок. Микеланджело Меризи тут же воспользовался этим, чтобы освободить мочевой пузырь от выпитого за вечер вина.

Господи, чего ты от меня хочешь? – спросил Микеланджело Меризи Христа.

Сын человеческий посмотрел на него и ничего не сказал. Они еще долго шли по переулку, пока не вышли на площадь. Площадь была пуста. Плохо мне, сказал Микеланджело Меризи.

Христос снова промолчал. Он сел на каменную скамью и снял сандалии. Растирая ступни, он сказал: устал, пешком шел от самой Палестины, чтобы тебя найти.

Микеланджело Меризи стоял, держась за стену: его рвало. Но я же грешник, воскликнул он, зачем тебе было меня искать?

Христос подошел к нему и взял за руку. Я сделал из тебя художника, сказал он, и теперь мне нужна картина. Напишешь ее — и живи как знаешь.

Микеланджело Меризи вытер рот и спросил: о чем картина?

О том, как я посетил тебя сегодня вечером в трактире, только ты должен быть не ты, а Матфей.

Ладно, сказал Микеланджело Меризи, сделаю. И перевернулся на другой бок, а проститутка, громко всхрапнув, обняла его.

Сон Сэмюэла Тейлора Колриджа, поэта и курильщика опия

Ноябрьской ночью 1801 года, находясь у себя дома в Лондоне в состоянии наркотического бреда, Сэмюэл Тейлор Колридж увидел сон. Приснилось ему, что он на корабле, а корабль зажат полярными льдами. Он был капитаном, его люди, лежащие на палубе, тщетно пытались защититься от холода, кутаясь в лохмотья и рваные одеяла. Лица у них были изможденные, болезненные, вокруг запавших глаз чернели круги. Вдруг на рею опустился большой альбатрос; его широко расправленные крылья отбросили на палубу зловещую тень. Сэмюэл Тейлор Колридж позвал своего помощника и приказал ему принести ружье, но тот сказал, что у них нет больше пороха, и принес арбалет. Сэмюэл Тейлор Колридж схватил его и прицелился. Он думал, что, убив альбатроса, сможет накормить своих умирающих матросов, избавить их от цинги и смерти. Стрела пронзила шею альбатроса, и он упал на палубу, окропив кровью лед. Тут же из его крови родился морской змей; он поднял голову, высунул раздвоенный язык и, угрожающе шипя, пополз по палубе. Сэмюэл Тейлор Колридж выхватил из ножен капитанский кортик и быстро отрубил змею голову. Из отрубленной головы родилась женщина. Она была вся в черном, костлявая и страшная, с белым лицом и безумным взглядом. В руке она держала игральные кости. Женщина села на фальшборт и поманила капитана. А теперь сыграем в кости, сказала она ему. Если выиграешь ты, корабль освободится ото льдов, если я — всю твою команду заберу с собой.

К Сэмюэлу Тейлору Колриджу бросился первый помощник и, схватив его за руку, умолял не слушать женщину-смерть, потому что она несет им погибель, но Сэмюэл Тейлор Колридж решительно подошел к женщине и, поклонившись, сказал, что готов начать игру. Женщина протянула ему коробочку, которую сначала он прижал к груди, а затем, яростно встряхнув, метнул кости на палубу. Моряки закричали “ура”: капитану выпало одиннадцать! Женщина-смерть принялась плакать и рвать на себе волосы, потом злобно засмеялась, потом заскулила, жалобно, как собака. Наконец она взяла кости и широким движением руки, словно сметая все с палубы, выбросила кости. Прокатившись по доскам, они остановились, и все увидели шестерки на одной и на другой. В эту минуту налетел ледяной ветер, он пронзил Сэмюэла Тейлора Колриджа насквозь и унес с собой моряков, женщину-смерть и судно; серая пелена окутала все вокруг, и Сэмюэл Тейлор Колридж, открыв глаза, увидел туманный рассвет за своим окном.

Сон Антона Чехова, писателя и врача

Как-то ночью в 1890 году Антон Чехов, писатель и врач, будучи на острове Сахалин, куда он отправился навестить каторжан, увидел сон. Приснилось ему, что он в больничной палате и на нем смирительная рубашка. Рядом лежали два дряхлых старика, оба несли какую-то околесицу. Антон Чехов не сомневался, что он в ясном уме и твердой памяти, и ему захотелось написать историю лошади. Вошел доктор в белом халате, и Антон Чехов попросил у него бумагу и ручку.

Вы не можете писать, потому что слишком умничаете, сказал доктор, вы несчастный моралист, вот вы кто, душевнобольные не допустят, чтобы вы писали.

Как вас зовут? — спросил Антон Чехов.

Я не могу вам назвать свое имя, ответил доктор, но знайте, я ненавижу писателей, особенно таких, как вы, которые слишком умничают. Умники погубят мир.

Антон Чехов с удовольствием влепил бы доктору пощечину, но тот вынул губную помаду и стал подкрашивать себе губы. Потом надел парик и сказал: я ваша медсестра, но вы не можете писать, потому что слишком умничаете; вы всего-навсего моралист и на Сахалин приехали в домашнем халате. И после этого снял с Антона Чехова смирительную рубашку.

Зато вы, сказал Антон Чехов, лошадей не знаете.

С какой стати я должен их знать? — сказал доктор, я знаю только директора своей больницы.

Ваш директор не лошадь, а осел, вьючное животное, сказал Антон Чехов, ему терпеть на роду написано. Еще раз прошу, дайте мне возможность писать.

Не можете вы писать, сказал доктор, потому что вы сумасшедший.

Старики заворочались на соседних кроватях, а один встал помочиться в горшок.

Ну и что из этого, возразил Антон Чехов, я подарю вам кинжал, вы зажмете его в зубах, пойдете к директору вашей клиники и, не вынимая кинжала изо рта, поцелуете его, нанесете ему, так сказать, смертельный поцелуй.

Потом он повернулся на бок и стал думать про лошадь. И про извозчика. У этого несчастного извозчика умер сын, и ему нужно было хоть с кем-нибудь поделиться горем. Но люди отмахивались от него, спешили, им не было до него никакого дела. Тогда извозчик о смерти сына рассказал своей лошади. Старая лошадь оказалась существом терпеливым, у нее были человеческие глаза.

Вдруг на крылатых конях прискакали галопом две наездницы. Антон Чехов знал их, они были актрисы, каждая держала в руке ветки цветущей вишни. Извозчик впряг коней в сани, Антон Чехов устроился на сиденье, сани оторвались от пола, вылетели из палаты через большое окно и устремились в небо. В разрывах облаков седоки увидели доктора в парике, который грозил им кулаками и посылал вслед проклятия. Две актрисы обронили два лепестка с вишневых цветков, а извозчик, улыбаясь, сказал: есть у меня одна история, правда, она грустная, но я надеюсь, что вы, дорогой Антон Чехов, дослушаете ее до конца.

Антон Чехов откинулся на спинку сиденья, обмотал шарф вокруг шеи и сказал: у меня уйма времени, масса терпения, и я люблю человеческие истории.

Сон Владимира Маяковского, поэта и революционера

В последний месяц своей жизни, а именно третьего апреля 1930 года, Владимир Маяковский, поэт и революционер, увидел сон, который вот уже год снился ему каждую ночь.

Приснилось ему, что он в поезде московского метрополитена, и поезд мчится на бешеной скорости. Скорость приводила Маяковского в восторг, потому что он любил будущее и машины, но сейчас от быстрой езды ему стало не по себе, и он судорожно впился пальцами в предмет, лежащий у него в кармане. Чтобы заглушить тревожное чувство, Маяковский решил сесть. Он выбрал место возле одетой во все черное старушки с хозяйственной сумкой на коленях. Но едва он опустился на сиденье, старушка в ужасе от него отпрянула.

Неужели я такой страшный? — подумал Маяковский и улыбнулся старушке. Не бойтесь, обратился он к ней, я просто облако и мечтаю лишь о том, чтобы поскорей выйти из этого поезда.

Наконец поезд остановился на какой-то станции, и Маяковский благополучно из него вышел. Он направился в ближайший туалет и вынул из кармана предмет, который сжимал в руке. Это был кусок темного мыла, каким прачки стирают белье. Он открыл кран и принялся тщательно тереть руки, но ему казалось, что грязь с ладоней не смывается. Тогда он снова сунул мыло в карман и вернулся на платформу. Станция была безлюдна, только у дальней стены, заклеенной большим плакатом, стояли три человека. Увидев Маяковского, они направились к нему. Все трое были в черных плащах и фетровых шляпах.

Политическая полиция, в один голос сказали три человека, в целях безопасности мы должны вас обыскать.

Маяковский поднял руки и дал себя обыскать.

А это что такое? — брезгливо спросил один, обнаружив кусок мыла.

Понятия не имею, с вызовом сказал Маяковский, я облако и в таких вещах не разбираюсь.

Это мыло, прошипел с коварной ухмылкой агент политической полиции, и оно мокрое, значит, ты только что мыл руки.

Маяковский не ответил, только вытер вспотевший лоб.

Пойдешь с нами, приказал агент. Он взял Маяковского под руку, а двое других пошли сзади.

Они поднялись по широкой лестнице и очутились в большом наземном вестибюле. Под этим вестибюлем находился суд, где заседали судьи в военной форме, а места для публики занимали дети из сиротских приютов.

Три человека в плащах подвели Маяковского к скамье подсудимых и передали одному из судей кусок мыла. Судья поднес ко рту рупор и сказал: наши органы безопасности схватили этого субъекта с поличным, у него в кармане обнаружено орудие его преступной деятельности.

Сироты неодобрительно загудели.

Преступник приговаривается к паровозу, объявил судья и стукнул деревянным молотком по столу.

Два охранника сняли с Маяковского одежду и напялили на него широкую желтую кофту. Потом они отвели его к пыхтящему паровозу, в котором вместо машиниста сидел страшный полуголый кочегар. На крыше паровоза Маяковский увидел палача с плетью в руке, его лицо закрывал капюшон.

Посмотрим, на что ты способен, сказал палач, и паровоз тронулся.

Маяковский оглянулся по сторонам и понял, что паровоз едет по великой России. Вокруг простирались бескрайние поля и равнины, на которых было много изнуренных мужчин и женщин в ручных кандалах.

Эти люди ждут от тебя стихов, сказал палач, так пой же, поэт, свои песни. И он ударил Маяковского плетью.

Маяковский начал читать. Громовым голосом он декламировал самые жизнеутверждающие из своих стихов, а люди, слушая их, сжимали кулаки и посылали проклятья ему и его маме.

Тут Маяковский проснулся и пошел в ванную мыть руки.

Сон доктора Зигмунда Фрейда, толкователя чужих сновидений

В ночь с двадцать второго на двадцать третье сентября 1939 года, в последнюю ночь своей жизни, доктор Зигмунд Фрейд, толкователь чужих сновидений, увидел сон.

Приснилось ему, что он превратился в Дору и идет по разрушенной бомбардировками Вене. Над руинами зданий поднимались клубы пыли и дыма.

Как можно было разрушить такой город? — спрашивал себя доктор Фрейд, стараясь сдерживать при ходьбе колыхание накладной груди. Свернув на Ратхаусштрассе, он столкнулся с фрау Мартой, которая шла ему навстречу, читая на ходу "Neue Freie Presse".

Ах, дорогая Дора, воскликнула фрау Марта, я только что прочитала в газете, что доктор Фрейд возвратился из Парижа в Вену и живет тут неподалеку, Ратхаусштрассе, дом семь. Думаю, вам не мешало бы его навестить. Говоря, она одновременно пыталась отпихнуть ногой труп солдата.

Доктор Фрейд покраснел и опустил на лицо вуалетку. Зачем, собственно? — смущенно спросил он.

А затем, что и у вас, дорогая Дора, проблем предостаточно, сказала фрау Марта, да, предостаточно, как у нас всех. Вам необходимо кому-то открыть душу, и для этого нет более подходящего человека, чем доктор Фрейд. Он понимает про женщин все и настолько умеет себя с ними отождествлять, что иногда и сам кажется женщиной.

Доктор Фрейд любезно, хотя и поспешно раскланялся с фрау Мартой и пошел дальше. Буквально через несколько шагов он встретил продавца из мясной лавки, который бесстыдно оглядел его оценивающим взглядом. Доктор Фрейд остановился, с трудом сдерживаясь, чтобы не пустить в ход кулаки, но продавец из мясной лавки, скользнув взглядом по его ногам, сказал: Дора, хватит тебе влюбляться в собственные фантазии, лучше найди себе мужика.

Доктор Фрейд не на шутку рассердился. А ты-то откуда об этом знаешь? — спросил он.

Вся Вена об этом знает, сказал продавец из мясной лавки. У тебя слишком много сексуальных фантазий, это установил доктор Фрейд.

Доктор Фрейд сжал кулаки. Это уж было слишком. Чтобы у него, доктора Фрейда, были сексуальные фантазии! В таких фантазиях ему другие признаются, такие фантазии связаны с проблемами детства или нарушениями психики, а у него нет никаких отклонений.

Не строй из себя дурочку, засмеялся помощник мясника и потрепал его по щеке.

Доктор Фрейд почувствовал себя польщенным. В конце концов, что плохого в фамильярном внимании привлекательного мужчины? Тем более ведь он — Дора, это не у него, а у нее непристойные желания.

Он двинулся дальше по Ратхаусштрассе и дошел до своего дома. Но дома, его прекрасного дома больше не было — в него попал гаубичный снаряд. Только в садике, который не пострадал от обстрела, стоял его диван, а на нем, в башмаках и не заправленной в штаны рубашке, храпел какой-то хам.

Доктор Фрейд разбудил его. Ты что здесь делаешь? — спросил он.

Хам уставился на него бессмысленным взглядом.

Доктора Фрейда жду, ответил он.

Я доктор Фрейд, сказал доктор Фрейд.

Не смешите меня, сударыня, сказал хам.

Уж так и быть, сказал доктор Фрейд, признаюсь тебе, что сегодня я решил стать одной из своих пациенток, поэтому так оделся. Я Дора.

Дора, воскликнул хам, как же я тебя люблю! И обнял доктора Фрейда.

Доктор Фрейд разомлел, безвольно повалился на диван и... проснулся. Ему оставалось жить один день, но он этого не знал.

Те, кому снятся сны в этой книге

Публий Овидий Назон. Родился в Сульмоне в 43 г. до Р. Х. Получил образование в Риме, где обучался риторике и где поступил на государственную службу. Великий поэт, тонкий знаток эллинистической культуры, в своих "Метамарфозах" он воспел Августа и обожествил Юлия Цезаря, превратив его в звезду. Однако его карьера — возможно, из-за скандала при дворе, в котором он мог быть замешан, — была прервана декретом Августа, отправившим его в Томы на Черное море. В Томах Овидий и умер в полном одиночестве в 18 г. после Р. Х., несмотря на мольбы, обращенные сначала к Августу, а потом к Тиберию.

Луций Апулей (ок. 125 — ок. 180). Родился в Мадавре, в Северной Африке, изучал риторику в Карфагене, Риме и Афинах. Был причастен к различным мистериям. Женившись на вдове Прудентиллы, обвинялся ее родственниками в том, что колдовством добился брака, дабы заполучить богатое приданое. Судя по его книгам, человек он был загадочный, мистический, склонный к эзотеризму. "Золотой осел", самое знаменитое его произведение, — своего рода завуалированная автобиография, в которой рассказывается о перипетиях юноши Луция, превращенного путем колдовства в осла, но в конце концов вновь обретшего человеческий облик.

Франсуа Вийон. Родился между 1431 г. и 1432 г., точная дата смерти неизвестна. Его настоящее имя было Франсуа де Монкорбье, но он взял имя опекуна, заменившего ему отца. Человек он был беспорядочный, неуемный, убил в ссоре священника, воровал, грабил. Его приговорили к смерти, но затем приговор был заменен изгнанием. В своих балладах отдал дань жаргону преступников, с которыми водил дружбу; в "Завещаниях" воспел любовь и смерть, ненависть и бедность, голод, преступную жизнь и раскаяние.

Франсуа Рабле (1494–1553). Был францисканским монахом, расстался с монастырской жизнью, стал известным врачом, работая в лионской больнице, но продолжал соблюдать монастырский устав. Ученый-латинист. Вызывал раздражение у власть имущих своими прогрессивными идеями. Чтобы компенсировать пустоту в желудке, к которой принуждало монашеское воздержание, написал знаменитую и по сей день книгу про двух великанов – самых жизнелюбивых обжор во всей западной литературе.

Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо (Караваджо, 1573 – Порто-Эрколе, 1610). Из родного города уехал в Рим, где влачил жалкое существование, пока его не взял под свое крыло Кавалер д' Арпино и не доверил ему первую работу. Попробовав свои силы в натюрморте, Караваджо начинает писать большие полотна религиозно-драматического содержания, создавая свою неповторимую светотень. "Призвание апостола Матфея" – пожалуй, вершина его творчества. Жизнь он вел беспутную, знался с преступниками, сам пускал в ход нож. Совершив убийство в драке, бежал в Неаполь, затем на Мальту; там был схвачен и снова бежал, на этот раз – в Сицилию. Преследуемый наемными убийцами, порезавшими ему лицо, он добрался до Порто-Эрколе, где умер от лихорадки.

Сэмюэл Тейлор Колридж (1772–1834). Учился в Кембридже, но, не доучившись, бросил университет. Из-за несчастной любви завербовался под вымышленным именем Сайлас Томкин Комбербэк в кавалерийский полк, откуда его выкупил брат. Увлекался утопическими идеями. В религии придерживался унитарной позиции, был основателем "Пантисократии", коммунистического проекта, цель которого – освободить людей от неравенства. Благодаря опиуму, к которому он пристрастился, Колридж познал искусственный рай, но в отличие от своего друга Де Куинси никогда не хвастал своим пороком и не выставлял его напоказ. Визионер, мечтатель, метафизик, он оставил, среди прочего, потрясающий бред в форме баллады "Сказание о Старом Мореходе".

Антон Павлович Чехов (1860–1904). Русский писатель и драматург. По профессии врач, но медицинской практикой занимался только в периоды голода и эпидемий. Был болен туберкулезом. В 1890 г. пересек Сибирь, чтобы посетить далекий остров Сахалин – место ссылки уголовных преступников, после чего написал книгу об ужасных условиях жизни каторжан. Любил театральную актрису. Писал рассказы, драмы и комедии. Рассказывал о повседневности, обычных людях, бедняках, детях, о мелочах, играющих важную роль в жизни.

Владимир Маяковский. Родился в грузинской деревне в 1893 г., изучал живопись, архитектуру и скульптуру. В ранней молодости вступил в подпольную большевистскую партию, сидел в тюрьме. Одержимый идеями обновления, вскоре стал главным футуристом и объехал Россию на паровозе в желтой блузе. С энтузиазмом встретил большевистскую революцию и занимал значительные должности в революционном отряде творческой интеллигенции. Был организатором, пропагандистом, создателем манифестов и автором гневных и героических стихов. В 1925 году опубликовал неудачную поэму, славословящую Ленина. Но в стране наступили нелегкие для авангардистов времена. Разочарованный и напуганный, он заболел тяжелой формой навязчивого невроза: постоянно мыл руки и, выходя из дома, клал в карман кусок мыла. В 1930 г. он, согласно официальной версии, застрелился.

Зигмунд Фрейд. (Фрайберг, 1856 – Лондон, 1939). Невропатолог. Сначала занимался истериями и изучал гипноз у Шарко, потом толковал сны ("Толкование сновидений", 1900), ища их мотивацию в неудовлетворенности человека. Он утверждал, что в человеке есть тайник, и назвал его Бессознательным. Его "Клинические случаи" читаются как захватывающие романы. Троица по Фрейду – это Оно, Я и сверх-Я. Кто знает, может, он и прав.

Жорж Перек
Темная лавочка

Фрагменты книги

Перевод с французского Ирины Радченко

Один из них, или ПЕРЕКройка небытия в литературу

То, что сегодня приходится объяснять читателю, кто такой Жорж Перек, — это, конечно, сущее безобразие. Во-первых, тридцать пять лет назад в "ИЛ" печатался перевод его дебютного и тут же облетевшего весь мир романа "Вещи". Во-вторых, прошло уже больше двадцати лет после смерти этого, вероятно, самого оригинального и острого, самого состоявшегося и признанного французского писателя своего поколения, и его заслуженная слава, издания, переводы, экранизации все это время ширились и умножались. Между тем у нас в стране после издания в 1967 году "Вещей" совокупным тиражом в двести с лишним тысяч экземпляров[1] вплоть до 2001 года, когда в Киеве тиражом в две тысячи вышел (впрочем, совершенно неудобоваримый) перевод романа-липограммы "Исчезновение"[2], а в Санкт-Петербурге — перевод повести-мистификации "Кунсткамера", ни одного нового издания перековской прозы на русском языке не было. На долгий и малоприятный разговор о здешних причинах такого красноречивого молчания отвлекаться сейчас не буду — скажу лишь несколько слов о реалиях современной Перек французской культуры, о некоторых подробностях и особенностях перековской био- и автобиографии, которые стоит иметь в виду сегодняшним читателям его новопубликуемой книги.

Я намеренно употребил сейчас слово "биография" так, как будто его твердый фактический смысл разумеется сам собой. Для рутинных специалистов "по жизни и творчеству" либо лихачей биографического жанра иначе и быть не может. Но для Перека не было не только ничего более — прямо-таки до телесной болезненности — значимого, но и ничего более — буквально до душевной болезни — проблематичного. В кратком, как все его признания, но важном эссе "Заметки о том, чего я ищу" он мельком пробрасывает: "Почти на всех моих книгах лежит тот или иной автобиографический отпечаток". Что и говорить: читая "Темную лавочку", с этим сталкиваешься в каждом абзаце, и реальный, биографический, интертекстуальный и прочие комментарии к данной коллекции сновидений, начиная с личной географии Парижа, заняли бы, наверно, объем, сопоставимый с самой книгой (скажем, бегло упомянутые в одном из видений парашютисты — еще и скрытая, для себя одного, отсылка к временам военной службы в парашютных частях под городом По, однако таких отсылок в тексте десятки, если не сотни).

Но напомню о другом. Один нетривиальный интервьюер предложил Перек прокомментировать пассаж из письма Кафки Милене (цитирую его в переводе Альберта Карельского): "Мы с тобой оба немало знаем характерных экземпляров западноевропейских евреев, но я, насколько мне известно, самый из них западный, это означает, если несколько выспренне выразиться, что мне не даровано

© by Éditions Denoël, 1973
© И. Радченко. Перевод, 2003
© Б. Дубин. Вступление, 2003

1. Впервые роман был опубликован в "ИЛ" (1967, № 2), затем, в том же году, в издательстве "Молодая гвардия".

2. Поскольку в этом игровом детективе 1969 года буква "е" не используется, как того и требуют законы липограммы, то, может быть, точнее было бы называть его "Утрата". Зеркалом или контррельефом к нему выступает опубликованный через три года роман "Преведение", написанный, понятно, с использованием единственной гласной – "е". Есть у Перека и новелла на "а", она носит английское название "What a Man!".

судьбой ни секунды покоя, ничего мне не даровано, всего я должен добиваться, не только настоящего и будущего, но даже и прошлого; уж прошлое-то человек, наверное, получает в наследство, а я и его должен добиваться, и это, может быть, наитягчайший труд <...>". Перек целиком согласился для себя с таким диагнозом и добавил: "У меня нет ни дома, ни семьи, у меня и крыши-то над головой нет, <...> у меня нет корней, я о них ничего не знаю. <...> И с помощью письма я хочу проложить след у себя в памяти". Как же так, может спросить кто-то, слышавший либо знающий о книгах Перека "Дубль-ве, или Воспоминание детства", "Я помню", "Смета мест", "Я родился", о его автобиографических замыслах "Фамильное древо", "Места, в которых я спал", просто "Места" и о множестве других, сами названия которых вроде бы отсылают к самоописанию, самоопределению, памяти? "Нет у меня воспоминаний детства", — наотмашь отрéзал Перек. И об этом читателю "Темной лавочки" тоже не следует забывать.

Что писатель имел в виду? От детства Жорж Перек отделен огромной войной и варварским уничтожением евреев Европы (Шоа). Они навсегда оторвали его от родителей, еврейских выходцев из Польши. Они унесли жизнь его отца, Ицика Юдко Перетца, добровольца, погибшего в 1940 году от последствий тяжелого ранения, и матери, Цырлы Шулевич, то ли в 1941, то ли в 1942 году — свидетельства расходятся — еще успевшей вытолкнуть пятилетнего сына в неоккупированную зону с поездом Красного Креста, но вскоре арестованной и погибшей по дороге в Освенцим; в концлагерях бесследно исчезли еще трое из перековских предков. Так что писательство (а параллельно с ним, и год за годом все больше, кино) — редчайшая, если не единственная для Перека возможность вернуть, вернее, создать себе воспоминания. Но, реализуясь, эта возможность каждый раз снова и снова проводит для него непреодолимую черту между временем и людьми детства, по одну сторону, — и всем последующим, что связано с годами жизни в семье тети и дяди и постоянными мыслями о бегстве — по другую (в 1965 году Перек напишет автобиографический рассказ "Места одного побега", а в 1978-м снимет об этом сбежавшем из дома и с уроков мальчике печальный фильм; причем ни мальчик, ни позднейший повествователь в кадре, что характерно, не появятся).

Исследователи написанного Переком говорят в его случае о "негативной автобиографии", "автобиографии под знаком небытия, отсутствия, исчезновения" (Питер Бейкер). Его книги называют "упражнениями на припоминание" (Филипп Лежен). Сам он напрямую связывал стимулы своего писательства, даже простое движение руки к письму с усилием помнить об уничтоженных: "<...> я пишу, потому что мы жили вместе, потому что я был одним из них, тень среди их теней, тело рядом с их телами; я пишу, потому что они оставили на мне неуничтожимый отпечаток, этот отпечаток и есть письмо: память о них с письмом умирает, письмо — это память их смерти и утверждение моей жизни".

Хочу подчеркнуть: слова "один из них" здесь крайне важны и требуют предельно внимательного вдумывания. Это не только свидетельство собственных чувств и знак солидарности с ушедшими. "Один из них" означает, что писатель, повествователь — а стало быть, и его читатель — не вправе и не в силах находиться *вне* описываемого, они не могут этого ни поэтически, ни этически. В прозе Перека (и это одна из самых значимых черт его письма в целом и повествовательной манеры "Темной лавочки" в частности) такой внешней точки нет. Иными словами, сам автор и его читатели становятся здесь персонажами. Причем это персонажи, порождаемые и уничтожаемые для автора актом письма, и наиболее пригодная материя для их воплощения — это, конечно, по известной шекспировской формуле, "вещество снов". Данную сторону дела обстоятельно разбирает в публикуемом ниже послесловии к "Темной лавочке" французский антрополог и социолог Роже Бастид, поэтому я на ней останавливаться не буду. Замечу только, что в не управляемые участниками сновиденные события они непоправимо включены, однако ключей для понимания смысла и связи этих событий у них внутри сна нет. Пробуя разгадать или перестроить происходящее как будто бы с то-

бой, немедленно просыпаешься — кем? Или наоборот: сон только и помнишь, только и пытаешься разгадать, что в те доли секунды, когда пробуждаешься.

Логика написанного Переком, по замечанию его исследовательницы Соланж Фрико, постоянно "стирает любую внешнюю позицию, всякую возможность индивидуального". По ее же словам, Перек всегда стремится "поставить читателя в то же самое положение, в котором находится автор: лицом к лицу с потерей, утратой, забвением". Визуальной параллелью такому письму — письму как "работе траура" ("Trauerarbeit", по распространенной среди сегодняшних историков формулировке Фрейда) — могли бы стать, например, инсталляции его младшего современника и соотечественника Кристиана Болтанского (он родился в оккупированном Париже в 1944 году) — ранний "Фотоальбом семьи Д." или более поздние "Умершие швейцарцы", "Дом, которого нет" и многие другие. Болтанский и Перек не то чтобы описывают уничтожение живого и стирание памяти о нем, глядя *извне*, — это невозможно и значило бы принять точку зрения палачей. Но тем более невозможно для них описывать это *изнутри*: нельзя свидетельствовать о том, чему не был свидетелем сам, — это понимали выжившие лагерники Примо Леви и Варлам Шаламов. Тогда писать можно не *о* Шоа, а только *им* самим, писать невозможное, невозможность быть.

Отсюда — в качестве смыслового предела, крайней границы человеческого — уравнивание автора, читателей и персонажей у Перека. Отсюда — скопление носильных вещей и семейных фотографий на голой стене или на голом полу у Болтанского. Отсюда же у них обоих вообще эта работа как бы серийными множествами, нескончаемыми и лишь условно прерванными наборами предметов и текстов, где стирается особенность всего единичного. Первое, что тут приходит в голову: таков, конечно же, деперсонализированный, "оптовый", сказал бы Мандельштам, узник концлагеря, номер на теле, нумерованное тело. Но не таков ли отчасти — глазами, скажем, поставленного на перекрестке фотоаппарата или документальной кинокамеры — и трафаретный прохожий нынешних городов ("совершенный никто, человек в плаще", как в третьем лице помянет себя Бродский)? Антропология подобного человека — экранизация романа Перека "Исчезновение" должна была называться "Особые приметы отсутствуют" — становится в прозе писателя принципом оптики, началом поэтики.

Не случайно уже в одном из первых снов "Темной лавочки" у Перека возникает образ концлагеря — позднее он будет развит в сновиденной антиутопии "Дубль-ве" (напомню, что в 1971—1975 годах, в период работы над обеими книгами, которую приходилось то и дело откладывать по соображениям душевной безопасности, Перек прошел длительную терапию у известного психоаналитика Жана-Батиста Понтали[1]). Этот неотступный кошмар потом не раз в тексте "Лавочки" повторяется. Он трансформируется то в фигурку мальчика, на которого идет непонятная охота, то в мотивы постоянного несоответствия, ощущения неловкости и стыда у автора-рассказчика-протагониста, его чувство подневольности и внешней угрозы (образы принуждения, заточения; открытость чужому взгляду и невозможность уединиться даже в интимные моменты; телесные травмы и увечья; полицейские, аресты и т. п.). Но смысловой центр всей этой коллекции снов — фрагмент под названием "Иллюзия": "она" здесь — это ушедшая, недостижимая, недоступная даже для имени мать. О сплетении подобных мотивов, сквозных для перековской прозы и его фильмов, можно сказать словами Филиппа Лежена[2]: его книги "объединяет <...> некое навязчивое воспоминание или описание, за которым таится другое воспоминание, непосильное для автора; и каждое из них служит дорогой к навсегда утраченному месту — месту, где погибла его мать".

Понятно, что места и вещи становятся у Перека неотвязными мотивами. Он — собиратель знаков утраченного и недостижимого.

1. Но и много раньше, в 1956 году, только начав писать, Перек тоже был вынужден обратиться к помощи ведущего французского психоаналитика Франсуазы Дольто.
2. См. "ИЛ", 2000, № 4.

И характерно, что в поисках "возможных автобиографий, воспоминаний, которые могли бы принадлежать мне", писатель, как признавался он сам, пришел к идеальному для себя месту — острову-накопителю в гавани Нью-Йорка, через который проходили когда-то все эмигранты в Америку (теперь там одни руины и воспоминания). Я имею в виду созданные Переком при участии Р. Бобе фильм и книгу 1980 года "Рассказы об Эллис-Айленде".

И все же сны — лишь одно, хотя и важнейшее, измерение перековского мира. Для более стереоскопичного восприятия "Лавочки" и вообще поэтики Перека коротко скажу о других. Вернее, сошлюсь тут на "Заметки о том, чего я ищу", уже цитировавшиеся выше. К страстям Перека принадлежала мания не только бесконечно собирать, но и непрестанно систематизировать или, как сказал бы господин Тест в новеллах Валери, "классифицировать" ("Прошел классифицируя" — предлагал он в качестве своей эпитафии). Без устали упорядочивая и переиначивая вещи, впечатления, слова, книги, Перек выделял четыре полюса или четыре горизонта своей работы. В качестве таковых он называл *"окружающий мир"* (повседневность, или, как он его еще именовал, "социологию", имея в виду, среди прочего, социологические очерки, которые писал для журнала "Общее дело", выпускавшегося им вместе с социологами Жаном Дювиньо и Полем Вирилио как раз в период работы над "Темной лавочкой", в 1972—1973 годах); *"мою собственную историю"* (автобиографические разыскания и коллажи); *"игру"* (языковые игры, все эти анаграммы, липограммы, гетерограммы, палиндромы и проч., приведшие его в 1966 году в группу литераторов и математиков УЛИПО — "Рукодельню потенциальной литературы", "одним из произведений" которой он себя считал) и, наконец, *"повествование"*, "роман" (сюжет, "желание писать книги, которые глотают взахлеб, лежа ничком в кровати").

Такое всеобъемлющее видение своей работы — воплощение того же ненасытного перековского собирательства, его, если угодно, новой, уже современной энциклопедичности. В качестве хронологических границ подобного подхода и смысловых вех лично для себя Перек условно выделял Бальзака и Флобера, Русселя и Борхеса. От последнего он перенял, в частности, и представление о писателе-литературе, писателе как воплощении всей словесности. "Мой честолюбивый писательский замысел, — пояснял Перек, — в том, чтобы бороздить литературу моего времени, никогда не чувствуя, что возвращаешься к уже написанному или толчешься на собственных следах, и писать все то, что вообще может писать человек сегодня: книги толстые и тонкие, романы и стихи, драмы, оперные либретто, книжки детективные и приключенческие, научную фантастику, романы с продолжением, книги для детей..."

В этом смысле фрагментарность — неотъемлемое и принципиальное свойство поэтики Перека, можно сказать, оборотная сторона его всеохватности. И "Темная лавочка" — тут не исключение, а правило. Отсюда же идет перековское ощущение бесконечности своей работы и неокончательности сделанного, его всегдашнее — "абсолютно современное", говоря словами Рембо, — стремление немедленно отбросить достигнутое и двигаться дальше. Продолжу цитату из "Заметок...": "Глядя на цепочку написанных книг, я чувствую, порой не без удовольствия, а порой с раздражением (поскольку это чувство всегда связано, по Бланшо, с "предстоящей книгой", с незаконченным, а на самом деле несказуемым, к которому в отчаянии ведет писательская страсть), что они идут по какой-то дороге, расставляют вешки, ощупью прокладывают путь, шаг за шагом воссоздают этапы поиска, о котором я не могу сказать "почему", а могу сказать только "как". Я смутно чувствую, что мои книги вписываются и приобретают смысл в рамках того общего образа литературы, который у меня есть. Но, кажется, я никогда не сумею определить этот образ точно: он для меня — за пределами написанного, это тот вопрос "почему я пишу", на который можно ответить, только продолжая писать, бесконечно откладывая ту минуту, когда писать закончишь и этот образ встанет у тебя перед глазами, как неумолимо завершенная головоломка". Подобный голод по беспредельно отступающему пределу, конечно, неутолим.

"Темная лавочка" начинается со сцены символического, принудительного и тягостного определения собственного роста (смысловая "рифма" к ней — сон о водружении героя-рассказчика на пьедестал, его низвержении и забрасывании камнями) и с характерно забытого — это *писателем*-то забытого? — ключевого слова "метроном, метромер". А заканчивается, обрывается вся сюита сновидений 1968—1972 годов опять-таки характерным воспоминанием о мальчике, четверть века назад — кто тут помнит и кто подтвердит? — игравшем в мяч у стены во дворе дома на парижской улице Ассомпсьон (Успения Богородицы), которого — дома? двора? мячика? мальчика? — больше не существует. Но ведь такому сознанию утраты не найти и успокоение. Чтó здесь остается — это само подобное сознание. Словами Пауля Целана: "Никто свидетелю не свидетель". Или иначе:

Лишь для ребенка утешенья нет,
чей мячик отскочил на мостовую[1].

Борис Дубин

Для Нура

полагая
что реальность
вовсе не реальна
могу ли я считать
сны снами

Жак Рубо и монах Сайгё

Все люди видят сны. Некоторые их помнят, но не всякий рассказывает, и уж совсем редко кто доверяет бумаге. Да и какой в этом смысл, если известно, что сон словами не передашь (а вот что-то свое сокровенное выдашь).

Начав фиксировать снившееся, я очень скоро обнаружил, что уже только для того и вижу сны, чтобы их записывать.

И теперь эти виденные-перевиденные, читаные-перечитанные, писаные-переписанные сны только на то и годны, чтобы сделать из них тексты, целую охапку текстов и сложить их у ворот "королевской дороги", которую мне осталось пройти уже с открытыми глазами.

Фиксируя, а потом редактируя сны, я старался придать им некоторое формальное единообразие, а потому, на мой взгляд, стоит сказать несколько слов о расположении текста:

— переход к новому абзацу соответствует перемене времени, места, чувства, настроения и т. д., перемене, которую я ощутил во сне;

— курсив, употребляемый лишь в исключительных случаях, обозначает какую-то знаменательную деталь;

1. Эудженио Монтале. Перев. Е. Солоновича.

– величина пробелов между абзацами соответствует большей или меньшей длине эпизода, который я не мог вспомнить или понять при пробуждении;

– знак // означает умышленный пропуск.

№ 1
Май 1968

Р*ост*

Шест для измерения роста (название вылетело: метроном, метромер) и многочасовое стояние. Само собой. Шкаф (с двумя тайниками). Театральное представление. Унижение?.. Произвол.

Комната, множество людей. В углу – антропометр. Я знаю, что мне, возможно, придется простоять под ним несколько часов. Это не настоящая пытка, а, скорее, испытание, но ощущение неприятное: планка давит на голову, и ты рискуешь сделаться меньше ростом.

Само собой, я понимаю, что это сон и что снится мне, само собой, концлагерь. Разумеется, концлагерь не реальный, а – как это бывает во сне – образ, метафора, хорошо знакомая картинка, словно бы виденная уже много раз, словно бы только она мне всегда и снится, словно бы я всю жизнь только и делаю, что вижу во сне концлагерь.

Опасность быть придавленным ростомером представляется поначалу квинтэссенцией лагерного кошмара. Потом оказывается, что она не так уж страшна. К тому же ничего особенного не происходит, угроза не реализуется. Но именно нереализованная она и служит самым весомым доказательством существования лагеря: меня спасает только безразличие палача; он волен казнить или миловать, я полностью в его власти (точно так же я нахожусь во власти этого сна: я знаю, что это сон, но вырваться из него не могу).

Следующий эпизод с незначительными вариациями повторяет ту же тему. Двое (один из них, вероятно, я) открывают шкаф, в котором оборудованы два тайника, где заключенные прячут ценности. Под ценностями подразумевается все, что помогает человеку выжить, будь то предмет первой необходимости или вещь, которую можно выгодно обменять. В первом тайнике – шерстяная одежда, много всякой теплой шерстяной одежды, старой, выцветшей, траченной молью. Во втором тайнике хранятся деньги, он устроен как школьная парта: в одной из полок шкафа выдолблена полость, сверху она прикрыта откидной дощечкой. Тайник этот считается не очень надежным; когда я протягиваю руку, чтобы открыть его и забрать деньги, в барак кто-то входит. Оглядываемся: офицер. Молнией проносится мысль, что в любом случае все бесполезно. Одновременно становится ясно, что выйти из барака и умереть – это одно и то же.

В третьей сцене – к сожалению, я ее почти полностью забыл – выясняется, кажется, название лагеря: то ли Треблинка, то ли Терезин, то ли Катовице. Театральное представление было, возможно, "Терезинским реквиемом" (журнал "Les Temps modernes", 196., №.., с....-...). Смысл это-

го несохранившегося в памяти эпизода связан, по-видимому, с более ранними снами: можно (иногда) спастись игрой...

№ 4
Декабрь 1968

Иллюзия

Я вижу сон
Будто она рядом со мной
Это сон, говорю я себе
Но в то же время явственно ощущаю рукой тяжесть ее руки
Открываю глаза
Она и вправду рядом
Шалею от счастья
Включаю свет
Он вспыхивает на сотую долю секунды и гаснет (лампочка перегорела)
Обнимаю ее

(просыпаюсь: я один)

№ 10
Октябрь 1969

Писатели

Магазин, вернее даже большая ярмарка; что-то вроде праздника "Юманите". Народу много. Все назначают друг другу встречи тут, там.

Меня "представляют группе советских писателей". Те со мной здороваются, но дальше, к моему великому огорчению, никто не обращает на меня ни малейшего внимания. Все слушают Армана Лану (я вижу его впервые, он совсем не такой, каким я его себе представлял), он говорит по-русски (но я понимаю его без труда) о десяти своих книгах, переведенных в СССР. Я поражен цифрой десять и поправляю про себя: должно быть, "десять раз одна и та же книга".

Ватага хиппи, и я с ними. Мы перегораживаем движение на автостраде. Окружаем роскошный автомобиль и с угрожающим видом подходим к нему все ближе.

№ 16
Июль 1970

Арест

Я в Тунисе. Город расположен на холмах. Долго брожу по нему: извилистые улочки, плотные ряды деревьев, просветы, панорамы. С высоты открываются виды, подобные пейзажам на заднем плане в картинах итальянских мастеров.

На другой день полиция приходит меня арестовывать. Некоторое время назад я совершил какой-то проступок. Какой именно, я напрочь забыл, но знаю, что рискую поплатиться за него теперь двадцатью годами тюрьмы.

Убегаю, прихватив с собой револьвер. Плутаю по незнакомым местам. Прямой опасности нет, но мне известно заранее, что бегство меня не спасет. Возвращаюсь туда, где гулял накануне. Три моряка спрашивают у меня дорогу. За стеной деревьев женщины в чадрах стирают белье.

Петляющими улочками спускаюсь в город. Полицейские на каждом шагу, сотнями. Они останавливают всех подряд, обыскивают машины.

Иду мимо них. Пока я не встречусь с ними взглядом, остается шанс, что они меня не тронут.

Заворачиваю в кафе, застаю там Марселя Б. Сажусь рядом.

В дверях появляются трое (полицейских, разумеется!); беспечно обходят зал. Может, они меня не заметили? Вздыхаю с облегчением, но тут один из них подсаживается ко мне.

— У меня нет при себе документов, — говорю я.

Он как будто собирается уходить (а это означало бы, что опасность миновала) и вдруг шепчет мне:

— Совокопляйся!

Я не понимаю.

Тогда он пишет на полях газеты большими буквами, обводя каждую дважды:

СОВОКОПЛЯЙСЯ

А затем три буквы зачерняет изнутри:

СОВО**КОП**ЛЯЙСЯ[1]

Наконец до меня доходит. Это очень сложно: оказывается, я должен идти совокупляться со своей женой, и, когда полиция придет меня забирать, сам факт, что я, будучи евреем, занимался таким делом в субботу, послужит мне смягчающим обстоятельством.

Тот факт, что я еврей, собственно, и стал поводом для всей этой заварухи и существенно осложняет мое положение. Меня хотят арестовать в связи с еврейско-арабским конфликтом, и сколько бы я ни утверждал, что мои симпатии на стороне палестинцев, мне это не поможет.

Возвращаюсь к себе на виллу (возможно, это не вилла, а просто комната). Меня очень беспокоит вопрос: буду ли я тунисцем, отбывающим наказание во Франции, или же французом, отсиживающим срок в Тунисе. В обоих случаях я рассчитываю на амнистию в связи с визитом главы государства.

Я чувствую себя невиновным. Паршивее всего то, что придется провести много лет в одних и тех же носках, а они уже сейчас несвежие.

№ 25
Сентябрь 1970

Две пьесы

Мне надо играть в двух спектаклях.

До этого я участвовал в массовке, у меня обнаружили актерский талант и сразу дали роль.

1. Выделенные буквы составляют слово “коп”, означающее по-французски не только “полицейский”, но и “товарищ”. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Перед самым выходом на сцену я спохватываюсь, что ни разу не репетировал, более того, даже не читал своей роли.

Действие происходит в некоем зале-холле-кафе-спальне-столовой. Актеры сидят за столом. Занимаю оставшееся свободное место прямо на авансцене.

Играть предстоит какого-то бродягу. На столе лежит клочок бумаги с текстом, но сосед (актер, и он же постановщик) шепчет мне на ухо, что это не моя роль.

Я в панике. Потом мне все-таки подсовывают бумажку (очень похожую на этикетку из мясной лавки) с моими репликами. Я должен положиться на партнеров, они подмигнут мне и подскажут, когда вступать.

Спектакль начинается.

Я погиб. Чувствую, что ляпаю не то и не вовремя. По счастью, автор сочинил довольно бессвязный текст. Все голоса сливаются в нечленораздельный гул.

Некоторое время на сцене царит сумбур (я мешаю играть другим), потом в глубине зала появляются жандармы.

Так и задумано по сценарию.

Сумятица, неразбериха.

Переходим ко второй пьесе.

В ней участвуют трое. Я играю медведя (а может быть, черта), передо мной не то Фауст с Маргаритой, не то Дон Жуан с Фаустиной. Мне приносят шкуру, в которую я должен облачиться; за текст я не беспокоюсь. В основном мне придется урчать и хрюкать.

Выясняется, что роль написана для Роже Блена[1], его введут в спектакль уже завтра. Узнав, что Блен будет играть "созданный мною образ", я очень развеселился.

Первая пьеса, возможно, была репетицией. Вторую и вовсе не играли.

№ 32
Ноябрь 1970

Вечер в театре

Я был с З. на каком-то мероприятии, где присутствовали также Арагон и Эльза Триоле. Эльза Триоле, миленькая старушонка, помахала мне ручкой, что меня удивило, поскольку мы не знакомы.

Чуть позже.

Мы в театре.

Наши места возле самой сцены, прямо над рампой, я опираюсь о барьер. По ходу пьесы один из актеров, до сих пор сидевший спиной к публике, встает и принимается по-дирижерски размахивать палочкой. Из-за кулис слышится музыка. Сначала только клавесин, потом целый оркестр. В правой части сцены какой-то персонаж начинает петь. Это конец представления. Я потрясен до глубины души, хотя понимаю, что оснований для этого нет, и вместе с тем удивлен, что пьеса, кажется, только меня одного и взволновала.

1. Роже Блен (1917–1984) – французский актер и режиссер.

По окончании спектакля — толкотня в зале.

Мы с З. стоим наверху амфитеатра. Внизу, перпендикулярно нашей лестнице, направляясь к выходу, идет Эльза Триоле. Кивает мне. Я говорю З.: "Это Эльза Триоле". З. спрашивает, сколько мне было лет, когда Триоле увидела меня впервые, и добавляет, что сейчас я познакомлюсь с человеком, который знал меня "еще меньшим". Из ее слов я не понимаю, идет ли речь о женщине или мужчине и кто кого был меньше.

Возвращаемся домой.
За нами следом входит лысый человек, мой дядя[1]. Я узнаю в нем теперешнего любовника З. Оставив дядю позади, она заводит меня в крошечную полутемную спальню; полагаю, это одна из пристроек в Дампьере.

Мы сразу бухаемся на кровать. З. прижимается ко мне, часто дышит, но я-то догадываюсь, что она хочет бросить меня здесь одного и пойти к моему дяде. Впрочем, она вроде бы еще сама не решила, как ей поступить. Я говорю ей, что в любом случае хочу спать только в своей комнате.

№ 35
Декабрь 1970

В *кафе*

1

М. К. у меня в квартире. Она несет стакан воды из душевой в кухню и разливает его на низкий черный стол. Вода равномерно покрывает столешницу, не стекая с нее; стол блестит, как полированный...

2

Дампьер. Гости собираются в столовой. Появляется З., она ослепительно хороша. Я увлекаю ее в какую-то комнатушку, вытянутую, как кишка. Говорю, что хочу с ней расстаться. Она отвечает:

— И все-таки возьми от меня...

(забыл слово: дань, подарок, диплом, награду)

И что-то вешает мне на шею.

3

Я лежу в постели с П.[2]. Вокруг много народу: оказывается, мы в кафе. Никто не удивляется, что мы лежим в постели, и мы сами нисколько не стесняемся. Странно как-то заниматься любовью в кафе, говорю я себе; даже если мы накроемся с головой, видно будет, как одеяло ходит ходуном. Одно раздевание чего стоит: приходится выделывать прямо-таки акробатические упражнения. Мне еще куда ни шло, а вот П. сложнее.

В конце концов П. садится и расстегивает бюстгальтер. А грудь у нее набухшая, лиловая и вся в пятнах, то есть в гематомах от многочисленных жадных засосов. Меня охватывает ревность к мужчине, который это сделал.

П. встает с кровати, на ней одна только прозрачная рубашонка; идет к проигрывателю, ставит пластинку и объявляет посетителям название

1. Вероятно, имеется в виду Давид Биненфельд, муж тети Ж. Перека по матери, в чьей семье мальчик воспитывался десять лет после трагической гибели родителей.
2. Скорее всего, автор имеет в виду свою жену Полетт Петрас, с которой он после нескольких лет совместной жизни расстался.

песни, потом отходит в уголок, обнажается и возвращается ко мне, прикрывая грудь и то, что ниже, руками и рубашкой.

Тут нас как раз начинают обслуживать; вдоль кровати стоит длинный стол, за ним уже сидят двое. Сперва бросают нам меню: закуски, горячее, десерт. Я заказываю бифштекс и ничего больше. Мне кидают какое-то странное блюдо, назвав его закуской; как выясняется, это десерт одного из сотрапезников. Наконец приносят мой бифштекс, но он вообще ни на что не похож.

№ 41
Январь 1971

Погоня в Дублине

Вроде как цветной приключенческий фильм; краски приглушенные, размытые, в рыжеватых тонах — под американское кино (в духе "Капитана Лайтфута" Дугласа Сирка[1] или "Мира в его руках" Рауля Уолша[2]).

Место действия — Дублин, время — XIX век.

Центральный и, собственно говоря, единственный персонаж — какой-то революционный вождь. Я следую за ним как тень. Бывшие товарищи не то заложили его полиции, не то сами приговорили к смерти; последнее более вероятно.

Ему все известно.

Он разгуливает по улицам с маленькой собачонкой и знает, что когда ее подойдут обнюхивать два кобеля — это будет условный знак, по которому убийцы должны обнаружить себя.

Он не пытается избежать того, что все равно неминуемо случится, а, наоборот, открыто расхаживает по городу, показывается всюду, заходит в пабы и т. д. Люди от него отворачиваются, а если смотрят, то с ненавистью, презрением или жалостью. Но ни один кобель не интересуется его сучкой.

И вдруг она пускается наутек.

Бросаемся вдогонку, мчимся как угорелые: умереть мой революционер готов, однако ему невыносима неизвестность; он хочет знать, кто его убьет и когда.

Проносимся по дворам
Перелезаем через заборы
Карабкаемся по лестницам
Тревога нарастает: повсюду чудится угроза.

По меньшей мере дважды описываем один и тот же замкнутый круг. Вообще-то мы бежим все время вверх, но каким-то образом возвращаемся в исходную точку: это напоминает гравюру одного голландца — выскочила из головы фамилия (Эшер[3]) — или еще гигантскую ленту Мёбиуса.

В иных кадрах ощущается романтический налет а-ля "Пепе ле Моко"[4].

1. Дуглас Сирк (1900—1987) — американский кинорежиссер.
2. Рауль Уолш (1887—1980) — американский режиссер, продюсер, сценарист и актер; "Мир в его руках" (1952) — приключенческий фильм с Грегори Пеком в главной роли.
3. Вероятно, имеется в виду художник Мауриц Эшер (1898—1972).
4. "Пепе ле Моко" — фильм Жюльена Дювивье с участием Жана Габена (1937).

В каком-то месте у меня не выдерживают нервы, и я пытаюсь прокрутить пленку в ускоренном темпе (сделать так, чтобы я бежал быстрей, быстрей карабкался по лестницам и т. д.), но ничего не получается.

№ 42
Январь 1971

Стряпня

З. пригласила в гости друга. За тоненькой перегородкой мы — то есть я и целая ватага поварят под моим руководством — готовим ужин. Мы веселимся и поем. Я взбиваю какую-то массу — то ли майонез, то ли крем на десерт, — подсыпаю туда всяческих ингредиентов из баночек, это проще простого! И до чего же аппетитно!

Но потом — вероятно, под самый конец — приходит какой-то зверек и начинает есть прямо из блюда.

Я веселюсь и всех потешаю: эдакий шут и забавник.

№ 45
Январь 1971

Танк

Мы поселились в заброшенном доме с П. и одним ее приятелем. Нам разрешено употреблять только минеральную воду, даже для приготовления пищи, хотя я хорошо помню, как давеча пил воду из-под крана. А найденная бутылка минеральной воды оказалась незакупоренной.

Садимся обедать. Замечаем под столом кусочек паштета (похож на жевательную резинку, которую кто-то сплюнул). Надо думать, он лежит там уже несколько дней, хотя на вид совсем не тухлый; тем не менее П. с отвращением его отбрасывает.

В окно, высокое и узкое, вижу гигантский танк. На самом деле это скала, но выглядит как настоящий танк: ее поверхность окована большими листами железа, то ли крашеными, то ли покрытыми лаком; листы местами отстают, образуя огромные вздутия. Все это какое-то скользкое, вымазанное грязью.

Потом замечаю маленького мальчика, бегущего слева направо по верхней плоскости гусениц танка, а в действительности по тропке, вырубленной в отвесной скале. За ним гонится мужчина. Впереди появляется другой и перегораживает дорогу. Мальчику остается одно — прыгать вниз, а это очень опасно, перед ним пропасть. Видно, что ему страшно, но в последнюю минуту он теряет равновесие и поневоле прыгает. Так бывает в бассейне: ребенка толкают сзади, и он ныряет, потому что ничего другого ему не остается.

Мое окно нависает над озером, это озеро протянулось до самой скалы-танка. П. с приятелем уже на том берегу.

Мальчик плюхается в воду ногами, как будто он упал с высоты всего нескольких сантиметров. Тут совсем мелко. Он бежит к середине озера и там уже плывет. Мужчины преследуют его вплавь. Теперь ясно: это полиция; от берега отходит полицейский катер, мчится мальчику наперерез. Тот ныряет, выныривает в другом месте, но все равно он уже окружен. И тогда в действие вступает новый персонаж: бородатый мужчина, кажется, с пистолетом. Он угрожает полицейским, что убьет — почему-то, правда, не их, а *себя,* – если они не отпустят ребенка. И они отпускают.

Я иду к П. Мы стоим на берегу и с возмущением обсуждаем безобразное и весьма симптоматичное происшествие, свидетелями которого стали.

№ 46
Январь 1971

Концентрационный лагерь под снегом, или Зимний спорт в лагере[1]

Из всего сна помню только одно: человек в ботинках из очень твердого снега или, может быть, льда, и почему-то они наводят на мысль о хоккейной шайбе.

№ 50
Февраль 1971-

Незваная *гостья*

Кто-то проник ко мне через тонкую стенку душевой. Стучит, зовет меня по имени. Голос скорее доброжелательный. Полагаю, это женщина; чувствую, как она подходит к моей кровати, что-то шепчет мне на ухо; я убежден, что это не сон. Просыпаюсь и с изумлением слышу собственный голос:

— В чем дело?

(через несколько секунд — звонок в дверь. Это К., она пришла позавтракать со мной и принесла круассаны)

№ 51
Февраль 1971

Б*ольшой двор*

Какой-то большой двор, некое пространство, со всех сторон окруженное домами. Встречаю там Анри К., он говорит, что тоже едет в Гренобль и может меня подвезти.

1. Спустя два года Ж. Перек выпустил книгу "Дубль-ве, или Воспоминание детства" (1975), где действие происходит в фантастическом спортивно-концентрационном лагере.

Все ужинают. Я хожу от стола к столу. Из еды — только сыр; с виду сыр как сыр, а когда берешь, оказывается, что он кишит червями. Делюсь своими наблюдениями с П. Она отвечает, что ей это известно, она уже такой брала. Тем не менее она готовит мне бутерброд, проверяя, нет ли в нем червей (надрезает кусок в разных местах).

Я несколько раз встаю и собираюсь уходить. Целую всех (многих девушек в губы). З. тоже здесь, держится в стороне, но улыбается. Кроме одной девицы, которая плачет и не дает себя поцеловать (потом все-таки соглашается), все как будто довольны (несмотря на мой отъезд?). Прощальные поцелуи повторяются много раз. Анри К. с женой летят в Гренобль самолетом из Парижа, я еду поездом. Он снова предлагает меня подбросить. Я соглашаюсь с условием, что мы уезжаем прямо сейчас: люблю занять свое место в вагоне за пятнадцать минут до отправления. Анри К. отвечает, что мы еще успеваем выпить кофе (отвратительный, но горячий). Кофе подают в одном из домов, это единственное освещенное строение во всем дворе. Перед входом три ступеньки. Задымленный зал, в глубине — стойка, тут едят бедняки. Нам выносят на улицу большой поднос (мы сидим на корточках). На подносе только три пиалы (одна черная, две белые) и чашка. Пью кофе (приготовленный для кого-то другого, но для меня здесь вообще ничего не предусмотрено).

Анри К. исключительно элегантен, выглядит очень молодо; на нем мягкая черная шляпа, я ему говорю, что она великолепна.

№ 57
Март 1971

Возвращение

С тех пор как я расстался с З., она живет с двумя мужчинами, которых не любит, зато оба баснословно богаты; один — инженер, другой — какой-то магараджа; последний подарил ей фантастический дом.

Он строится у меня на глазах.

Вижу высокую белую стену, в ней проем (должно быть, оконный) на порядочной высоте, выше моего роста; в проеме замечаю двоих — мужчину и женщину, это рабочие-плиточники. Их лица кажутся мне знакомыми; они, во всяком случае, меня знают; женщина интересуется, вышло ли третье издание “Вещей”, благодарит меня за такую хорошую книгу, а потом говорит: если уж на то пошло, должен быть и перевод для заик. Эта мысль меня чрезвычайно забавляет.

Тем временем ценой неимоверных усилий мне удается, приставив к стене (за неимением лестницы) деревянную раму, не толстую, но очень прочную, влезть в проем. Распрямившись кое-как, я оказываюсь на краю комнаты, где работают мои знакомцы. Они разрешают мне войти, хотя на свежевыложенный кафель ступать запрещено (ходить надо по мосткам из кирпичей и досок). Поначалу я подумал, что кафель такой же, как был у З. в ее домике в Филани: обыкновенный, четырехугольный; но оказалось, он шести- и восьмиугольный, причем все плитки разной ве-

личины, от совсем махоньких до громадных, и искусство мастеров в том и заключается, чтобы справиться со сложной (и нерешаемой) топологической задачей укладки разнокалиберных плиток.

Покатываясь со смеху, я произношу первые строчки "Вещей" на языке заик и иду по комнате, чуть вдавливая кафель (ощущение погружения очень отчетливое) в непросохший цемент. Некоторые плитки выступают над другими; я полагаю, они положены так специально, чтобы по ним ходить, хотя, возможно, это просто ошибка укладчиков, и только потом постигаю замысел дизайнеров, создавших тут островки, наподобие выступающих из песка камней в японских садах.

Воспоминания о моей жизни в доме магараджи начинают постепенно стираться: я был его доверенным лицом и камердинером. Носил его портфель и постоянно приводил в порядок хранящиеся там бумаги, хотя ничего важного они не содержали. Нам предстояло отправиться куда-то с официальным визитом, уже назначено было время отъезда, но магараджа задерживался. Он вообще капризен и своенравен, у него всегда так: то не готов, то передумал и т. д. Я же циркулировал между своей комнатой и покоями магараджи и в терминах расиновской трагедии жаловался кому-то на причуды своего господина. Первый раз я пришел умолять его ехать немедля, причем не от себя лично, а по просьбе эскорта, состоявшего из рыцарей в кольчугах, один из которых прятался за моей спиной и дрожал всем телом. Разъяренный магараджа выплеснул полную рюмку водки мне в лицо (если быть точным, не в лицо, а поверх головы, то есть как бы окропил), а потом, чертыхаясь, разбил и саму рюмку. Я не больно-то испугался; меня взбесило другое: пока мы шли по нескончаемому коридору в обратную сторону, воин, которому, собственно, я и хотел помочь, и его жена (ею оказалась П.) не переставали надо мной издеваться.

Зато в другой раз магараджа вручил мне орден — прямоугольную серебряную пластину размером примерно с десятифранковую купюру и очень хитроумно выделанную; она была разделена на квадратики, думаю, штук на двенадцать: один выпуклый, другой вогнутый, а каждый из квадратиков — еще на двенадцать, и тоже один выпуклый, другой вогнутый и так далее...

Магараджа тянул время, но, в сущности, это не имело никакого значения. Я полагал, что уже шесть часов и что мы окончательно опоздали, однако часы на стене моей комнаты показывали час дня. А позднее, когда я стоял в очереди на станции метро, было еще только одиннадцать утра.

На станции метро люди стояли в очереди, либо чтобы не брать билета, либо чтобы взять билет на выход из метро. Все считали это нелепым. Далеко-далеко внизу проезжали поезда. Слева я увидел металлическую лесенку, она вела вниз к трем дверям: первая — без надписи, на второй — табличка "Вход для хористов" или что-то в этом роде, на третьей — "Кухни". Мой спутник сказал мне, вернее напомнил (я уже слышал об этом раньше), что Управление парижского городского транспорта предлагает очень недорогие обеды, а тех, кто не может заплатить, кормит и вовсе бесплатно, хотя в последнем случае подают блюда, подешевле холодного мяса, из чего я заключил, что у них вся пища холодная.

Я опять в доме З.

Любопытно, говорю я себе, обычно она покрывает пол чем-нибудь однородным: либо кафелем, либо паласом; а тут выбрала совсем иной стиль — сказывается влияние магараджи и его архитекторов; правда, она получила в свое распоряжение уйму денег, вот и появились плитки разной величины, островки, потрясающий светлый паркет с замысловатым рисунком...

Ее спальня — это море синего паласа. Все комнаты, в которых она жила раньше, воссозданы один к одному. Я не сомневаюсь, что найду и свою (я затем и пришел, чтобы взять книгу — спящего[1] — у себя в библиотеке).

Иду по коридору, открываю дверь и обнаруживаю двух высоченных мужчин в костюмах; увидев меня, они смущаются, даже пугаются и мгновенно убегают.

Открываю другую дверь. Тут какой-то гардероб. Вижу З. со спины, совершенно голую; она хватает на ходу красный банный халат и исчезает в боковом выходе.

/ /

Я говорю З., что пришел за книгой. Где моя библиотека? — спрашиваю. Она отвечает, что мои книги у сына. Иду к ее сыну, он сидит за письменным столом.

— Все в порядке?

— В порядке!

Библиотеки никакой нет, но я уже о ней не думаю.

Мы с З. собираемся уходить, за нами следуют те двое мужчин. Идем через патио. Это длинное-предлинное помещение (то самое, которое строилось при мне), вместо стен — ступеньки амфитеатром; ходить надо по каменным дорожкам над узкими каналами с водой. Кругом цветы. За столиками много людей. Атмосфера праздничная. Шум, гам. Слышу отдельные реплики:

— У вас (было) очень хорошо.

Потом более отчетливо:

— Шампанское и "Перье".

З. что-то произносит по-английски.

Мы идем по улице Суфло. Впереди я и З., сзади, порядочно отстав, те двое. З. все время смеется.

— Я нисколько не сомневалась, что ты придешь, мне даже и ждать не нужно было. И видишь, сегодня утром — тишина, телефон не звонил, а ты тут как тут!

Вид у нее уверенный, ироничный и злой. Спохватываюсь, что я без сигарет. Замечаю справа табачную лавку. Бегу туда (по-моему, через улицу). Лавчонка крошечная, в ассортименте все больше галантерея. Прилавок наполовину загорожен решеткой. Перед ней жмутся друг к другу девочки в одинаковых красных платьицах — наверное, школьницы, пансионерки. За прилавком — две молодые особы в таких же платьях и еще несколько школьниц.

Я спешу, нервничаю.

1. "Спящий " (1967) — роман Ж. Перека.

— Мне, пожалуйста, “Житан” с фильтром и спички.
— У нас нет “Житана” с фильтром.

Я собрался было попросить какие-нибудь другие сигареты, как вдруг вижу на полке справа целую кучу сигаретных пачек, сваленных в беспорядке, и среди них “Житан” с фильтром. Показываю девушкам. Мне дают “Житан”. Расплачиваюсь и выхожу.

Ищу глазами З., она пропала, нет и обоих мужчин. Я в отчаянии, но почти тотчас приходит сознание неотвратимости происходящего, а с ним и какое-то даже успокоение: не так уж страшно, что я с ней снова увиделся, поскольку все равно она исчезла. Привычным жестом срываю целлофановую обертку с пачки “Житана” и в ярости обнаруживаю, что вместо сигарет мне подсунули большую коробку спичек.

Иду дальше по бульвару Сен-Мишель, по левой стороне. Пятница, четыре часа, но уже почти стемнело. Решаю позвонить М., хотя заранее знаю, что толку от этого не будет. Заворачиваю в кафе за сигаретами. Жду очереди у кассы. Передо мной один покупатель, он отходит, забрав свою газету, наполовину закрывавшую окошечко кассы. Смотрю, монетка в пять сантимов, дай, думаю, возьму, но потом отдаю ее продавцу (он старик), тот благодарит меня за честность. Я протягиваю ему десять франков и прошу пачку “Житана” с фильтром и спички, всего на 2,10. Он никак не может сосчитать, сколько должен мне сдачи.

В конце концов я вынужден поступить следующим образом: сначала купить у него пачку сигарет за 2 франка; даю ему 10 франков, он возвращает мне 8. Затем даю ему монету в 1 франк и прошу коробку спичек за 10 сантимов и 90 сантимов сдачи.

Но он и тут путается.

№ 58
Март 1971
(под утро после сна № 57)

Снег

(...вероятно, я все-таки позвонил М., и мы договорились, что я за ней зайду...)

Встречаемся в подъезде ее дома. Она улыбается. Идем по улице обнявшись. На ней белая куртка с четырьмя карманами, а я в одной футболке. Спохватываюсь, что у меня с собой всего то ли 20, то ли 40, то ли 60 франков, а мы наметили поужинать в “Бальзаре”; ерунда, говорю я себе: можно предупредить метрдотеля, что занесу деньги завтра; потом решаю, что проще пойти в бар, где я плачу раз в квартал.

От этого вечера я ничего особенного не жду; сам я уверен, что по-прежнему не питаю к М. никаких чувств, но постепенно понимаю, что она меня любит. Мы целуемся. Меня захлестывает волна счастья, однако вскоре я начинаю испытывать беспокойство. Во-первых, М. почему-то очень высока ростом, гораздо выше обычного, просто-таки велика для меня;

чтобы видеть ее лицо, я должен подняться на цыпочки и задрать голову! Во-вторых, она как-то странно причесана: на половине головы волосы взбиты и волнами падают вперед. И глаза вроде как не ее, хотя все равно красивые.

Мы с ней идем по улице. Она обвила меня рукой за талию и длинными пальцами гладит по пупку и по ширинке. Прижимается ко мне. Мой член твердеет от прикосновения ее живота, руки шарят по ее гладкой спине.

Идем дальше. М. говорит, что отдала детей в пансион; она пыталась покончить с собой — как именно, не рассказывает. Живет сейчас в отеле "Деготекс".

— Видел бы ты мою комнату! — смеется она.

Я отвечаю, что она теперь переедет ко мне, и у меня ей будет хорошо.

К нам присоединяется какая-то ее подруга. Мы находимся в квартале от Монтань-Сент-Женевьев[1]. Поднимаемся по узкой извилистой улочке. Брусчатка сменяется жесткой травой стриженого газона. Нас обгоняют два *частных* автомобиля. В одном из них — женщина в трауре, состояние ее иначе как прострацией не назовешь.

Под ногами уже не газон, а снег, идти становится все трудней. Множество людей мучительно карабкаются по склону. Продвигаемся еле-еле. Вижу свою ногу в сером носке с дыркой на большом пальце, потом оказывается, там не дырка, а только слегка протерто, а потом смотрю — на ноге и вовсе ботинок (фирмы "Church"). Я и сам удивлялся, что иду в носках.

Впереди отвесная стена ледяной скалы, на нее так просто не взберешься. Сначала надо вогнать ледоруб в толщу льда высоко над головой, подтянуться и исхитриться встать на ледоруб ногами, потом, не теряя равновесия, выпрямиться, зацепиться руками за верхний край и снова подтянуться.

Но еще прежде на пути у нас возникает кр$^{у}_{ы}$тая $^{г}_{н}$ора. М. лезет первая, я — за ней, но у меня ничего не получается. Напрягаю всю свою волю (всей душой стремлюсь догнать М.), но напрасно: мышцы мои сделались словно ватными.

Подруга М. машет нам рукой, зовет назад: чуть дальше есть дорога, прямая и расчищенная от снега.

Мы находимся где-то в окрестностях Ланса[2].

Разве мы уже миновали перевал?

Мне кажется, мы все в той же долине, откуда начинали свой путь.

Неопределенность ситуации, как видно, и запечатлена на плакате, с которым разгуливает какой-то парень; там примерно следующий текст:

1. В переводе на русский название этого парижского квартала означает "Гора Св. Женевьевы".
2. Вероятно, имеются в виду Виллар-де-Ланс или Ланс-ан-Веркор, расположенные неподалеку друг от друга в предгорьях Альп, куда пятилетнего Ж. Перека вместе с другими детьми увезла из Парижа во время войны благотворительная организация Красного Креста и где он жил с 1942-го до 1945 года.

Нет двух перевалов
Они соединены в один
Один перевал
Нет перевала
Нет ничего

№ 64
Март 1971

Кость

Кто-то, полагаю П., гладя меня по голове (совершенно лысой, замечу, волосы — это парик), обнаруживает, что моя лобовая кость (та, что прикрывает череп сверху, как крышка супницы, но более плоская, почти совсем невыпуклая) подвижна.

Я перепуган.

Там ведь родничок! Он, может, еще не полностью зарос, хотя времени для этого было предостаточно.

Решаюсь проверить собственноручно. Провожу ногтями больших пальцев по краям кости, даже почти и не надавливаю, а кость (будто это покрышка будильника или пластинка, закрывающая батарейки в моем приемнике) отделяется и падает на пол.

Вижу кору головного мозга.

Поднимаю кость, вставляю ее на место. Беспокойство мое растет, теперь, ко всему прочему, я опасаюсь заражения.

Позднее осмеливаюсь все-таки пошевелить головой: кость не падает, это меня немного утешает.

Приятно сознавать, что это только сон.

/ /

Я в бывшей своей комнате в Дампьере. Тут повсюду паутина.

Экипируюсь для поездки на мотоцикле. Беру ботинки. Они все в паутине, а в ней — крошечные экскременты, похожие на зернышки или на гнид. На подметке сидит здоровенный паук, я его давлю.

№ 65
Апрель 1971

Доски

1

Дампьер. Поднимаюсь на второй этаж, захожу в туалет. Отсюда можно незамеченным наблюдать за всеми. Я думаю, что вижу К., а это маленькая девочка в красном платье.

2

Нас трое. В заброшенном магазинчике рядом с “Призюник” на улице Ледрю-Роллен мы воруем разные вещи, в том числе две доски.

На нас никто не смотрит, тем не менее я интересуюсь у лавочника по соседству, можно ли взять доски. Сам напрашиваюсь, он на нас и внимания не обращал! Он, разумеется, отвечает: одну доску — пожалуйста, а вот две никак нельзя. Отдаем ему обе.

Я иду с Ж. Л. по узкой улочке — она чем-то напоминает пассаж Шуазель — неподалеку от площади Бастилии.

Там демонстрация сторонников “Нового порядка”, много парашютистов.

В конце улицы — решетчатая калитка. Запор на ней сделан не на обычной высоте, а на самом верху.

Возвращаюсь на ту же улочку снова: мы с Ж. Л. оставили там вещи.

Встречаю своего начальника; он знакомит меня с друзьями-американцами, их имена мне известны (они часто встречаются в моей картотеке).

Смотрим бейсбольный матч.

Замечаем, что позади игроков собираются полицейские.

Мы снова на улице. Меня охватывает страх. Надо бежать, а я буквально обвешан свертками.

№ 72
Май 1971

Карнавал

После рабочего дня я стою на автобусной остановке вместе с одной молодой женщиной из нашей лаборатории.

Подходит автобус, пустой, только на заднем сиденье один пассажир — это З. Я вхожу, долго думаю, потом наконец прошу у контролера один билет и плачу за него один франк.

Сажусь рядом с коллегой лицом к З. но на порядочном расстоянии от нее. Она меня как будто не замечает, хотя в душе я не сомневаюсь, что она меня видела.

Нас обгоняют мотоциклисты, чуть дальше встречается карнавальная процессия — лицеисты, наверное, устроили. У них декорации, маски и прочая бутафория сделаны из какой-то жидкой пластмассы; краски так и блестят: сиреневые, розовые, красные... Эта штука продается в баллончиках с пульверизаторами и исключительно удобна в употреблении.

Карнавальное представление. Батальная сцена: из гаубицы плавно вываливается огромный снаряд, часть улицы вздымается, словно бы ее подрыл гигантский крот.

По-моему, мы находимся теперь в районе улицы Ассомпсьон[1].

В луже крови (ненатуральной) лежит юноша и корчит предсмертную гримасу; оглядываю его равнодушно и прохожу мимо; он очень огорчен, что я не оценил его игру (или оценил, но не подал вида).

Оказывается, теперь это дорога на Дампьер. Нас много. Кто-то объясняет, как действуют бомбы с платидом, говорит, это весьма полезная вещь.

Сидим за столом в Дампьере. Напротив меня З. На столе махонькое блюдо с сыром. З. жалуется, что хороший сыр трудно достать. Приносят кусок бри, его надо разрезать, точнее, срезать с него корку. Я берусь за дело, орудую длинным ножом, почему-то оказавшимся у меня под рукой, но тут кто-то слева (возможно, С. Б.) выхватывает блюдо и передает его З. Я огрызаюсь:

— Выходит, я уже ни на что не гожусь! (или что-то в этом роде).

Замечаю крошечный порез на указательном пальце; он как будто сажей покрыт, и только если нажать посильней, появляется капелька крови.

№ 77
июль 1971

Агент по сбыту

Я убил свою жену, разрубил ее на куски, каждый отдельно завернул в бумагу и кое-как перевязал. Все это уместилось в картонной коробке, которую я могу унести в руках.

У меня одна надежда — что содержимое коробки превратят путем перегонки в вино или спирт. Отправляюсь на перегонный завод. Вхожу без стука, там три молодые женщины в рабочих халатах. Две сидят, третья стоит возле низкой двустворчатой дверцы, доходящей ей до пояса.

Не помню точно, то ли я им подмигиваю, как старым знакомым, то ли говорю по-свойски:

— Тут 50 кило отличного мяса!

Та, что стояла в дверях, проводит меня в какой-то чулан и начинает изучать товар. У меня все этикетки на месте, но женщина заявляет, что фирма, которую я представляю, не числится среди клиентов их компании, а потому мне трудно будет пробиться на рынок.

В качестве образца достаю несколько маленьких бутылочек. Казалось бы, обычная формальность, но как назло бутылочек становится все больше и больше: вина красные, белые, розовые, крепкие напитки всякого рода и даже графин воды, крохотный, но заполненный доверху и без пробки; в горлышко можно засунуть палец, и вода не вытекает, что представляется мне несомненным доказательством явления осмоса.

Но напрасно я так стараюсь: из кабинета по соседству выходит мужчина и заявляет, что, если моего имени не окажется в картотеке, мне не сдобровать.

1. Улица в XVI округе Парижа, где в отрочестве жил Ж. Перек в доме своего дяди.

№ 84
Август 1971

Отказ от дачи показаний

Я обнаруживаю в своей квартире неизвестную мне большую комнату, потом оказывается, что она не моя, и вообще, что это улица.

Ко мне в комнату вваливается целая толпа. Рассказывают мне, что у Ф. неприятности: он накакал перед каким-то памятником; я должен засвидетельствовать, будто я при сем присутствовал и Ф. там не видел, вернее даже видел, что он этого не совершал.

Появляется Ф. в сопровождении двух полицейских. Я объясняю, по крайней мере пытаюсь объяснить, что ни о чем таком свидетельствовать не могу.

Я играю в какой-то пьесе и в то же время должен представить актера местным властям. Мэр в полном маразме. Показываю знаками, чтобы речь произносил его сосед по столу; итак, настоящий мэр молчит, а подставной превосходно исполняет его роль.

Позднее втолковываю З., что все это совершенно не важно: произносивший речь — сам бывший мэр и одновременно лучший друг и злейший враг настоящего.

Место, куда мы пришли, мне знакомо, тут какая-то высокая изгородь (?).

Занимаюсь любовью с З. Только в ней мне по-настоящему хорошо.

№ 93
Октябрь 1971

Снегоочиститель

У меня встреча с З. в кафе “Дё Маго”.

Снегопад.

Снег превращается в лед.

Появляется снегоуборочная машина. Верхняя часть ее выступает из сугробов, как перископ подводной лодки из воды.

Подробности о работе машины.

Второй снегоочиститель (или, может, это тот же самый) опрокидывается.

З. платит 7 франков 50 за наш с ней завтрак.

№ 97
Ноябрь 1971

Лодка

Лестница

Праздник

Все фотографируются

– Можешь приходить ко мне, когда захочешь, но знай: ты мне не нужен, – говорит З.

Нас четверо. Мы плывем в лодке по Сене, возвращаемся домой. Потом я оказываюсь в лодке один.

Река запружена лодками.

№ 100
Декабрь 1971

Финляндия

Я заканчивал военную службу в цитадели Малахофф, расположенной в предместье. Это необъятное сооружение, окруженное сетью шоссейных дорог.

Возвращаясь из увольнительной, я объехал вокруг крепости на машине. С дороги я время от времени видел громадные крепостные башни и бесчисленные бетонные лестницы, ведущие к ним.

Меня прикомандировали к санчасти, я иду туда через всю крепость. Я знаю, что санчасть на двенадцатом этаже в одной из башен. Долго ищу, в какой именно. Сажусь в лифт: это горизонтальная площадка, с большой скоростью скользящая между четырех совершенно гладких стенок. Главное, этих стенок не коснуться (ощущение жутковатое).

На двенадцатом этаже никакой санитарной службы нет, зато есть огромный "драгстор", каждый ряд – как улица. Иду, иду и захожу в тупик. Прямо (возможно) санитарная служба (то ли больница, то ли медпункт, то ли вообще банк). Справа – маленькая гостиница; как следует из светящейся вывески на фронтоне, она называется "Финляндия".

Заворачиваю в гостиницу "Финляндия" и направляюсь в бар. Сразу вижу, что здесь нет рождественской елки. Я потрясен, чуть не плачу и объясняю, что в этом году не будет рождественского праздника.

//

№ 105
Февраль 1972

П*риговор*

Я составляю для Жана Дювиньо[1] “mailing-list”, то есть список лиц, которым он желает послать подарочные выпуски своих публикаций.

На уик-энд останавливаемся с П. в какой-то шикарной гостинице, возможно, это “Риц”. Мы забронировали два очень больших номера. Багажа (чемоданов и шляпных коробок) привезли столько, что грумы не могут все перенести в лифт за один раз.

В лифте. Он просторный, размером с целую комнату. Мы предвкушаем, как проведем уик-энд в роскоши, мы заранее счастливы и не скрываем этого.

Комната П. Огромная, часть ее занимает бар. Тут вовсю идет прием. Какой-то ребенок большой ложкой уплетает “chili con carne”[2].

Спускаюсь в ресторан. П. сидит отдельно от меня, она очень хороша. Неподалеку замечаю Ж. Л. Какое-то время спустя он отводит меня в угол и начинает говорить о неминуемой высадке на Кубе. Я его останавливаю. Он слишком разболтался, а в зале полным-полно стукачей.

И тут какая-то старуха, колдунья, встает и, указывая на меня пальцем, кричит приблизительно такие слова:

— Мы будем спасены, но он должен умереть!

Я перепуган, боюсь, как бы угрозу не исполнили немедленно, потом успокаиваю себя: наверняка это некая абстрактная посылка, метафизическая данность, не дефиницированная во времени. Между тем меня водружают на пьедестал, и собравшиеся начинают мне поклоняться, проще говоря, целовать мне ноги. Не успев как следует свыкнуться со своим положением, я вдруг понимаю, что меня таки пытаются убить, сбросив с пьедестала. И вот сбрасывают. Падая, я цепляюсь за неровности стены (на вид совершенно гладкой) и приземляюсь невредимым. Сверху в меня летят исполинские камни, но ни один не попадает.

Я бегу, скрываюсь в высокой траве. Потом мне повстречалось какое-то кочевое племя, мы много лет, много веков блуждали звериными тропами (возможно, я нашел в книге то место, где речь шла о животных?).

После многовековых скитаний мы возвращаемся туда, откуда бежали. В степи вырос город. Он называется Техас. Мы впервые видим огнестрельное оружие...

Техас — новый город, дома деревянные. На каждом шагу салуны. Ратуша, где ожидается собрание, размещена на задворках сразу двух салунов. По-

1. Жан Дювиньо — французский писатель, критик; преподавал философию в лицее, где учился Ж. Перек, и их дружеские отношения сохранились на много лет.
2. Чили с мясом (*исп.*).

началу это вызывает недоумение, но потом понимаешь, что придумано неплохо.

№ 110
Март 1972

Ботинки

Неужели я потерял ботинки? Как такое могло случиться?

Я попал на большую праздничную ярмарку. Там вам предлагали совершить воздушное путешествие на пеньковом тросе, прикрепленном к ядру, мячу или к шарам — знаете классический трюк: продавец воздушных шаров улетает в небо?

Завершался полет на высокой-высокой площадке. На землю спускались по огромной матерчатой трубе (эдакий рукав, весь в складках, похожий на гигантскую кишку). Этот аттракцион пользовался на ярмарке особым успехом. Меня уверили, что впечатлений масса и опасности никакой.

Спускаться и в самом деле было очень приятно (как бы свободное падение, но поминутно амортизируемое) и абсолютно безопасно.

Выбравшись из кишки в замечательном расположении духа, я отошел в сторонку, сел на скамейку и только тут заметил, что потерял ботинки.

Подзываю служащего, который у выхода из трубы стоит, прошу посмотреть, не остались ли мои ботинки внутри. Он отвечает, что внутри никогда ничего не остается. Я настаиваю, говорю: у меня были бутсы на шнурках, почти новые (мне их недавно подарили), их легко узнать. Служащий твердит свое: такого еще не случалось и случиться не может. Я его долго-долго упрашиваю, и в конце концов он соглашается посмотреть.

Человек этот ходит туда-сюда несколько раз и все приносит и приносит мне ботинки, явно не похожие на мои. Наконец находит один мой, потом второй.

На подметках своих ботинок замечаю два крючка — прежде я их не видел, — на которые можно без труда установить лезвия коньков.

№ 113
Апрель 1972

Отчет

Мне нужно закончить срочную работу, для чего я обосновался у П. На большом обеденном столе я разложил все бумаги, необходимые для составления объемного отчета, сдать который надо завтра утром.

Но, по правде сказать, я ничего не делаю. К тому же у П. живет множество людей, и работать все равно невозможно.

Чуть позже гуляю с С. Ф., я ее очень давно не видел. Целую ее за ушком. Она спрашивает, означает ли этот жест, что мы с ней снова сошлись. Я сразу же ее домыслы опровергаю и рассказываю ей, какие в моей жизни произошли изменения.

Мы входим в средневековый двор. Рядом с собором стоит дом в готическом стиле, легко узнаваемом по аркбутанам и стрельчатым окнам. Я показываю ей свое окно. Она ахает:

— Это по меньшей мере пятый этаж!

— Да нет же, — отвечаю, — первый.

Произнося эти слова, я испытываю некоторое замешательство: в самом деле, снаружи мое окно расположено несомненно выше первого этажа, причем намного.

Я вернулся к П. и лег спать, хотя в квартире полно народу и все ходят туда-сюда. Встану среди ночи, думаю я, и к утру успею все закончить. Мне, в конце концов, не привыкать, обычно я именно так и работаю.

Вспоминаю, что, собственно, я должен написать. Речь идет о некой продукции ("Perspirex" или "Respirex" — название, по-моему, лишь одной буквой отличается от какого-то реально существующего), опробованной во время морского плавания. Я набросал подробный план того, что следует изложить. Временами мне кажется, что дело близится к завершению и все сложности позади; временами, наоборот, я с ужасом понимаю, что не разобрался еще и со вторым пунктом плана (а всего их около сотни).

Работу эту мне поручил Патрис. Спускаюсь, звоню ему и говорю, что закончу завтра к девяти вечера. Таким образом я получаю порядочную отсрочку. Патрис соглашается (всем известно, что подобного рода материалы пишутся в последнюю минуту), между тем мне становится все очевидней, что я могу не успеть и к вечеру...

№ 116
Май 1972

Обезьяна

Не помню точно, как и почему получилось, что я живу в одной квартире с неизвестным. Квартира не совсем обычная, в ней огромная передняя, гораздо больше всех остальных комнат, и, кажется, мы не можем эту переднюю поделить — это одна проблема.

Кроме того, я написал партитуру, а незнакомец, представившийся музыкантом, берется ее исполнить. Но я догадываюсь, что на самом деле он намерен ее присвоить.

Желая загладить свою вину, он знакомит меня с Адольфом Гитлером.

Адольф Гитлер — это такой клоун, бледный-бледный и длинноволосый; он играет утрированно, с пафосом, высмеивает своего адъютанта гене-

рала Хартмана, толстопузого тевтона с красной рожей, явно наклюкавшегося. Этот Хартман держит в руках связку ключей и никак не может выбрать в ней тот, что ему нужен; представая перед фюрером, он тщетно пытается привести в порядок свой внешний вид — рубашка торчит наружу, подтяжки болтаются, кивер сполз на ухо.

Гитлер сладким голоском восхваляет Мариани. Мало-помалу тон его речи меняется, она делается язвительной и заканчивается потоком ругательств и проклятий.

У Гитлера есть свой серый кардинал — обезьяна с длиннющим хвостом, заканчивающимся рукой (кажется, в черной перчатке). Она постоянно им поигрывает (точь-в-точь как Марсупилами из "Спиру"[1]) и помахивает в такт речи хозяина.

Кажется, потом она потеряла перчатку или даже всю руку.

Внезапно картина меняется. Мертвая тишина. Широкая эспланада. Солдаты в черном вытесняют с нее народ, а на середину опустевшей площади выезжает грозная и в то же время комичная обезьяна. Она восседает на какой-то тележке (лафете?), выставив вперед свой хвостище наподобие пушки танка.

Бежит ребенок. Когда он подбегает ближе, один из солдат, круто развернувшись, сбивает его с ног прикладом.

Я участвую в демонстрации. Мы поем "Молодую гвардию". Песня понемногу стихает. Гнетущая тишина. Я чувствую — там, впереди, полиция, и сейчас по нам откроют огонь.

Я знаю, что это всего-навсего сцена из фильма "Жила-была Революция"; и все-таки, какого черта я вечно влипаю в подобные истории?

Мне удалось спрятаться в каком-то строящемся здании. Я укрылся в крохотном квадратном помещении без двери (должно быть, влез сверху). Это будущий туалет; канализация еще не подведена, но на цементе уже отпечатались чьи-то ступни.

№ 124
Август 1972

Донос

1941.

Продавец тканей задолжал моему отцу и потому решил донести эсэсовцам на него, а заодно и на собственного сына (или, может, это не сын, а просто работник), застигнутого за распространением подпольных газет.

На самом деле история гораздо запутанней. Но суть такая.

1. "Спиру" — детский журнал, Марсупилами — персонаж комиксов, желтый с черными пятнами зверек с очень длинным закрученным спиралью хвостом.

Эсэсовцы приходят нас арестовывать. На них черные мундиры и каски, плотно облегающие голову, наподобие масок. Они собираются арестовать и продавца тканей, но тот указывает на меня: поднимает мне голову и демонстрирует маленький шрам у меня под подбородком.

Идем по городу.

Эх, выпить бы где-нибудь чашечку кофе! Казалось бы, чего проще, а невозможно. Я уже выбросил эту мысль из головы. Да и казино закрыто, или, может, туда евреев не пускают. Внутри горит свет.

Возвращаемся назад. Снова проходим мимо магазина тканей. Он помещается в угловом доме; архитектура неоготическая (башенки, навесные галереи). Выглядит очаровательно. По понятным причинам мы смотрим на него с горечью.

Приходим на вокзал.

Неразбериха.

Я знаю, что нас ждет. Надежды нет. Скорей бы уж все кончилось. Если только чудо... И тогда — снова учиться жить?

Отец мочит левый сапог в ледяной воде фонтана. Надеется, что таким образом разбередит старую рану и его освободят. Но никто не обращает на него внимания.

Нас помещают в камеру для чудовищ. Двое детей, мальчик и девочка, голые, с отрезанными выше колен ногами, корчатся и извиваются, как черви. Сам я превратился в змею (а может, это была рыба?).

В лагерь нас долго везут на корабле.

Надзиратели наши — палачи с рожами дегенератов, бледными, красными, злобными, тупыми — имеют должности с потешными названиями: “Ответственные за дезинфекцию (червей?)”, “Уполномоченные по Консервации (консервы из червей?)”.

Потом их рожи обрамляются виньетками и завитушками — оказывается, это я листаю мемориальный альбом, разукрашенный как театральная программка, на последней странице — реклама...

Я снова в этом городе, здесь проходят памятные мероприятия. Поначалу церемония вызывает у меня возмущение и отвращение, но потом глубоко трогает.

Толпа. Праздник. Кругом разбросаны пластинки, все ищут какую-то одну, чтобы ее поставить. Я плачу. Ж. Л. меня стыдит.

Я — маленький мальчик. Останавливаю на дороге машину и прошу водителя сходить вместо меня к хозяину большого сада за моим мячом, случайно залетевшим через ограду (записывая этот эпизод, я вспомнил реальную сцену: 1947 год, улица Ассомпсьон, я тогда играл в мяч об стену монастыря напротив нашего дома).

Послесловие к французскому изданию

Точно так же, как существует в социологии множество подходов к проблеме семьи, возможны здесь и различные подходы к проблеме сновидений. Да простят мне читатели, что, говоря о снах, я снова обращаюсь к социологии. Я социолог, а не психоаналитик.

Итак, во-первых, подход ситуационный; с него я начал свои исследования, показав, что сон вовсе не является чистым возвратом к субъективному, но ответом на определенную общественную ситуацию и что, следовательно, существуют сны высших классов и низших, сны негров (в той степени, в какой цвет кожи определяет социальный статус) и сны белых... Во-вторых, подход структурный; я прибег к нему, когда — под влиянием изучения снов и их связи с коллективными мифами в так называемых "примитивных" обществах — попытался вписать образы сновидений в структуры коллективного воображаемого. Однако сравнение воображаемого, скажем, народов Океании и воображаемого западных обществ эпохи романтизма или сюрреализма неизбежно вывело меня на новый подход — интерактивный. В самом деле, когда сны записываются и обретают читателя, ночной монолог трансформируется в диалог, замкнутое пространство ночи открывается для публики, для клиентов, превращается в "лавочку". И сон становится, таким образом, территорией общения между людьми.

Именно об этом я думал, читая книгу Перека, вернее уже закончив ее и выждав некоторое время, пока рассеется очарование и возникнет дистанция по отношению к прочитанному. Отсюда нетрудно вывести целую эстетическую концепцию записи снов, чего я не стану делать, поскольку я не литературовед. Тем не менее я позволю себе несколько замечаний на эту тему, ибо считаю ее очень важной. Действительно, как передать словами то, что по природе своей противоположно слову — зрительный образ? Причем не застывшую, статичную картину внешней реальности (писатели уже давно нашли способы перевода ее на язык слов), но образ, умирающий в момент своего рождения и переходящий в нечто иное, существующий в мире, где постоянное разрушение одерживает верх над ассоциативными связями. Интересно было бы проследить, какие механизмы использовались для решения этой задачи в литературе разных эпох. В романтизме попробовали применить для изображения ночного мира тот же прием, что для дневного, то есть описание; но описание фиксирует поток воображения, останавливает его и, следовательно, уничтожает. Сюрреализм, напротив, делает акцент на хаосе, бессмыслице (кажущейся) или абсурде, однако и тут мы можем сказать: "картезианский дух не умер", поскольку у сюрреалистов сон играет ту же роль, что и в "методическом сомнении" Декарта, — они не столько прислушиваются к абсурдному, сколько стремятся раскритиковать реальный мир и противопоставить ему мир надреальный, имеющий свою логику (логику метаморфоз), свою причинно-следственную связь (по крайней мере внутри индивидуальной мифологии), и в результате у них, как и у Декарта, уже невозможно распознать, где сон, а где истинная реальность.

Перек же нашел оригинальные решения, позволяющие сохранить ощущение подлинности снов, а не загонять их в какую-либо известную систему для "общения" с другими (поскольку в настоящем послесловии мы хотели бы сосредоточиться именно на этом аспекте, подчеркну, что речь идет об "изобретении" письма, которое, используя слова, следует мысли, воплощенной в зрительных образах). Предо-

© by Éditions Denoël, 1973
Печатается с сокращениями.

ставляю читателю самому обнаружить эти изобретения в тексте, дабы не лишать его удовольствия от чтения, и остановлюсь только на одном: геометрическая форма записи увиденного во сне, то есть запечатление его в двухмерном пространстве, в то время как третье измерение символа — его амбивалентность и полисемичность — передается возможностью замены букв по вертикальной оси:

кр$^{у}_{ы}$тая $^{г}_{н}$ора

Эпиграфом к завершающему книгу словарю символов[1], или тем, Перек поставил фразу Харри Мэтьюса[2], весьма точно выражающую цель его, Перека, ночных изысканий: "Лабиринт если и ведет куда-нибудь, то только 'наружу'". Именно там, "снаружи", а не "внутри", поместимся и мы, в противном случае мы от социологии перешли бы к психоанализу. Но для того, чтобы лабиринт выходил на "другого", он должен стать кодом, который "другой" в состоянии расшифровать. Иными словами, интерактивный, диалоговый подход предполагает, что читатель и автор принадлежат одной культуре и даже одной идеологической структуре, которую мы и попробуем охарактеризовать.

Начнем с утверждения, которое удивит всех, кто интересуется снами. Я имею в виду изменения, произошедшие в расшифровке символов сновидений с выходом на ночную сцену эротизма. Разумеется, эротизм присутствовал в снах и раньше, и Фрейд сконцентрировал свое внимание именно на сексуальном характере сна, но до последнего времени сексуальность подвергалась вытеснению под давлением цензуры и проявлялась только в замаскированном виде, психоанализ же занимался срыванием масок. Разумеется также, во многих снах весь ритуал любовных отношений прослеживался на уровне сюжета, а не только в подтексте, однако в ту самую минуту, когда должен был совершиться половой акт, спящий просыпался с эрекцией. Насколько я знаю, если оставить в стороне сны примитивных народов, сновидений с осуществленным половым актом в письменной литературе крайне мало, почти нет; секс мог обойти цензуру, только спрятавшись за символами, перечень которых хорошо известен: вход в комнату или в какое-нибудь другое помещение, проход по тряскому вагону, спуск в метро... У Перека же — возможно, в связи с изменением отношения к сексу в нашей современной цивилизации, где он из режима Желания (желание существует лишь до тех пор, пока ему противостоит Закон) перешел в режим непосредственного удовлетворения, — завершенный половой акт встречается довольно часто; но, когда обладание женщиной не нуждается больше в маскировке, происходит любопытная вещь: вместо того чтобы подменяться соответствующим символом, оно само становится символом какой-то другой неназванной реальности. Какой же? Не меняются ли здесь местами означаемое и означающее? В таком случае содержанием знака становится заточение в убежище или в концентрационном лагере, словом, изоляция, замкнутость, запрет на свободное действие, налагаемый обществом и вынуждающий нас компенсировать отсутствие внешней активности сексом и довольствоваться таким положением вещей, где каждому отведено свое место; иначе говоря, теперь, когда секс свободен, подавлению подвергается политический протест и недовольство существующим порядком, а подсознание переориентируется, уходит на запасный путь — от практической жизни в интимную.

1. Этот словарь-указатель, содержащий отсылки к номерам снов, где фигурирует тот или иной образ, в журнальной публикации отсутствует в связи с большими сокращениями в тексте книги. (*Здесь и далее – прим.перев.*)
2. Харри Мэтьюс (р. 1930) — американский писатель, входивший в группу "УЛИПО". Лабиринт в терминологии "УЛИПО" обозначает литературное творчество.

Если эта гипотеза верна, то в сегодняшнем политическом контексте сон выполняет для спящего ту же функцию, что для бодрствующего телевидение, когда оно оглоушивает молодежь песнями, ритмами, танцами, телесной раскрепощенностью и высвобожденной сексуальностью, то есть функцию отвлечения. Образы сновидений строятся при этом, разумеется, все по тем же законам, блистательно описанным Фрейдом, — законам подавления; однако теперь социальное вытесняет не эротику — ибо эротика не только не подрывает больше общественные устои, но встроена в них, — а другую опасность; какую именно, определить трудно, поскольку, будучи опасностью, она-то как раз и вытеснена в область подсознательного, которое нуждается в расшифровке, для расшифровки же требуется новый психоанализ — психоанализ политического действия.

Оставаясь в рамках явного содержания текстов Перека, замечу, что меня поражает в них еще одна вещь: переосмысление — по отношению к столько раз уже анализировавшимся классическим снам и кошмарам — страшного сна с преследованием, известного под названием сна-агрессии. В традиционных сборниках снов агрессор всегда появлялся под видом убийцы, разбойника, бродяги — в общем, человека, находящегося вне закона; здесь же он, наоборот, оказывается поборником закона: полицейским, бюрократом, пригвождающим вас к каталожной карточке, или даже враждебно настроенной толпой, заталкивающей вас в коридор-лабиринт, в комнату без выхода, в лагерь смерти. Агрессия, или во всяком случае угроза таковой, исходит от защитников общественного порядка, а не от тех, кто стоит вне общественной нормы.

И здесь уместно задаться вопросом: а нельзя ли исследовать сон не только с точки зрения социологии, как мы это делали в предыдущих статьях, но и с точки зрения политики или, вернее, исследовать его как политическое действие. Мы, собственно, уже встали на этот путь, когда, взяв за основу Адлера[1] вместо Фрейда, увидели в полотне сновидений не реминисценцию тайного, но стремящегося стать явным прошлого, а, наоборот, созидание человеком своей судьбы, ответ на те или иные проблемы, волнующие его сегодня, намек на попытку интеграции в общество путем выработки решения, постепенно созревающего во время сна. Можем ли мы теперь пойти дальше?

Очевиден, во-первых, следующий факт: на протяжении всей истории Франции (ограничимся здесь Францией) мы дважды отмечаем обращение к сну как к элементу социального протеста и оба раза в эпоху глубоких социальных преобразований — в период первой индустриальной революции (литература романтизма) и в период второй гигантской ломки индустриальной системы, которая совершается в наши дни. Разумеется, люди видят сны во все времена, но, возможно, именно сталкиваясь с глубинными изменениями уклада, с враждебной и утратившей для него всякий смысл действительностью, человек начинает к своим снам приглядываться, старается зафиксировать их и с их помощью "спастись". Думается, однако, что решение, предложенное во время второй революции, во вторую переломную для личности эпоху — обобщенно назовем его решением сюрреалистов, — отличается от предложенного романтиками.

В самом деле, в эпоху романтизма нет еще полного разрыва между миром реальным и миром сна. Поэт живет в обоих этих мирах и без труда переходит из одного в другой, поскольку верит, что они сообщаются между собой. Сон в этом случае выполняет двойную функцию. 1. Он пробивает брешь в языке индустри-

1. Альфред Адлер (1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, основатель "индивидуальной психологии".

альной, капиталистической, механистической культуры и позволяет ворваться в нее иному слову, в некотором роде священному или похожему на священное. Писателю же надлежит прислушаться к этому слову (Жерар де Нерваль) точно так же, как надлежит ему прислушаться к слову безумца (О. Конт, Фурье), тем более что эти слова имеют одинаковую природу и при внешней бессвязности и невнятице рациональны по сути, так как могут помочь найти ответы на вопросы, поставленные воинствующей материальной культурой. 2. Второй пункт непосредственно вытекает из первого: услышанное "иное" слово надо преобразовать применительно к существующему обществу. Делая это "осознанно" и "намеренно", видящий сон перестает воспринимать его пассивно и начинает играть политическую роль: он строит мир завтрашнего дня (вспомним Адлера: у него индивид строит самого себя в будущем) под видом Мечты (В. Гюго) или же Утопии (Конт, Фурье, Кабе[1]).

Сегодня нередко можно услышать, что в сюрреализме сон становится отрицанием реальности, или "фантазматической" попыткой ликвидировать существующий общественный строй. В отличие от эпохи романтизма сновидение трактуется теперь не как мастерская вымысла (потому что в наши дни, когда Работа стала целью человеческого существования, между двумя мирами, ночным и дневным, образовалась пропасть), а как заряд динамита, как мощное разрушительное средство. Мы полагаем, однако, что данная попытка подрыва устоев обречена на провал, поскольку она неизбежно наталкивается на два препятствия: первое кроется в самой природе сна, второе — в положении интеллектуала в системе капиталистического производства. Первое препятствие, проистекающее из самой природы сна, прекрасно видел Перек. Дело в том, что сон представляется сегодня не только не освобождением (через выход в пространство воображаемого), но усугублением дневного гнета со стороны общества. Перек пытается, например, ускорить течение сна, заставить картинки двигаться быстрей, чтобы поскорей выбраться из лабиринта, но это оказывается невозможным: стремясь выйти навстречу "другому", он запутывается в паутине коридоров... Иными словами, образы сновидений навязаны спящему, их движение детерминировано: мы отданы во власть сна, как во власть палача, пишет Перек; ночная жизнь становится не спасительным бегством, обретением невинности и катарсисом, а новым порабощением, закрепощением творческой свободы, которая попадает в ловушку надиктованных ей образов, так же как в реальности она повязана фетишизмом производимых обществом товаров.

Что же означает утрата свободы во сне вместо ее обретения с точки зрения социолога? Ответ на этот вопрос связан с рассмотрением второго препятствия — положения интеллектуалов в системе капиталистического производства. С демократизацией образования и увеличением его продолжительности эта социальная группа становится все более многочисленной, в ее руках сосредоточено знание, но не власть. Студенческий бунт в мае 1968 года отчасти и объяснялся протестом людей знания против людей власти, против тех, в чьих руках находится контроль над средствами производства, и стремлением править вместе с ними или же вместо них. На определенном этапе эта революция могла подхватить романтический лозунг "Власть воображению!", но рассчитывать на то, что "слушание иного голоса" приведет к социальным преобразованиям, не приходилось. Встает вопрос: является ли разрыв между воображаемым и реальностью фундаментальным,

1. Этьенн Кабе (1788—1856) — французский публицист, идеолог утопического "мирного коммунизма", автор социально-философского романа "Путешествие в Икарию" (1840).

окончательно ли ушла в прошлое эра Мечтателей, уступив место технократам, или же это особенность нашего времени, и в будущем сновидения еще восстановят свою политическую роль? Этот вопрос возвращает нас к перековской "Темной лавочке", о которой мы, впрочем, ни на минуту и не забывали.

Полагаю, что наряду с описанным выше "дублированием" действительности, когда угнетающая реальность индустриального мира вытесняется столь же угнетающим производством сновидений, читатель отметит у Перека и то, что этому гнету противостоит. Во-первых, своего рода защитный механизм, уничтожающий страх путем беспрестанного обновления зрительных образов: видящий сон не думает о том, что стояло перед его закрытыми глазами секунду назад и исчезло, не оставив следа, даже эмоционального, сменившись новой, столь же мимолетной картинкой; разрозненность кадров оказывается сильнее ассоциативных связей, как разветвленных, так и линейных, и в этом выражается подсознательный поиск свободы — непрочной, гонимой, которую надо постоянно отвоевывать заново у детерминизма социального или ментального. Во-вторых, если не ориентация на практическую активность и подготовку политического действия, то, по крайней мере, основа для общения между индивидами, заложенная в самой тайне языка сновидений. Ибо у Перека — мы уже говорили об этом в связи с использованием графических приемов для передачи полисемичности сна — всякий образ неоднозначен (в то время как романтик, преображая сон в рассказ, отбирал одноединственное значение и сводил таким образом содержание сна к монологу). Между тем именно возможность нескольких интерпретаций и создает подлинное общение, порождая многоголосицу и, следовательно, диалог. Из множественности голосов может возникнуть и общая речь, и потенциально — общее действие.

На этом мы завершим наши рассуждения. Полагаем, нам удалось показать читателю, в какую поистине волшебную "лавочку" впустил нас Перек; каждое из ее сокровищ не только прекрасно само по себе, но еще и таит в себе множество смыслов, открывает простор для размышлений, побуждает к конструктивному диалогу. Давая здесь лишь одно из возможных толкований перековских текстов — социологическое, — мы всего-навсего хотели продемонстрировать, что кроме фрейдовской герменевтики и в дополнение к ней существуют и другие весьма любопытные подходы к интерпретации снов. Надеемся, что от нашего комментария не померкли ослепительная красота и эмоциональный накал книги.

Роже Бастид

Делмор Шварц

Сны порождают обязательства

Рассказ

Перевод с английского Л. Беспаловой

I

Год, пожалуй что, 1909-й. Мне чудится: я в кино, свет простирает свою длинную руку в темноту, вращает ею, мои глаза прикованы к экрану. Идет немой фильм, такие ставил еще допотопный "Байограф"[1] — актеры в них одеты нелепо, старомодно, один кадр рывком сменяет другой. Актеры, судя по всему, тоже передвигаются рывками и быстро-быстро семенят ногами. Вдобавок кадры сплошь в точках и черточках — можно подумать, фильм снимали под дождем. Свет плохой.

Сейчас воскресенье, 12 июня, 1909 год, мой отец идет по тихим бруклинским улицам в гости к моей матери. Свеженаглаженный костюм, высокий воротничок туго-натуго стянут галстуком. Побрякивает монетами в кармане — обдумывает, что бы такое остроумное ей сказать. А я, видать, разнежился в ласковой темноте кинотеатра; тапер изображает чувства и впопад, и невпопад — музыка заводит публику неведомо для нее. У меня нет имени, я забыл о себе. В кино всегда так, ведь оно, как говорится, дурман.

Отец идет улицами — одной, другой — мимо деревьев, газонов, домов, время от времени выходит на проспект, по нему ползет трамвай — то скользит, то стопорит. Кондуктор с пышными, лихо закрученными усами помогает молодой даме в шляпе — ни дать ни взять утыканный перьями горшок — войти в трамвай. Поднимаясь на ступеньку, она придерживает длинные, до полу, юбки. Кондуктор, неспешно отсчитывая сдачу, дергает шнур звонка. Это явно воскресенье: все по-воскресному нарядны, трамвайный лязг лишь подчеркивает тишину праздничного дня. Недаром Бруклин — город церквей. Лавки закрыты, жалюзи в них спущены, работают разве что магазины канцелярских товаров да аптеки — в их окнах красуются большие зеленые шары.

Отец выбрал дорогу подлиннее — он любит думать на ходу. Он думает о своем будущем и в гости приходит в приподнятом настроении. Он не обращает внимания ни на дома, мимо которых проходит, — сейчас в них садятся за воскресный обед, — ни на деревья, стоящие в дозоре по обеим сторонам каждой улицы, — листва на них уже совсем распустилась и накрывает улицу прохладной сенью. Время от времени проезжает карета, громко — точно камни — падают в этот тихий день на мостовую конские копыта да раз в кои веки пыхтя проезжает автомобиль, похожий на пухлый диван.

© Л. Беспалова. Перевод, 2003

1. "Байограф" — кинокомпания, выпускавшая во множестве низкопробные короткометражные фильмы до Первой мировой войны. Прекратила существование в 1913 г. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Отец думает о маме: как приятно будет познакомить ее со своей семьей. И тем не менее еще не решил, хочет он на ней жениться или нет, и время от времени паникует — не слишком ли далеко зашел. Он подбадривает себя, думая о людях, которым женитьба не помешала стать великими: Уильяме Рэндолфе Херсте[1] и Уильяме Хауарде Тафте — тот только что стал президентом США.

Отец подходит к материнскому дому. Он пришел слишком рано и от этого конфузится, чего сам от себя не ожидал. На его громкий звонок выбегает моя тетка, мамина сестра, с салфеткой в руке: семья еще не кончила обедать. Когда отец входит, мой дед встает из-за стола, пожимает ему руку. Мама кинулась наверх — прихорошиться. Моя бабушка спрашивает, пообедал ли он, и говорит, что Роза сейчас спустится. Мой дед, чтобы завязать разговор, замечает, какая прекрасная нынче на дворе погода. Отец неуклюже присаживается к столу, не выпуская из рук шляпы. Моя бабушка велит тетке принять отцовскую шляпу. Мой дядя — ему двенадцать — встрепанный влетает в комнату. Он громогласно приветствует отца: тот иногда сует ему пять центов. С отцом в этом доме обращаются уважительно, притом явно потешаются над ним. Он импозантный и одновременно нелепый.

II

Наконец моя мать спускается вниз, она приоделась, и отец — его меж тем уже вовлек в разговор мой дед — смешался, не знает, то ли поздороваться с матерью, то ли продолжить разговор. Он мешковато поднимается, отрывисто кидает ей "Здрасьте". Мой дед присматривается к ним, оценивает, насколько они — уж какие ни на есть — подходят друг другу, а сам яростно чешет бороду: так он делает всегда, когда что-то обдумывает. Он беспокоится: а что, если мой отец не станет хорошим мужем для его старшей дочери? Тут отец отмачивает какую-то шутку, и фильм прерывается; а я пробуждаюсь — я снова сам с собой, со своей бедой, хотя только-только началось самое интересное. Публика теряет терпение, хлопает в ладоши. Потом неполадки устраняют, но фильм запускают с той части, которую уже показывали, и я снова вижу, как мой дед чешет бороду — гадает, что за человек мой отец. Снова включиться в картину и забыться трудно, но вот моя мать рассмеялась над отцовской шуткой, и меня обволакивает темнота.

Мои отец и мать уходят, отец снова пожимает руку матери — им овладевает неведомое до той поры смущение. Смущенно ерзаю и я, осев в жестком киношном кресле. А где мой старший дядя, материн старший брат? Занимается в спальне наверху, готовится к последним экзаменам в Нью-Йоркском городском колледже — он уже двадцать один год как умер от молниеносной пневмонии. Мои отец и мать снова идут теми же тихими улицами. Мать держит отца за руку, пересказывает ему роман, который только что прочла; отец, по мере того как сюжет проясняется, выносит суждения о персонажах. Это неизменно доставляет ему удовольствие: одобряя или порицая других, он преисполняется чувством собственного превосходства и уверенности в себе. Временами, когда повествование становится, как он выражается, уж слишком слюнявым, он

1. Уильям Рэндолф Херст (1863—1951) — газетный магнат, в 1902 г. избран в палату представителей конгресса.

полагает себя обязанным фыркнуть. Мужчина должен быть мужчиной — иначе нельзя. Мою мать радует, что у отца ее рассказ вызвал интерес: он видит, какая она умная и как ему будет интересно с ней.

Они доходят до проспекта, к остановке не торопясь подкатывает трамвай. Они едут на Кони-Айленд, хоть мама и считает тамошние развлечения низкопробными. Прогуляться по променаду, вкусно пообедать — еще куда ни шло, а буйные развлечения — не для такой благовоспитанной пары.

Отец сообщает матери, сколько он заработал на прошлой неделе, чуть преувеличив сумму, хотя нужды в том нет. Однако мой отец придерживается того мнения, что неприкрашенным фактам чего-то недостает. Я неожиданно разражаюсь слезами. Суровая старушка, моя соседка, глядит на меня сердито, я робею — и перестаю плакать. Вытаскиваю платок, утираю лицо, слизываю каплю с верхней губы. И за всем за этим что-то упускаю: мои мать и отец уже сходят на последней остановке — Кони-Айленд.

III

Они идут к променаду, и отец наказывает матери вдыхать соленый морской воздух. Оба дышат глубоко, и оба сами же смеются над собой. Обоих очень интересуют вопросы здоровья, при том что отец дюжий, крепкого сложения, а мать — хрупкого. Головы у них забиты теориями касательно того, что следует и чего не следует есть, порой из-за этого у них разгораются споры, но в итоге отец с напускной лихостью заявляет: раньше ли, позже — все одно помрем. Налетающий с океана ветер полощет американский флаг на флагштоке променада.

Мои мать и отец подходят к балюстраде, смотрят на толпы бродящих по берегу купальщиков. Лишь немногие рискуют покачаться на бурунах. Воздух пронзает свисток продавца земляных орехов, звук приятно бодрящий, отец идет покупать орехи. Мать остается у балюстрады, смотрит на океан. Океан, как ей кажется, сегодня веселый: вовсю искрится, то и дело взвивается белыми барашками. Ее внимание привлекают ковыряющиеся в мокром песке дети и купальные костюмы девушек, ее ровесниц. Отец возвращается с орехами. Солнце в вышине метит в них свои молнии, но ни отец, ни мать их не замечают. Вокруг полно разряженного по-воскресному народу, праздно расхаживающего по променаду. Прилив не накрывает променад, а если бы и накрыл, гуляющие не испугались бы. Мои мать и отец облокачиваются на балюстраду, рассеянно смотрят на океан. Океан разгуливается, волны неспешно накатывают, по пути набирая мощь. И миг перед тем, как им прыгнуть, миг, когда они круто изогнутся и их черноту прошьют зеленые и белые прожилки, в этот миг сердце замирает. И вот волны разбиваются, свирепо хлеща о берег, волоча за собой песок вперед-назад, но в конце концов сила их иссякает, и вот уже по пляжу скачет только ручеек, но и его океан утягивает за собой. Мои родители отрешенно глядят на океан, им нет дела до его буйства. Солнце в вышине их не страшит. Я же гляжу во все глаза на ужасающее, слепящее солнце, на гибельный, свирепый, неистовый океан и забываю о родителях. Гляжу завороженно и, в конце концов, потрясенный равнодушием отца и матери, снова разражаюсь слезами. Старушка, моя соседка, треплет меня по плечу и говорит: “Ну-ну, это ведь всего-навсего кино, всего-навсего кино”, но я в последний раз гля-

жу на наводящее ужас солнце, наводящий ужас океан, не в силах сдержать слезы, встаю и, спотыкаясь о ноги зрителей, бреду в уборную.

IV

Вернувшись, я чувствую себя так, точно проснулся поутру, разбитый от недосыпа; по всей видимости, прошел не один час, и мои родители уже катаются на карусели. Мой отец сидит на вороном коньке, мать — на сером, похоже, они готовы кружиться вечно, им хочется во что бы то ни стало сорвать с одного из столбов кольцо на штыре: за каждое — приз в пять центов. Играет шарманка; карусель крутится без устали, пока она крутится, не умолкнет и шарманка.

Я пугаюсь: а что, если родителям не сойти с карусели, ведь она никогда не остановится? У меня такое ощущение, будто я смотрю на них с высоты пятидесятого этажа. Тем не менее в конце концов мои родители слезают с коней и даже шарманка ненадолго смолкает. Мой отец сорвал десять колец, моя мать — всего два, хотя, в отличие от нее, он не очень-то и старался.

Они идут по променаду, день тем временем мало-помалу почти неприметно сменяют лиловые сумерки. Все постепенно затухает, притихает, даже непрестанный шелест прибоя, даже кружение карусели. Они решают, где бы пообедать. Мой отец предлагает пойти в ресторан на променаде, лучший из здешних, мать возражает — это не в ее правилах.

Как бы то ни было, они идут в лучший ресторан, просят посадить их за столик у окна с видом на променад и то и дело меняющийся океан. Отец сует официанту четвертак, чтобы тот посадил их к окну, — чувствует себя хозяином жизни. В ресторане полно народу, здесь тоже играет музыка, на этот раз что-то вроде струнного трио. Отец, ничуть не тушуясь, заказывает обед.

Но вот обед съеден, и мой отец излагает моей матери свои планы на будущее, а мать старается изобразить на лице, как ей интересны его планы, как они ее впечатляют. Мой отец на седьмом небе. Его вдохновляет вальс, который наяривает трио, пьянит собственное будущее. Он рассказывает матери, что намеревается расширить свое дело — это сулит хорошие деньги. Пора остепениться. В конце концов, ему уже тридцатый год, он с тринадцати живет один, зарабатывает все больше денег и, когда ходит в гости к женатым друзьям, завидует и их домам с прочным уютом, и тихим семейным радостям, и прелестным детишкам, и тут-то — тут-то, в тот самый момент, когда танцоры бешено кружатся в вальсе, тут-то, чувствуя себя невероятно рисковым, тут-то он и просит мою мать стать его женой; делает предложение он довольно нескладно и, хоть и крайне возбужден, недоумевает, как его угораздило, она же — ну куда это годится? — заливается слезами, мой отец нервозно озирается, не зная, что предпринять, а моя мать говорит: “С тех пор, как я тебя увидела, я только об этом и мечтала”, и захлебывается слезами, отец в смятении: такие сцены не по нему, нет, совсем не так представлял он их объяснение, когда прогуливался по Бруклину, мечтательно затягиваясь отличной сигарой, и вот тут я встал и закричал на весь кинотеатр: “Остановитесь! Еще не поздно, вы можете переменить решение, вы оба. Это кончится лишь сокрушением, ожесточением, скандалами и двумя несносными детьми — и ничем иным”. Зрители все как один обернулись, сердито смотрят на меня, по проходу, освещая себе путь фонариком, бе-

жит билетер, и старушка, моя соседка дергает меня за руку и говорит: "Тише. Вас выведут из зала, а ведь вы выложили тридцать пять центов, чтобы сюда попасть". И я закрыл глаза: видеть то, что происходит на экране, выше моих сил. И затих.

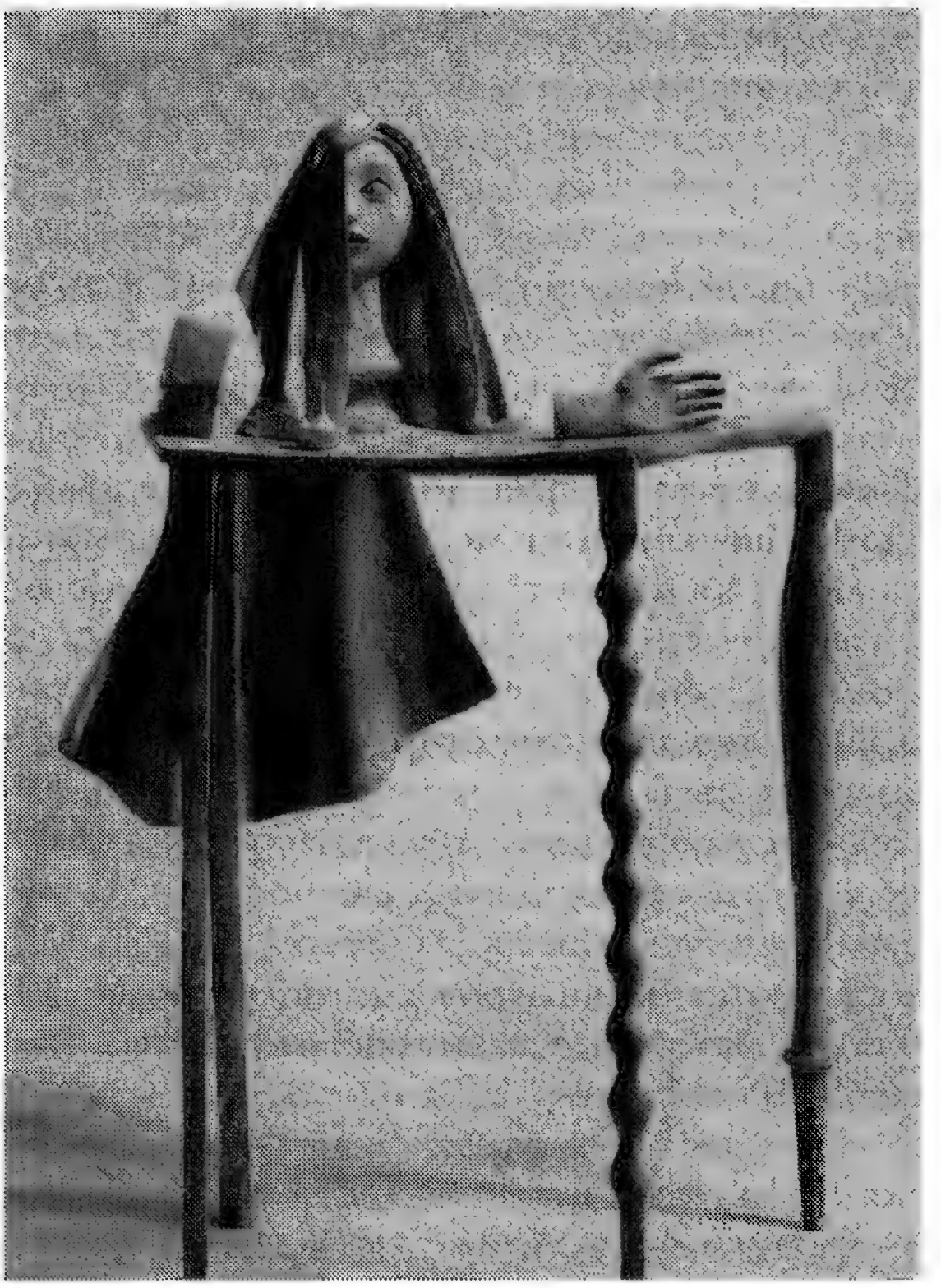
V

Однако через некоторое время я начинаю поглядывать на экран и в конце концов снова жадно впиваюсь в него глазами, как ребенок, которого подкупают конфеткой, а он не поддается соблазну и продолжает дуться. Теперь мои родители снимаются у фотографа в будке на променаде. Свет в будке розовато-синий — очевидно, иначе снимок не получится. Камера на треноге повернута боком — так, наверное, выглядит марсианин. Рука отца на плече матери, оба натужно улыбаются. Фотограф приносит букет, дает его матери, но она держит цветы не так, как надо. И тут фотограф накидывает на себя черное полотнище, оно окутывает аппарат, из-под него высовывается лишь рука с резиновым шаром — фотограф сожмет его, когда наконец-то решит сделать снимок. Но фотографа не устраивает, как позируют мои родители. Он совершенно убежден, что они стоят не так, как надо. Снова и снова сыплет он указаниями из своего укрытия. Каждое его предложение лишь ухудшает дело. Мой отец выходит из себя. Мои родители пытаются позировать сидя. Фотограф объясняет, что у него своя гордость, и работает он не ради денег, его цель — делать красивые снимки. Мой отец говорит: "Нельзя ли побыстрее? Не можем же мы торчать у вас весь вечер". Фотограф с виноватым видом мечется туда-сюда, сыплет новыми указаниями. Фотограф меня очаровал. Я всем сердцем за него, мне понятно, к чему он стремится, и по мере того как он, исходя из ведомой лишь ему идеи совершенства, отвергает одну за другой позы, которые принимают родители, я окрыляюсь надеждой. Но тут мой отец вскипает: "Хватит, у вас было достаточно времени, мы не можем больше ждать". И фотограф с горестным вздохом снова накрывается черным полотнищем, высовывает руку, командует: "Раз, два, три. Готово!" — снимок сделан, на нем у отца кривая улыбка, у матери — бодрая и деланая. Проявление снимка занимает несколько минут, и на родителей, пока они сидят в этой странно освещенной будке, нападает тоска.

VI

Они проходят мимо шатра гадалки, мою мать тянет туда зайти, отца — нет. У них завязывается спор. Мать артачится, отец снова выходит из себя, они ссорятся, отцу хочется уйти, а мать бросить здесь, но он понимает: так нельзя. Мою мать не сдвинешь. Она вот-вот заплачет, но ей приспичило узнать, что нагадает хиромантка. Мой отец — куда денешься — вынужден ей уступить, и оба заходят в шатер, чем-то напоминающий будку фотографа: он так же затянут черной тканью, в нем такой же притемненный свет. Здесь тоже жарко, отец, тыча пальцем в хрустальный шар на столе, твердит, что все это чушь собачья. Гадалка — она появляется откуда-то сзади, — жирная приземистая тетка, облаченная в восточного пошиба одеяния, приветствует их, у нее сильный акцент. Внезапно отец чувствует, что ему здесь невмоготу, но мать уперлась — и ни с места. И тут отец в бешенстве бросает материнскую руку и выскакивает из ша-

тра, моя мать ошарашена — вот уж чего не ожидала, того не ожидала. Она порывается пойти за отцом, но гадалка вцепилась в ее руку, упрашивает не уходить, а я в кинозале до того потрясен, что и не выразить: чувство такое, будто я иду по канату, протянутому под самым куполом битком набитого цирка, и вдруг вижу, что канат вот-вот порвется, — я вскакиваю и снова выкрикиваю первые пришедшие на ум слова, хочу излить на публику леденящий меня страх, и снова билетер мчится по проходу, освещая себе путь фонариком, и снова старушка увещевает меня, а ошеломленная публика оборачивается и глазеет на меня, а я все выкрикиваю: "Что они делают? Они что, не понимают, что делают? Почему моя мать не догоняет отца? Если он уйдет, что она будет делать? Мой отец, он что, не понимает, что делает?" Тем временем билетер хватает меня за руку и тащит за собой, приговаривая: "Вы что себе позволяете? Вы что, не понимаете — нельзя вести себя как бог на душу положит? Вам, молодой человек, поопастись бы скандалить — у вас вся жизнь впереди. Вы что, совсем не думаете, что делаете? Так себя не ведут, а на людях и подавно. Не будете вести себя как положено, пожалеете, где ж это видано так кричать, куда ж это годится, вы и сами скоро поймете: ничего даром не проходит", — говорит он, выволакивая меня через вестибюль кинотеатра на залитую холодным светом улицу, и я просыпаюсь промозглым зимним утром — утром дня моего рождения, мне двадцать один год, подоконник занесен снегом, снег сверкает — настало утро.



Луи де Берньер

Клад Мамаситы

Рассказ

Перевод с английского Ильи Кормильцева

СТАРАЯ повитуха свесила ноги с постели и протерла кулаками глаза. Яркий, неумолимый свет солнца уже заполнил дом, начертив на полу напротив открытой двери ослепительно-белый прямоугольник. Старуха подвинула ноги в сторону, чтобы солнце не сожгло их, и осторожно попробовала вдохнуть воздух. Она заранее смирилась с мыслью, что сегодня — один из тех дней, когда каждый вздох не столько наполняет легкие кислородом, сколько иссушает их. Стоит только пошевелиться — ну, например, смахнуть со лба непокорную прядь волос, — как пот тут же заструится по спине, собираясь в ложбинке между ягодицами, побежит со лба в щель между грудями, и тогда останется только благодарить Христа Спасителя за то, что он дал человеку брови, которые не дают этой жгучей соленой влаге залить глаза.

Люди звали ее Мамасита или Абуэла — Матушка или Бабушка, — потому что никакие иные прозвища не были в состоянии передать всё уважение и любовь, которые они к ней питали. Ее же настоящего имени никто, включая иногда даже ее саму, уже не помнил, и она несмотря на то, что ни одна ее девичья мечта не сбылась, была довольна жизнью, как только может быть доволен человек, который каждый день был кому-нибудь нужен. У нее никогда не было ни мужа, ни денег, она не умела ни писать, ни читать и ни разу не бывала нигде дальше соседнего городка Домисиано, зато она помогла родиться на свет уже трем поколениям детей, ни одного дня в жизни не голодала и не завела ни одного врага.

Сидя на краю кровати, Мамасита принялась изучать дряблую, покрытую старческими пятнами кожу у себя на руках. Затем она начала рассматривать ладони на свет: ей нравилось, какими прозрачными они становились. Казалось, еще немного и можно будет рассмотреть каждую косточку и жилку. Она попыталась унять дрожь в руках, которая все усиливалась в последние десять лет, и вспомнила те времена, когда ее руки еще были крепкими, а их движения — уверенными и когда они извлекали младенцев со сноровкой, происхождение которой она и сама не вполне понимала. На расстоянии дня ходьбы от ее дома вряд ли можно было найти хоть одну живую душу, которая родилась бы без ее участия, не исключая и значительного числа домашних животных. Конечно, в подавляющем большинстве случаев рожать детей в муках обречены только женщины, но изредка у скотины тоже случаются трудные роды, и тогда на помощь зовут Мамаситу.

Мамаситу ни разу никто не заподозрил в том, что она ведьма, или в том, что у нее дурной глаз, — даже в тех редких случаях, когда роды кончались смертью матери или ребенка, — зато все помнили, что ей не раз удавалось спасти чью-то жизнь. Больше всего Мамаситу прославил тот слу-

© The British Council, 1998
© И. Кормильцев. Перевод, 2003

чай, когда дон Балькасар потребовал от нее спасти ребенка ценой жизни матери — так отчаянно хотелось ему наследника. Мамасита отказалась, заявив, что ребенок родится порченым и станет проклятием рода Балькасаров. Она повелела братьям дона Балькасара увести его из дома, чтобы он не мешал ей спасать жизнь его жены, которая металась на кровати в бреду, умоляя убить ее. Мамасита изгнала всех посторонних из комнаты роженицы и рассекла младенца на куски прямо в утробе матери, а затем извлекла его оттуда по частям; когда она сложила все куски на полотенце, то получился дьявол с рогатой головой и обезьяньим хвостом. Дон Балькасар, увидев это, ужаснулся и раскаялся, и даже совершил паломничество через весь океан к гробнице святого Иакова в Компостелу, а впоследствии жена родила ему шестерых здоровых детей. Из Испании в подарок Мамасите он привез серебряное распятие, и та повесила его у себя над кроватью. Это была единственная драгоценность, которой она владела. Теперь это распятие висит в боковом приделе церкви Скорбящей Богоматери в Домисиано, а рядом с ним прикреплен пожелтевший и покоробившийся листок бумаги с рассказом о том, откуда оно взялось и как жена дона Балькасара чуть не родила порченого ребенка.

Но в этот день, сидя на краю кровати, Мамасита мрачно размышляла о том, что в сухой сезон все с нетерпением ждут дождя, а когда начинаются дожди — жаждут возвращения палящего зноя. С другой стороны, у жары есть одно преимущество — везде много пыли, на которой можно рисовать. Старуха соскользнула с кровати на пол, подошла к столу, наклонилась над ним, чтобы проверить, достаточно ли пыли осело на поверхности, и провела пальцем на пробу несколько линий. Поджав губы, Мамасита тщательно зарисовала карту, которая приснилась ей ночью и которую она постаралась не забыть проснувшись. Затем на другом конце стола она поставила тарелку, маленькую чашку и алюминиевую кружку.

Сражаясь со спичками и вентилями, Мамасита разожгла две горелки на своей керосинке: на одной она поджарила лепешку из смеси кукурузной и пшеничной муки, а на другую поставила греться наполненную водой крошечную кастрюльку, в которую поместила мелко наструганную панелу[1] и молотый кофе. Когда вода вскипит, получится ароматный напиток, одного глотка которого достаточно, чтобы поднять на ноги мертвого коня. Затем Мамасита извлекла из буфета наполовину пустую бутылку с анисовым агвардиенте[2], налила из нее порцию в алюминиевую кружку и опорожнила ее одним глотком, с удовольствием ощутив, как и в каждый из дней своей взрослой жизни, мощное действие, которое оказывает на организм крепкий алкоголь, принятый натощак. В любом деревенском доме утро начиналось с этого ритуала. Считалось, что агвардиенте убивает глистов и прочих кишечных паразитов. Те же, которые все-таки выживут, будут перепуганы до полусмерти, а это тоже приносит моральное удовлетворение.

Затем Мамасита нарезала тонкими ломтиками зеленый банан, обжарила ломтики в кукурузном масле, завернула их в теплую лепешку и принялась тщательно пережевывать еду своими беззубыми деснами. В том, чтобы завтракать каждое утро одним и тем же образом, есть что-то успокаивающее, думалось Мамасите; кроме того, когда она отправится проведать дона Агостина, тот несомненно подарит ей несколько авокадо и

1. Панела — выпаренный сок сахарного тростника, сформованный в плитки или бруски. (*Здесь и далее – прим.перев.*)
2. Тростниковая водка.

она будет просто обязана успеть съесть их все без остатка, прежде чем они почернеют и размякнут. От этой мысли у нее побежали слюнки.

Мамасита отхлебнула глоток горячего, сладкого кофе. Вкус кофе представлял собой квинтэссенцию породившей его земли: в нем ощущались беспощадные ливни, скудная почва, порочные саванны, упрямые джунгли, надменные горы, проказливые реки. Старуха закурила сигару и почувствовала, как пьянящий дым заполнил все пустоты внутри ее черепа.

Закончив завтрак, она вышла на улицу, все еще сжимая в зубах пуро[1], и тут же поморщилась от яркого солнечного света. Медленно, шаркающей походкой пройдя по улице мимо возившихся в пыли цыплят, она зашла в маленькую лавчонку, где Кончита торговала выпивкой и мачете. Обе женщины подняли руки в знак приветствия.

— Мне нужен карандаш и лист бумаги, — сказала Мамасита. — Хороший карандаш и хороший лист бумаги.

— Бумагу я тебе дам просто так, — сказала Кончита, — но вот карандаш будет стоить от двух до десяти песо в зависимости от длины. У меня есть один очень даже неплохой, — с этими словами она достала карандаш из ящика. — Если его аккуратно затачивать, он долго прослужит. Кто знает, может быть, даже целый год. Стоит четыре песо.

Мамасита подозрительно изучила карандаш. Когда в чем-то не разбираешься, надо делать умный вид. Повертев карандаш в пальцах, она сказала:

— Я дам тебе авокадо с плантации дона Агостина. У меня его еще нет, но скоро будет.

Кончита вздохнула. Она уже много лет пыталась искоренить привычку к натуральному обмену, бытовавшему среди жителей деревни, но дорога связала эту глубинку с большим миром совсем недавно, а старые привычки умирают с трудом. В любом случае авокадо ей и самой хотелось, поэтому она сказала:

— Ладно, согласна на авокадо, но только большое.

— Я дам тебе очень большое, — пообещала Мамасита, жуя кончик пуро, — а ты не забудь дать мне бумагу.

Кончита вынула из-под стола тетрадь на пружинке, вроде тех, которыми пользуются школьники, и осторожно вырвала из нее один листок, который вручила старой повитухе. Та почтительно взяла его, зажав между большим и указательным пальцами.

— Бумага, — сказала она таким же голосом, каким люди говорят "гром", когда собирается дождь.

Вернувшись в свою хижину, Мамасита осторожно перерисовала на бумагу карту, начерченную ею на пыли, покрывавшей стол. Это была непростая задача. Если налегать на карандаш слишком сильно, пальцы сводит от боли, если же не давить совсем, линии получаются бледными и кривыми, идут вовсе не туда, куда хотелось, и кончаются вовсе не там, где нужно.

— Hijo'e puta[2], — ругалась тихонько Мамасита, наслаждаясь возможностью употребить, когда ее никто не слышит, слова, которые никогда не срывались у нее с губ в присутствии посторонних.

С некоторым неудовольствием изучив завершенную работу, Мамасита почувствовала, как горькое осознание собственного невежества сме-

1. Крепкая сигара.
2. Сукин сын (*искаж. исп.*).

шивается во рту с горьким вкусом сигарного дыма. К тому же зрение у нее стало совсем не то, что было прежде, и, когда она напрягала глаза, линии начинали темнеть и двоиться, разбегаться как муравьи и расползаться как змеи. "Ладно, сойдет, — подумала она, — к тому же, с Божьей помощью, дон Агостин всегда сможет поправить мой рисунок".

Мамасита положила карту в заплечный мешок, набросила лямку на плечо. Мешок сшили из плотного белого полотна индейцы, живущие у подножия гор, а по верху мешка шла двойная коричнево-зеленая полоса. Мамасита снова шагнула из полутьмы на солнечный свет и двинулась в долгий путь, в конце которого лежала асьенда дона Агостина. С одной стороны от дороги раскинулось камышовое болото, в котором нежились, издавая негромкое урчание, маленькие кайманы — из-под воды торчали одни пасти да глаза. С другой стороны тянулось поле с поваленными деревьями, среди которых резвилась одна из кобыл дона Агостина вместе со своим жеребенком. Мамасита положила мешок на траву, пробормотала заклинание от коралловых змей и села на мешок, совершенно позабыв, что может помять карту. Она ждала появления тракториста дона Агостина, который проезжал по этой дороге несколько раз в день, курсируя между различными участками фермы.

К дону Агостину Мамасита прибыла словно королева. Трактор — почтенного возраста, но содержащийся в идеальном порядке ярко-красный "Мэсси-Фергюсон" — очень большой, к тому же в тот день на него как раз навесили бульдозерный ковш. Мамасита уселась в ковш, а тракторист высоко его поднял, так что повитуха почувствовала себя в полном смысле слова высокопоставленной дамой. Это, конечно же, было опасно, и несколько раз повитуха чуть не попала в беду, когда на пути трактора встречались низко висящие ветви, но, с другой стороны, было так восхитительно глядеть на мир с некоторой высоты и под совершенно новым углом, и вдобавок по пути она изловчилась сорвать несколько лимонов, большой грейпфрут и пару авокадо. Про себя она рассудила, что это вовсе никакое не воровство, потому что дон Агостин даже и не заметит. Кроме того, свежий ветер в лицо поднял настроение Мамаситы, и она почувствовала себя неожиданно легко и радостно, несмотря на духоту и жару.

Довольно трудно сохранить величественный вид, когда тебя опускают на землю рывками, но Мамасите удалось, вцепившись в край ковша, достойно выдержать эту процедуру; она даже не вынула изо рта сигары, продолжая попыхивать ею с самым невозмутимым видом. Когда Мамасита ступила на землю, вакерос[1], седлавшие пони и мулов по соседству с амбаром, приветствовали ее ироническими возгласами, а она, в свою очередь, улыбнулась им застенчиво, но радостно, так что на одно мимолетное мгновенье они смогли увидеть повитуху такой, какой та была в молодости, когда ее отцу приходилось каждую ночь разгонять парней, певших ранчерос[2] под ее окном.

Мамасита прошла между каменными столбами, обвитыми бугенвиллеей, и замерла на пороге дома. Через тонкую зеленую сетку, которая не пускала внутрь насекомых, но давала проходить воздуху и в этом тропическом пекле заменяла стекла, она увидела дона Агостина собственной персоной, склонившегося над бумагами, лежавшими на письменном столе. Через его плечо видно было, как кухарка на кухне снимает шкуру с игуаны.

1. Пастухи.
2. Сельские латиноамериканские песни.

Когда Мамасита постучалась, дон Агостин сказал: "Войдите!", даже не посмотрев, кто там; это немного удивило Мамаситу, потому что она сама несколько раз так пыталась сделать, когда кто-нибудь стучал к ней в дверь, но каждый раз по привычке поднимала голову. Возможно, отзываться на стук в дверь с таким хладнокровием способны только те, кто родился в знатной семье.

Мамасита вошла, и дон Агостин встал, чтобы приветствовать ее. В молодости дон Агостин был сорвиголовой и бабником, но в сорок пять стал галантным и любезным, поэтому, взяв руку Мамаситы, он поднес ее к губам и поцеловал даже не один, а целых два раза.

— Абуэла! — воскликнул он. — Как я рад!

Он показал ей на стул элегантным жестом и крикнул кухарке:

— Эмма, кувшин гуарапо[1] для моей гостьи!

Затем он повернулся к Мамасите, утер лоб полой рубахи и сказал:

— Еще один адский денек.

Мамасита показала пальцем на вентилятор, который лениво вращался у нее над головой.

— Очень хорошая вещь, — сказала она. — Но было бы гораздо лучше, если б у каждого из нас была такая. От жары у людей портится нрав.

— Да, — согласился дон Агостин, — жара делает человека злым. Впрочем, недавно мне наконец удалось угрозами и взятками добиться от правительства, чтобы в нашу деревню провели электричество, и скоро можно будет заводить дома любые удобства, даже холодильник.

— Ты хороший *патрон*, — сказала Мамасита. — Все люди так думают.

— Очень любезно с их стороны, — отозвался дон Агостин. — И тем не менее они все время указывают мне на мои недостатки.

— Ну, по крайней мере ты никогда не оставляешь без внимания деток, прижитых на стороне. Не всякий патрон так поступает.

Дон Агостин покраснел, но не потерял достоинства.

— Чем я могу помочь, Абуэла? Ты же знаешь, желания той, что помогла тебе родиться на свет, не могут быть ни слишком ничтожными, ни слишком большими.

Мамасита решила взять быка за рога.

— Я пришла продать тебе сон, — сказала она.

— Сон? — переспросил дон Агостин.

— Да, — подтвердила повитуха. — Мне приснилось кое-что, но пригодиться это может только тебе, потому что у тебя у одного во всей деревне есть "лендровер".

Дон Агостин оживился. Он получил хорошее образование в Кали и мог бы стать интеллектуалом, из тех, что сидят по кофейням во всех концах света, если бы не считал своим долгом возделывать землю предков. На ферме же он, несмотря на то, что знал наизусть произведения философов и стихи Неруды, не гнушался общением со своими неграмотными кампесинос[2] и всегда внимательно прислушивался к их словам. Он познакомился с их причудливой религией, их фантастическими поверьями и диковинными ритуалами и готов был положа руку на сердце утверждать, будто иногда этим крестьянам известно нечто такое, что нельзя назвать "знанием" в обычном смысле слова. Разве он не видел собственными глазами, как странствующий шарлатан исцелил его коров

1. Перебродивший сок сахарного тростника.
2. Крестьяне.

от необъяснимых приступов эпилепсии, целуя их в рот и шепча им что-то на ухо? Похоже, в разных частях света действуют различные законы природы. И уповать на науку в таких краях, как этот, столь же нелепо, как пытаться вылечить европейскую корову поцелуями.

– И что же это за сон? – спросил он. – Перед продажей положено выкладывать товар на стол.

– Мне приснилось золото, – сказала старуха. – И я точно знаю, где оно спрятано.

– Тогда, Абуэла, почему же ты не пойдешь и не возьмешь его сама?

Мамасита махнула рукой в сторону подножия гор:

– Оно там. Чтобы туда добраться, нужен "лендровер", а может быть, даже и мулы. Для меня это слишком долгий путь. Я старая, бедная женщина. Вот поэтому я и решила продать мой сон тебе.

– Может быть, это была уака? – сказал дон Агостин, имея в виду огромную урну, в которой индейцы хоронили своих мертвецов.

– Наверняка не знаю, – сказала Мамасита. – Просто мне приснилось место, *где оно закопано, а над ним – золотое свечение. Как над ангелом.*

– Забавно, – сказал землевладелец, – мне всегда казалось, что от ангелов свет серебряный, а не золотой. Странно.

– Серебро там тоже может быть, – сказала старуха. Она порылась в заплечном мешке и извлекла оттуда мятый листок бумаги. – Я нарисовала карту, чтобы продать ее тебе.

– И сколько ты за нее хочешь?

– Две тысячи песо и долю, когда ты найдешь клад.

Мамасита сурово посмотрела на дона Агостина; сигара, уже потухшая, по-прежнему была зажата в уголке ее рта.

Землевладелец присвистнул:

– Две тысячи песо? Это же жалованье вакеро за десять недель работы! А какую долю ты хочешь?

Мамасита показала все десять пальцев, а затем загнула семь из них:

– Я хочу три части из десяти, потому что три – число Святой Троицы и оно приносит удачу. А еще: три – это сумма первых двух чисел, и поэтому – правильное число.

Дона Агостина снедало любопытство, к тому же он был обязан Мамасите жизнью: разве его матушка не повторяла тысячу раз, что он никогда не родился бы на свет, не смажь Мамасита руку свиным жиром, не засунь ее к матушке в живот и не переверни там ребеночка головкой вперед? Две тысячи песо – не такие большие деньги, к тому же он и так намеревался назначить повитухе содержание по сто песо в неделю. Ведь за добро, совершенное в этом мире, воздастся сторицей на том свете.

– Я дам тебе три тысячи песо и четверть сокровища, – сказал он, надеясь, что ему не придется пожалеть о своих словах.

– Это слишком много, – сказала старая повитуха, пожевав губами и поведя слезящимися глазами из стороны в сторону.

– Я настаиваю, – повторил дон Агостин.

– Кто я такая, чтобы перечить *патрону*? – сказала Мамасита. – Я соглашаюсь, но не по своей воле.

– Твое упорство свидетельствует об искренности твоих намерений, – сказал дон Агостин.

– Я хочу скрепить наш договор на бумаге, – внезапно сказала старуха. – Чтобы его засвидетельствовал мировой судья.

— Но я же и есть мировой судья, — удивился дон Агостин, слегка обиженный тем, что Мамасита не поверила ему на слово. А все дело было в том, что полученный в лавке лист бумаги произвел на повитуху очень сильное впечатление, и теперь ей просто хотелось получить на память официальный документ.

— Прости меня, совсем запамятовала, *патрон*, но бумага мне все равно нужна.

Дон Агостин достал блокнот из-под груды квитанций на столе и написал красивым наклонным почерком:

— "Я, дон Агостин Леонардо Хесус де Сантаяна, настоящим удостоверяю, что такого-то числа приобрел у..." — тут он запнулся и спросил Мамаситу: — В свою очередь прошу прощения, но как тебя звать на самом деле? Я не могу написать "Мамасита" на официальном документе.

— Лилиана, — сказала повитуха. — Лилиана Моралес. Но Мамасита мне нравится больше.

Землевладелец продолжил:

— "...у Лилианы Моралес, деревенской повитухи, право на владение картой, указывающей расположение клада, который она видела во сне, за сумму в три тысячи песо и четверть продажной стоимости означенного клада, в случае если таковой будет найден. Призываю в свидетели Бога и вышеупомянутую Лилиану Моралес".

Дон Агостин поставил на договоре дату, подписал его, любовно выводя завитушки, а затем передал Мамасите, сказав:

— Храни его и не забудь посыпать порошком от термитов, а не то они все съедят и конец твоему договору. А теперь можно посмотреть карту?

Мамасита передала ему листок, и дон Агостин изучил его. Он почувствовал одновременно изумление и легкое раздражение, потому что на бумаге не было ничего, кроме неразборчивого сплетения линий.

— Думаю, тебе придется объяснить мне, что тут к чему, — сказал он.

Мамасита наклонилась и принялась водить по бумажке трясущимися пальцами.

— Это ручей, — сказала она. — А это козья тропа, а это — камень, похожий на человека, а это высохший и сгоревший куст, а это — черная скала, похожая на ягуара, а тут ты найдешь скелет лошади, а здесь восходит солнце, а вот тут по этим приметам ты найдешь клад.

Землевладелец сделал пометки на карте в соответствии с рассказом Мамаситы.

— А не можешь ли ты еще объяснить мне, на каком расстоянии все это находится одно от другого? — сказал он.

Мамасита вновь начала тыкать пальцем в карту, объясняя:

— Тут десять шагов, тут пять минут ходьбы для взрослого мужчины, тут такое же расстояние, как отсюда до водопада, а тут — примерно длина тени лимонного дерева за час до заката.

— Яснее ясного, — сказал дон Агостин с иронией, которую, как он прекрасно понимал, старуха не могла заметить. И почесал карандашом в затылке.

Мамасита встала и протянула руку, которую дон Агостин снова поцеловал, на этот раз не так галантно, как при встрече, поскольку уже начинал подозревать, что позволил себя одурачить. Мамасита напомнила ему:

— И не забудь про четыре тысячи песо.

— По-моему, было три тысячи и четверть клада, — сказал он.

— Ах, прости, у меня в старых мозгах все спуталось!

— Простительная ошибка, — сухо согласился дон Агостин.

Он вышел из комнаты и через несколько минут вернулся с шестью купюрами по пятьсот песо, которые вручил старухе. Мамасита никогда в жизни не видела столько денег сразу, поэтому она невозмутимо пересчитала их у дона Агостина на глазах, свернула в тугую трубочку и запрятала поглубже в свой заплечный мешок.

— Да, еще, — сказала она, — пока я не ушла. Поговаривают, что у тебя в этом году хорошо уродились авокадо.

— Разумеется, — сказал *патрон*, — я тебе сейчас их дам. — И крикнул кухарке: — Эмма, принеси нам, пожалуйста, несколько авокадо. Только чтобы были большие и без пятен.

Вернувшись в деревню тем же самым образом, Мамасита тут же расплатилась с Кончитой за карандаш. Кончита взяла авокадо и с видом знатока потыкала пальцем в его верхушку.

— Еще несколько часов, и будет совсем спелый. Спасибо, Абуэла.

— Теперь я могу продать тебе обратно твой карандаш, — сказала Мамасита. — Вряд ли он мне еще потребуется, а если потребуется, я всегда могу прийти к тебе и купить его снова. Я продам тебе его за три песо и еще один листок бумаги, и тогда ты сможешь снова продать карандаш за четыре песо.

— Ах ты старая лиса! — не без восхищения воскликнула Кончита.

Что же случилось дальше? Дон Агостин вместе со своим управляющим предприняли несколько утомительных экспедиций к подножию гор, обнаружив, к своему огромному смущению, что скал и камней, похожих на человека или на ягуара, там несть числа. Измученные жарой, заеденные москитами, испуганные встречей с броненосцем, исцарапанные шипами растений, они бродили от одной раскаленной солнцем скалы к другой, безуспешно пытаясь расковырять кайлом спекшуюся выжженную землю в тех местах, которые казались им похожими на увиденное во сне Мамаситой.

Они нашли бессчетное количество козьих тропок, множество ручьев, не один обгоревший куст, а также немало скелетов коров, ослов, мулов, пум и жуткую высохшую мумию с рыжими волосами, одетую в старинный кожаный охотничий костюм. При таком обилии примет дону Агостину стало ясно, что ему никогда не найти клада, хотя винить в этом старуху тоже не поворачивался язык. Он решил, что попробует поискать клад как-нибудь попозже, но так у него руки до этого и не дошли.

Что же касается повитухи, то она, не зная, что делать со свалившейся на нее огромной суммой денег, спрятала купюры в маленький глиняный горшочек и закопала его на заднем дворе в землю на глубину двух ладоней. На чистом листе бумаги она нарисовала еще одну карту — такое же сплетение загадочных кривых линий, как на первой, — и положила ее в ящик рядом с договором, составленным доном Агостином, посыпав порошком от термитов, после чего продала карандаш обратно Кончите за условленные три песо.

После смерти Мамаситы ее племянники нашли договор и стали гадать, куда Мамасита дела деньги. Значения листка, испещренного странными закорючками и загадочными пятнами, они так и не поняли, поэтому один из них, когда ему неожиданно приспичило, использовал бумажку в нужнике и выбросил ее в отверстие.

Спустя несколько дней после похорон Мамаситы Кончита проснулась утром, увидев во сне, что по соседству с местом, где раньше жила Мамасита, зарыт клад, и отправилась на тракторе продавать этот сон закосневшему к тому времени в скепсисе дону Агостину.

Мария Горбачева

Жизнь есть сон...

Джонатан Коу. *Дом сна.* Роман / Перев. с англ. И. Алюкова. М.: Фантом Пресс, 2003

Роман Джонатана Коу "Дом сна" ("The House of Sleep", 1997) – пожалуй, наиболее удачное произведение для того, чтобы начать знакомство с этим писателем. Автор нескольких романов и биографий, обладатель множества престижных литературных премий (в том числе французской премии Медичи и премии Английской гильдии писателей), Джонатан Коу (р. 1961) прежде, чем целиком посвятить себя литературе, несколько лет проработал журналистом и литературным критиком. Свой первый роман "Случайная женщина" ("The Accidental Woman") Коу опубликовал в 1987 году, но настоящий успех пришел к нему после публикации четвертого романа "Какое надувательство!" ("What a Carve Up!", 1994). Именно после появления этой книги за ним закрепилась репутация одного из самых интересных и остроумных британских сатириков, работающих в жанре "политического" романа: всеохватное, поистине эпическое повествование об эпохе тэтчеризма принесло автору известность и огромную популярность не только у себя на родине, но и за рубежом.

Именно за этот роман Коу получил свою первую литературную премию, а во Франции "Какое надувательство!" был назван "романом года". Его сатирическое дарование произвело впечатление даже на самых придирчивых и высоколобых критиков, признавших Джонатана Коу полноправным членом литературного Олимпа – наряду с такими признанными мастерами современной английской литературы, как Мартин Эмис или Джулиан Барнс. В настоящее время Коу работает над продолжением своего последнего романа "Клуб Роттер" ("The Rotter's Club", 2001), предварительно озаглавленным автором "В узком кругу" ("The Closed Circle"), в котором он вновь обращается к исторической и политической проблематике, на сей раз избрав мишенью для своих нападок и насмешек два периода – семидесятые и девяностые годы.

Сложно сказать, заинтересовали бы произведения подобного рода русских читателей, в целом, скорее всего, не слишком сведущих в хитросплетениях общественной жизни "туманного Альбиона"; зато с уверенностью можно утверждать, что роман "Дом сна" наверняка заинтересует очень и очень многих. Хотя бы потому, что сюжет романа – это действительно сон, ни больше ни меньше. Самый настоящий сон, его магическая сила, его целительное (или же пагубное) воздействие. В романе есть элементы сразу нескольких жанров, поэтому "Дом сна" не оставит равнодушным ни поклонников детективов и психологических триллеров, ни почитателей мелодрамы или трагикомедии, ни любителей пародий и фарсов. И самое главное – от этой книги просто невозможно оторваться, а уж заснуть при чтении "Дома сна", пожалуй, действительно никому не удастся.

Пытаться пересказывать сюжет этого романа — затея неблагодарная и абсолютно бесполезная: подобно древнему сказителю, Коу переплетает все нити повествования и запутывает все так, что разгадать эту головоломку можно, лишь перевернув последнюю страницу. Хотя, наверное, и тогда у кого-то может возникнуть желание перечитать книгу заново, чтобы еще раз пережить это необычное и увлекательное путешествие, на сей раз зная его финал.

Итак, самое главное в "Доме сна" — это сам сон, одно из наиболее удивительных и парадоксальных состояний, в которых может пребывать человек. Со сновидениями у всех, в том числе и у персонажей этой книги, отношения очень сложные: для кого-то это прекрасная мечта, иллюзия, в погоне за которой может пройти вся жизнь, а для кого-то — наоборот, мания, от которой нет спасения.

Для Грегори, сумасшедшего психиатра, одержимого идеей навсегда избавиться от сна, искоренить саму физическую потребность в нем и тем осчастливить все человечество, сон — настоящее бедствие; "вечное движение и бесконечное бодрствование" — вот его девиз, цель всей его научной деятельности. "Если ты проводишь в постели по восемь часов в сутки, значит, сон укорачивает жизнь твою на треть! <...> Это не просто болезнь, это чума!" — искренне полагает он, проводя в потайном подвале своей уникальной клиники, где лечат различные заболевания и неврозы, связанные с нарушениями сна, страшные опыты, заканчивающиеся гибелью участников эксперимента.

Для Сары, учительницы младших классов, которая никак не может определиться со своей половой ориентацией и своим "я", сон — это болезнь, имеющая название — нарколепсия. Мало того, что Сара может заснуть среди бела дня, а потом вдруг проснуться и ничего не помнить; она не способна отличать сны от реальных воспоминаний и постоянно путает одно с другим: "...она вовсе не жертва галлюцинаций, просто ей регулярно снятся сны... столь яркие, что способны стереть реальность из памяти, и настоящее приходится вспоминать сквозь сон, извлекать из-под сна, рассматривать сквозь его мутную поверхность, словно пытаясь найти на палимпсесте первоначальную надпись".

Та же проблема различения сна и реальности, фантазии и действительности, перехода из одного состояния в другое стоит и перед Терри — кинокритиком, помешанным на кинематографе и одержимым идеей найти утраченный (или вообще никогда не существовавший) фильм некоего итальянского режиссера Ортезе, от которого сохранился один-единственный кадр, а также масса скандальных и кровавых подробностей из жизни съемочной группы. Как и у Сары, у Терри тоже есть свои проблемы, связанные со сном: сначала он спит по четырнадцать часов в сутки, но забывает все увиденное во сне, как только просыпается. "Для Терри процесс сна <...> представлял собой еженощное путешествие. <...> Терри одолевали сны — сны, по его утверждениям, воистину райской красоты. <...> Эти сны были для Терри чем-то вроде наркотика — самой существенной, самой важной, самой ценной частью его жизни. <...> Его спящий разум гонялся за ускользающими сновидениями". Потом он перестает спать вообще и начинает целыми днями смотреть фильмы, постепенно утрачивая способность запоминать лица реально существующих людей и узнавая лишь лица киноактеров.

Для Роберта, молодого человека, безнадежно влюбленного в Сару, сон оказывается настоящим откровением, позволяющим обрести свое под-

линное "я": решившись ради любви на операцию по смене пола, Роберт превращается в Клео – якобы сестру-близнеца Роберта, а на самом деле – порождение еще одной фантазии Сары. В отличие от других персонажей, всю жизнь гоняющихся за своими призрачными снами, Роберт пытается "реализовать" свой сон, отправляясь на поиски возлюбленной и той новой реальности, которую обещает ему такое перевоплощение. При этом проводником Роберта-Клео в его поисках Сары служит опять же сон – на этот раз сон его старой знакомой, девочки Руби, которая, разговаривая во сне, якобы случайно рассказывает, где и как можно найти Сару.

Истории всех этих персонажей, тесно переплетаясь во времени и пространстве, начинаются и сходятся в одной точке – старинном особняке Эшдаун; сначала там располагалось общежитие университета, в котором все они учились, а спустя десять лет открылась клиника по лечению нарушений сна. Одиноко стоящий на вершине скалы, продуваемый холодными северными ветрами и омываемый "тошнотворно-зелеными" волнами Эшдаун, этот настоящий дом сна, становится в романе образом скорби и сомнений, вечно томящих человеческую душу, образом тотального одиночества как основной категории бытия в современном мире. В мире, где действительность и сновидения постоянно меняются местами и сплетаются так тесно, что различить их почти невозможно; все призрачно, зыбко, недостоверно, и кажется, что, стоит только открыть глаза, как все то прекрасное, светлое, что есть на свете, тотчас исчезнет и останется только холод и тьма. Поэтому не случайно, что и внутренняя организация самого романа подчинена законам сна: пять частей, из которых состоит книга, соответствуют пяти фазам или стадиям сна, и каждая из них начинается теми же словами, на которых оборвалась часть предыдущая, – как прерванный сон, который, вновь закрывая глаза, пытаешься досмотреть до конца.

При этом, в отличие от сна, где все случайно, хаотично и, казалось бы, не подчинено каким бы то ни было законам логики, реальное пространство романа устроено очень логично и четко: действие в нечетных главах относится к 80-м годам, когда Эшдаун был еще университетом, а в четных – к 90-м, когда в нем уже полноправно властвует Грегори, директор "Дома сна". В сюжете романа, до отказа "начиненном" всевозможными случайностями и совпадениями, на самом деле ничего случайного нет: все подчинено единому замыслу, и каждый эпизод, каждая мельчайшая деталь оказываются тщательнейшим образом встроенными в общую картину, а любое слово, сказанное героями вскользь и словно бы походя, в итоге обязательно обретает некое магическое значение. Воспевая талант Коу как замечательного рассказчика, умеющего мастерски собирать воедино многочисленные сюжетные нити и цепочки совпадений и приводить все к счастливому финалу, критики не случайно сравнивают его с Диккенсом. Сам же Коу признается, что, хотя такие сравнения ему весьма лестны, своим подлинным литературным учителем он все-таки считает другого классика – Филдинга: именно у него он учился тому, "как надо выстраивать роман, создавать масштабный и многоплановый сюжет и запутанные отношения между героями".

Возможно, именно у Филдинга (хотя Коу сравнивают также и с Ивлином Во, Кингсли Эмисом или Энгусом Уилсоном) Коу научился тому сочетанию иронии, сатиры и драмы, которое так выгодно отличает его книги от множества однoплановых и "холодных" постмодернистских романов, до недавнего времени доминировавших на литературной сце-

не Великобритании. На фоне таких произведений роман Коу выделяется своей человечностью и внутренней теплотой, нескрываемым авторским сочувствием к персонажам, которые порой до того трогательны и нелепы, что просто не могут не вызывать симпатии. Несмотря на обилие научной терминологии, постоянное смешение и пародирование многочисленных интеллектуальных "дискурсов" (феминизм, гендерная психология, психиатрия, театроведение, кинокритика и др.), "Дом сна" – это история любви, дружбы и ненависти, история потери и обретения счастья, семьи, своего "я".

О пародировании этих стилей и крайне остроумном высмеивании современной науки стоит сказать особо. По словам самого Коу, эта книга "первоначально задумывалась как исключительно юмористическая. Мрачность и грусть <...> пробрались туда без моего ведома". В романе действительно много трагических, драматических эпизодов, органично сочетающихся с настоящими комедийными, пародийными сценами. Чего стоит, например, глава, в которой ведущие светила британской психологии и психиатрии участвуют в семинаре "Мотивация к переменам"! Абсолютно нелепый и никому не нужный семинар с таким дурацким названием проводят, естественно, американцы, которые, как это принято в английских романах, показаны полными недоумками и тупицами; они заставляют почтенных английских профессоров делать бумажные аппликации, выкладывать из спичек разные фигурки и играть в совершенно идиотские игры: "измени парадигму" или "детки-пришельцы" – беготня по комнате с ведрами воды и перекидыванием мармеладок из одного ведра в другое.

Конечно же, Коу лукавит, признаваясь читателям в том, что задумывал свое произведение "как маленькую сюрреалистическую комедию о нарушениях сна", которая постепенно, помимо авторской воли, превратилась "в нечто большее". "Дом сна" – целый набор одержимостей: маниакального психиатра, одержимого стремлением избавиться от сна; полусумасшедшего кинокритика, одержимого идеей разыскать утраченный фильм; романтичного трансвестита, одержимого желанием обрести любовь. Но кроме этого, "Дом сна" – мрачная и одновременно очень яркая фантазия на тему сна самого Джонатана Коу, пожалуй, самая неожиданная и необычная книга английского автора, изданная за последнее время.

"There was a Young Lady of Russia" Эдварда Лира

Уважаемая редакция "ИЛ"!

Я подписываюсь на Ваш журнал с 1969 г. (с некоторым перерывом после распада Союза). За это время прочитала там очень много замечательных вещей. Люблю рубрику "Вглубь стихотворения", иногда пытаюсь создать свой вариант перевода.

Прочитав № 3/2003, попыталась сделать то же самое.

Я заметила, что все переводчики лимерика Э. Лира проигнорировали фразу: "no one could hush her" — "никто не мог успокоить ее", и вставила ее в свой перевод, может быть, в ущерб другому, так как нужно уложиться в 5 строк.

Итак, мой вариант перевода:

Одна юная дама российская
До того уж была голосистая,
Что никто, даже йог,
Успокоить не мог
Громогласную даму российскую.

Пока я переводила этот лимерик, у меня сочинилось и другое стихотворение — о переводчиках Э. Лира:

Переводчиков было немало,
И дама у них визжала,
И вопила, и ныла,
И белугою выла,
И еще чудесам подвергалась:
Даже в мальчика превращалась.
О местах ее происхождения
Были самые разные мнения:
То из Кракова, то из Манилы,
Даже вспомнили про Фермопилы —
Вот как трудно бывает порою
Управиться с дамой одною!

Если можно, познакомьте, пожалуйста, с моим письмом Б. Архипцева.

Его второй перевод, пожалуй, самый удачный из всех (ближе всех к оригиналу).

С пожеланиями всего наилучшего

Малахова Тамара Ивановна,
г. Минск

Уважаемая Тамара Ивановна!

Мне переслали Ваше письмо. Спасибо за добрые слова о рубрике и о моем переводе. У Вас тоже неплохо получается – полагаю, что Ваш вариант далеко не худший из существующих. Могу предложить Вам свою редакцию:

Заполошная дама российская
До того уж была голосистая,
Что никто, видит Бог,
Успокоить не мог
Голосистую даму российскую.

А стишок о злоключениях означенной дамы в руках злодеев-переводчиков – просто прелесть!

Желаю Вам новых творческих радостей и всего самого доброго.

Борис Архипцев

Великобритания

Моцарт под луной

Главным событием международного оперного фестиваля, прошедшего летом в английском городе Глиндебурне, стал показ новой версии оратории Генделя "Теодора", представленной знаменитым американским режиссером Питером Селларсом. Питер Селларс сегодня имеет репутацию одного из самых экстравагантных театральных постановщиков. В конце 70-х он ошарашил однокурсников дипломной работой, в которой актеры сыграли пьесу Шекспира, не выходя из плавательного бассейна. А спустя десять лет на сценах Америки с триумфом прошла осовремененная им "Свадьба Фигаро" Моцарта, действие которой разыгрывалось в небоскребе Трампа. Действие другой оперы Моцарта "Так поступают все женщины" Питер Селларс перенес в захолустный американский городок эпохи Рейгана, в кафе, которое принадлежит ветерану вьетнамской войны Альфонсо и его разбитной подружке Деспине.

Исполненная на фестивале оратория Генделя "Теодора" (история христианского мученика, жившего в IV веке, который был казнен за отказ поклоняться римским богам) в интерпретации Селларса приобрела социальный смысл, превратившись в протест против притеснений всякого рода меньшинств. Особое внимание театральные критики обратили на язык жестов, позаимствованный режиссером из различных восточных обрядов и театра Кабуки.

Авангардистская эстетика Селларса особенно ярко проявилась в постановке первой оперы Моцарта "Идоменей". Античный сюжет о Троянской войне режиссер, как обычно, превратил в современный, на этот раз избрав местом действия Ирак. Греческих воинов он нарядил в форму американских солдат, троянских женщин облачил в паранджу, а короля Идоменея — в темный костюм, сделав его похожим на американского президента. Америка у Селларса предстает страной ненависти, однако спектакль не исчерпывается критикой внешней политики США. Прежде всего режиссер хотел показать потенциальную возможность примирения между народами, поэтому и объединил в финальном танце солдат и мирных жителей, мусульман и христиан.

Замок Кермансо в Каталонии

Испания

Утопия Дали

К столетию со дня рождения Сальвадора Дали (1904—1989), которое в Испании будет отмечаться в сентябре 2004 года, специалисты одного из барселонских университетов решили осуществить фантастический замысел мастера сюрреализма, установив на крыше замка орган, работающий при помощи ветра.

Почти два года ушло на изучение проекта, прежде чем стало ясно, что сделать подобный инструмент в принципе возможно. Было изготовлено два опытных образца, которые успешно выдержали испытания. Нашлись и энтузиасты-предприниматели, согласившиеся выделить на сооружение "первого сюрреалистического органа в истории" миллион евро.

Мечта изготовить гигантский орган, приводимый в действие порывами ветра, пришла в голову Сальвадору Дали в конце 70-х годов. Художник предполагал устраивать органные концерты в те дни, когда дул сильный северный ветер трамонтана, чтобы звуки музыки разносились далеко по равнине и были слышны даже жителям близлежащих деревень. Дали был буквально одержим этой идеей, но не сумел осуществить задуманное, столкнувшись

с рядом технических сложностей, такими, например, как переменчивость ветра. Дабы решить эту проблему, группа инженеров сконструировала специальный "аккумулятор ветра": воздух попадал в орган через некое подобие воронки, затем направлялся в специальную камеру, регулирующую давление, а из нее распределялся по 500 трубам-регистрам. Такой орган способен играть даже самостоятельно, без участия органиста.

Оставалось найти подходящее место для установки необычного инструмента. Специально для этой цели спонсоры приобрели на севере Каталонии, недалеко от Фигероса, разрушенный замок X века, возвышающийся на вершине холма, с которого открывается живописный вид на Пиренеи и Средиземное море. Их выбор был продиктован двумя обстоятельствами. Во-первых, в этом районе часто дует трамонтана, а во-вторых, это место было очень любимо Сальвадором Дали. Он даже делал попытку приобрести замок, чтобы сделать подарок жене, а также собирался устроить в его окрестностях небольшой зоопарк и держать в нем ручных носорогов.

Известно, что при Наполеоне крепостное сооружение было превращено в склад боеприпасов, а затем, в 1814 году, взорвано. По планам в замке должны быть проведены реставрационные работы. Как уже говорилось, орган предполагается установить под открытым небом, поэтому для его создания будут использованы особо прочные материалы. Изготовить уникальный музыкальный инструмент поручено знаменитому мастеру Альберу Бланкафору, сделавшему органы для знаменитого каталонского аббатства Монсеррат.

Франция

Барокко глазами иезуитов

В Музее изящных искусств в Канне состоялась выставка "Иезуитское видение барокко. От Тинторетто до Рубенса", на которой были представлены 98 работ западноевропейских художников середины XVI — конца XVIII веков, причисленных искусствоведами к "стилю иезуитов" — одному из главных течений барокко.

Неизвестный фламандский художник. "Мария Магдалина отказывается от богатств мира"

Орден иезуитов появился в разгар Реформации. Он был основан в Париже в 1534 году испанским дворянином Игнатием Лойолой (1491—1556), решившим сделаться странствующим проповедником и служить утверждению веры и римско-католической церкви. Помимо обычных монашеских обетов — нищеты, целомудрия и послушания, — иезуиты установили для себя еще четвертый — безусловное повиновение папе, благодаря чему заслужили покровительство церковной власти, которая использовала орден для борьбы с протестантизмом. Переходя из города в город, члены ордена читали проповеди и занимались благотворительностью, своим строгим образом жизни вызывая сочувствие многих людей.

Первыми влияние иезуитов испытали на себе венецианские живописцы, затем движение распространилось в Риме, Севилье и Фландрии. С иезуитами был близок Рубенс, получивший духовный чин высшего класса. В отличие от итальянской живописи XVII века, утверждавшей согласно католической традиции абсолютную покорность человека воле Божьей, "иезуитский стиль" сочетал в себе иррациональность, мистицизм и вместе с тем внимание к деталям. Основным критерием этого искусства было идеальное представление о красоте. Художники черпали вдохновение не в природе, а в собственном воображении, ставя мистическое озарение выше обыденной реальности. Их полотнам была свойственна динамичность, центральное место на них занимали человеческие фигуры, как, например, на работах Тинторетто, Гаулаи и Поццо, живописца, архитектора, скульптура и теоретика искусств, расписавшего иезуитскую церковь Сант-Иньяцио в Риме.

Основными темами художников были сцены из Библии, изображения Девы Марии, а также святого Игнатия Лойолы, причисленного к лику святых католической церковью.

Рассказывает вдова Бориса Виана

Недавно французское издательство "Файяр" завершило публикацию полного собрания сочинений Бориса Виана (1920—1959) в 15-ти томах. Это издание, снабженное подробными примечаниями и комментариями, стало итогом почти сорокалетних трудов друзей и учеников писателя, а также его второй жены, Урсулы Виан Кюблер — официальной хранительницы творческого наследия писателя. По случаю выхода из печати двух последних томов, в которые вошли пьесы Виана, тексты радиопередач и словарь персонажей, Урсула Виан Кюблер дала интервью французскому журналу "Нувель обсерватер".

Со своим будущим мужем она познакомилась на коктейле в издательстве "Галлимар". Девятнадцатилетняя Урсула жила тогда в Париже, где занималась в балетной студии. Борис показался ей привлекательным мужчиной с прекрасной улыбкой. Однако репутация у него в те времена была не самой добропорядочной. Тем не менее молодые люди поженились и поселились в крошечной однокомнатной квартирке. Урсула танцевала в театре, часто ездила на гастроли. Борис зарабатывал на жизнь переводами. Переводил он молниеносно и никогда не пользовался печатной машинкой — писал только от руки.

Роковую роль в его литературной судьбе сыграл роман "Я приду плюнуть на ваши могилы", который Виан сочинил на спор — за две недели — и выпустил в свет под вымышленным именем Вернона Салливана. Когда мистификация раскрылась, разразился невероятный скандал, завершившийся судебным разбирательством. По словам Урсулы Виан Коблер, этот инцидент стал своего рода проклятием, пагубным образом повлиявшим на дальнейшую литературную карьеру Виана. От него отвернулись критики и читатели, проигнорировав и сборник "Мурашки", и роман "Всеобщая живодерня". Тогда Виан начал писать песни, а кроме того работал для нескольких крупных студий звукозаписи: составлял каталоги джазовой музыки, а также записывал молодых никому не известных исполнителей — к большому неудовольствию руководства студии.

Борис довольно рано стал страдать от болей в сердце. Он всегда чувствовал, что не доживет до сорока. Из-за болезни был вынужден отказаться от любимого джаза. Он умер в 1959 году на просмотре фильма по роману "Я приду плюнуть на ваши могилы" — фильм был снят вопреки его воле. После его смерти вдова получила анонимное письмо, в котором было всего несколько строк: "А что, если я сейчас приду плюнуть на его могилу?"

Урсула Виан Кюблер приложила огромные усилия для популяризации произведений Бориса Виана. Она привела в порядок обширный архив, обнаружив среди прочего две ранее неизвестные рукописи. Сейчас можно уже говорить о том, что наследие Бориса Виана практически полностью доступно читателю. Не опубликованными остались только музыкальные комедии и письма, которые, по мнению вдовы, обнародовать еще слишком рано.

По материалам агентства новостей АФП [Франция], журналов "Нувель обсерватёр" [Франция] и "Ньюсуик" [США].

Авторы номера

Ив Бонфуа
Yves Bonnefoy
[р. 1923]. Французский поэт, прозаик, эссеист, историк культуры, почетный доктор нескольких европейских и американских университетов, лауреат национальных и международных литературных премий.

Автор книг стихов и рассказов: *О движении и неподвижности Дувы* [*Du mouvement et de l'immobilité de Douve*, 1953], *Поперечная улица* [*Rue Traversière*, 1977], *Начало и конец снегопада* [*Début et fin de la neige*, 1991], *Выгнутые доски* [*Les planches courbes*, 2001] и др., повести *Внутренняя область* [*L'Arrière-pays*, 1972], сборников эссе *Невероятное* [*L'Improbable*, 1959], *Истина слова* [*La Verité de parole*, 1988, 1992], книги *Беседы о поэзии* [*Entretiens sur la poésie*, 1990], монографий о средневековых французских фресках и раннем римском барокко, творчестве Рембо и Джакометти, переводов драматургии Шекспира, поэзии Йейтса, Китса, Леопарди, Сефериса.
На русском языке вышли книги Бонфуа *Стихи* [1995], *Невероятное* [1998], *Избранное. 1975–1998* [2000], *Внутренняя область* [2002]. В *ИЛ* публиковались его эссе о Й. Сеферисе [1996, № 7] и П. Целане [1996, № 12].
Публикуемые тексты входят в книгу *Театр детей*. Перевод выполнен по изданию *Le Théâtre des Enfants* [William Blake & Co. Edit., 2001].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Социолог, литературовед, переводчик. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книги *Слово – письмо – литература* [М., 2001]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10].

Анхель Гонсалес
Ángel González
[р. 1925]. Испанский поэт, эссеист. Лауреат многих литературных премий, в т. ч. Литературной премии принца Астурийского [1985], премии королевы Софии [1996]. Член Испанской королевской академии.

Автор книг стихов *Горький мир* [*Áspero mundo*, 1956], *Без надежды, с уверенностью* [*Sin esperanza, con convencimiento*, 1961], *Первая ступень* [*Grado elemental*, 1962], *Трактат об урбанизме* [*Tratado de urbanismo*, 1967], *Краткие заметки для одной биографии* [*Breves acotaciones para una biografía*, 1969] и др. Начиная с 1968 г. выпускает антологии своей поэзии под названием *Слово за́ слово* [*Palabra sobre palabra*]. Автор книг о писателях и литературе: *Хуан Рамон Хименес* [*Juan Ramón Jiménez*, 1973], *Поэтическое поколение 1927 года* [*El grupo poético de 1927*, 1976], *Габриэль Селайя* [*Gabriel Celaya*, 1977], *Антонио Мачадо* [*Antonio Machado*, 1979].
Публикуемые стихи взяты из книги *Palabra sobre palabra* [Barcelona, Seix Barral, 1992].

Луис Армента Мальпика
Luis Armenta Malpica
[р. 1961]. Мексиканский поэт, переводчик, издатель.

Автор десяти поэтических сборников, в т. ч.: *Настойчивость света* [*Voluntad de la luz*, 1996], *Земляморе* [*Terramar*, 1999], *Новый мир. Следующее море* [*Mundo nuevo. Mar siguiente*, 2003].
Отрывки поэмы публикуются по рукописи.

Роже Кайуа
Roger Caillois
[1913–1978]. Французский писатель-эссеист. В юнос-

Автор книг *Миф и человек* [*Le mythe et l'homme*, 1937; рус. перев. 2003], *Человек и сакральное* [*L'homme et le sacré*, 1939; рус. перев. 2003], *Игры и люди* [*Les jeux et les hommes*, 1958], *Письмо камней* [*Pierres*, 1970], *Асимметрия* [*La*

ти участвовал в сюрреалистской группе, в конце 30-х годов — один из основателей (вместе с Ж. Батаем) парижского Коллежа социологии. С 1971 г. член Французской академии.

disymétrie, 1973] и др. На русском языке также опубликована его повесть *Понтий Пилат* [*Ponce Pilate*, в сборнике *Монастырская школа*, 1986].
Публикуемое эссе взято из книги *Образы, образы...* [*Images, images...* PARIS, JOSE CORTI, EDITEUR, 1966].

ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА ТОЛСТАЯ
Писатель. Лауреат премий Гринцане Кавур [за лучшую иностранную книгу — Италия, 1990], "Триумф" [2000], "Проза-2001" [Московская книжная ярмарка 2001 г.].

Автор книг *Ночь* [2001], *День* [2001], *Кысь* [2000], *Двое* [2001], *Изюм* [2002] и др.

РАМОН ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА
RAMON GÓMEZ DE LA SERNA
[1891—1963]. Испанский писатель и публицист, один из наиболее известных представителей испанского авангардизма.

Автор романов *Отпечаток* [*El rastro*, 1914], *Цирк* [*El circo*, 1924], сборника новелл *Необыкновенный доктор* [*El doctor inverstmil*, 1921; рус. перев. 1927], автобиографии *Автонекролог* [*Automoribundia*, 1948], сборников афоризмов *Несуразности* [*Los disparates*, 1922], а также биографий испанских художников Ф. Х. Гойи [1928], Эль Греко [1935], Д. Р. Веласкеса [1939] и др.
Эссе взято из книги *Новые страницы моей жизни* [*Nuevas paginas de mi vida*. VALENCIA, EDITORIAL MARFIL, S. A., 1957].

ГРЭМ ГРИН
GRAHAM GREEN
[1904—1991]. Английский писатель.

На страницах *ИЛ* были напечатаны романы *Тихий американец* [*Quiet American*, 1956, № 6—7], *Наш человек в Гаване* [*Our Man in Havana*, 1959, № 3—4], *Ценой потери* [*Burnt-Out Case*, 1964, № 9—10], *Комедианты* [*Comedians*, 1966, № 9—10], *Сила и слава* [*The Power and the Glory*, 1987, № 1—2], *Монсеньор Кихот* [*Monsenor Quijote*, 1989, № 1—2], *Конец одного романа* [*The End of the Affair*, 1992, № 5—6], повести *Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой* [*Doctor Fisher of Geneva or The Bomb Party*, 1982, № 6], *Десятый* [*The Tenth Man*, 1986, № 12], а также рассказы, очерки, публицистика.
Фрагменты книги публикуются по изданию *A World of my Own (A Dream Diary)* [TORONTO, ALFRED KNOPF CANADA, 1992].

АНТОНИО ТАБУККИ
ANTONIO TABUCCHI
[р. 1943]. Итальянский прозаик, литературовед, лауреат международных премий. Специалист по португальской литературе, исследователь творчества Ф. Пессоа.

Автор романов *Площадь Италии* [*Pisazza d'Italia*, 1975], *Индийский ноктюрн* [*Notturno Indiano*, 1984], *Линия горизонта* [*Il filo dell'orizzonte*, 1986], а также сборника рассказов, среди которых *Женщина из Порто Пим и другие истории* [*Donna di Porto Pim e altre storie*, 1983] и *Маленькие незначительные недоразумения* [*Piccoli equivoci senza importanza*, 1985]. На русском языке публиковался его роман *Утверждает Перейра* [*Sostiene Pereira*, 2003].
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Sogni di sogni* [PALERMO, SELLERIO EDITORE, 1992].

ЖОРЖ ПЕРЕК
GEORGES PEREC
[1936—1982]. Французский писатель, журналист, сценарист, кинорежиссер.

Автор романа *Вещи* [*Les Choses*, 1965, премия Ренодо; *ИЛ*, 1967, № 2], экспериментально-игровых книг *Спящий* [*Un homme qui dort*, 1967; экранизирован автором в 1974 г., кинопремия Жана Виго], *Дубль-ве, или Воспоминание детства* [*W ou le souvenir d'enfance*, 1975], *Я помню* [*Je me souviens*, 1978; экранизирован в 1986 г.; рус. перев.

2001], *Жизнь: способ употребления* [*La Vie mode d'emploi*, 1980, премия Медичи], *Кунсткамера* [*Un cabinet d'amateur*, 1979; рус. перев. 2001].
Публикуемая книга печатается по изданию *La boutique obscure* [Paris, Éditions Denoël, 1973].

Роже Бастид
Roger Bastide
[1898–1974]. Французский социолог, этнограф, психиатр.

Автор множества научных книг, в т. ч. *Проблемы мистической жизни* [*Problèmes de la vie mystique*, 1931], *Элементы религиозной социологии* [*Eléments de sociologie religieuse*, 1935], *Искусство и общество* [*Art et société*, 1945], *Социология и психоанализ* [*Sociologie et psychanalyse*, 1950], *Африканские религии в Бразилии* [*Les religions africaines au Brésil*, 1960], *Социология душевных заболеваний* [*Socioligie des maladies mentales*, 1965], *Ближний и дальний* [*Le prochain et le lointain*, 1970], *Прикладная антропология* [*Anthropologie appliquée*, 1971].
Перевод выполнен по изданию *La boutique obscure* [Paris, Éditions Denoël, 1973].

Делмор Шварц
Delmore Schwartz
[1914–1966]. Американский писатель, поэт, критик.

Автор поэмы *Книга Бытия* [*Genesis*, 1943], сборника рассказов *Мир – это свадьба* [*The World Is a Wedding*, 1948] и др.
Рассказ *Сны порождают обязательства* взят из одноименного сборника *In Dreams Begin Responsibilities and Other Stories* [New York, New Directions Publishing Corporation, 1937].

Луи де Берньер
Louis de Bernières
[р. 1954]. Английский писатель.

Автор романов *Поднаготная войны дона Эммануэля* [*The War of Don Emmanuel's Nether Parts*, премия писателей Британского Содружества за лучший дебютный роман, 1991], *Непослушный отпрыск кардинала Гузмана* [*The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman*, премия писателей Британского Содружества, 1995], *Мандолина капитана Корелли* [*Captain Corelli's Mandolin*, премия писателей Британского Содружества, 1995] и др.
Публикуемый рассказ взят из антологии *Новое в литературе, вып. 7* [*New Writing 7*. London, Vintage, 1998].

Переводчики

Марк Самуилович Гринберг
[р. 1953]. Переводчик, лауреат премии им. Мориса Ваксмахера [1998].

В его переводе издавались произведения средневековой и ренессансной литературы, а также авторов XX века: И. Бонфуа, Ф. Жакоте, П. Целана, Ж. Старобинского и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2001].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Андрей Иванович Щетников
[р. 1963]. Поэт, переводчик с испанского, главный редактор новосибирского литературного журнала *Kto zdes?*

Автор семи поэтических книг. Участник второго [2001] и третьего [2003] Московских международных фестивалей поэтов. С испанского переводил П. Неруду, Х. Л. Борхеса, С. Вальехо, Х. Р. Хименеса, С. Родригеса, Э. Галеано и др. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи и миниатюры Х. Л. Борхеса [2002, № 12].

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук. Лауреат премии им. Анатоля Леруа-Больё [1996, 1997, 2000]. Награжден французским орденом Академической пальмовой ветви.

Автор книг *Работы по французской литературе* [1999] и *Французский романтизм и идея культуры* [2002]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Компаньона, Р. Кайуа и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Екатерина Андреевна Матерновская
Переводчик с испанского, аспирантка ИМЛИ им. Горького.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Елена Михайловна Зимина
Переводчик с английского.

Автор ряда статей о Голландии, опубликованных в периодической печати. В ее переводе издана книга К. Шоу *Королевский Вавилон* [*Royal Babylon*]. В *ИЛ* [2002, № 2] опубликован перевод фрагментов книги Л. Бауке и К. Уайна *Нелетучие голландцы*.

Елена Борисовна Дмитриева
[р. 1941]. Переводчик с итальянского и немецкого языков.

Переводила произведения А. Мушга, А. Моравиа, Т. Ландольфи, М. Ригони-Стерна, Т. Гуэрры, Г. Паризе, Л. Шаши, Дж. Бонавири, Примо Леви и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказы Л. Малербы [1980, № 1; 1984, № 8], роман Дж. Д'Агаты *Америка о'кей* [1987, № 1], интервью К. Костантини с Ф. Феллини [1997, № 8].

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчик с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7] и А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты из книги Б. Ламблен *Мемуары девушки, сбитой с толку* [2000, № 4], фрагменты романа Л.-Ф. Селина *Guignol's Band, или Паяцы* [2001, № 3], романы Жан-Филиппа Туссена *Месье* [2001, № 3] и *Фотоаппарат* [2002, № 1], роман М. Уэльбека *Платформа* [2002, № 11], интервью с А. Роб-Грийе [2002, № 3] и др.

Лариса Георгиевна Беспалова
Переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе издавались произведения И. Во, Б. Бейнбридж, О. Генри, С. Моэма, К. Э. Портер, У. Фолкнера, В. Вулф, С. Беккета, С. Беллоу, А. Моруа и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Илья Валерьянович Кормильцев
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского и итальянского языков.

В его переводе издавались "малая проза" Дж. Р. Р. Толкина, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2003 год [1—12]

Романы, повести, рассказы

Альварес Хулия. *Йо!* Главы из романа. Перевод с английского и вступление С. Силаковой [1]

Апдайк Джон. *Многообразие религиозного опыта.* Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн [8]

Бонфуа Ив. *Привидевшиеся рассказы.* Перевод с французского Марка Гринберга. Вступление Бориса Дубина [12]

Боон Луи-Поль. *Менуэт.* Роман. Перевод с фламандского Сильваны Вейдеманн и Марины Палей. Вступление Марины Палей [10]

Винчи Симона. *Рассказы.* Перевод с итальянского Наталии Белкиной [7]

Вольф Криста. *На своей шкуре.* Повесть. Перевод с немецкого Н. Федоровой [9]

Гавран Миро. *Юдифь.* Роман. Перевод с хорватского Н. Вагаповой [4]

Герман Юдит. *Кругом одни привидения.* Рассказ. Перевод с немецкого С. Шлапоберской [9]

Гловацкий Януш. *Последний сторож.* Повесть. Перевод с польского И. Подчищаевой [8]

Грасс Гюнтер. *Метафорам можно доверять.* Торжественная речь, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии. Перевод с немецкого Н. Федоровой [9]

Делиллo Дон. *Мао II.* Роман. Перевод с английского С. Силаковой [11, 12]

Диас Хунот. *Рассказы.* Перевод с английского В. Козлова [1]

Дубин Борис. См. Эрнандес Фелисберто [3]

Дубин Борис. См. *Пуиг Мануэль* [6]

Дэвис Питер Хо. *Загробная жизнь.* Рассказ. Перевод с английского А. Соколинской [1]

Ийеш Дюла. *Гунны в Париже.* Главы из романа. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева [7]

Йегги Флёр. *"Пролетарка".* Роман. Перевод с итальянского и вступление Татьяны Баскаковой [3]

Кельман Даниэль. *Под солнцем.* Рассказ. Перевод с немецкого А. Кацуры [2]

Кинкейд Джамейка. *Люси.* Повесть. Перевод с английского Инны Стам [1]

Кляйн Георг. *Про немцев.* Рассказ. Перевод с немецкого М. Рудницкого [9]

Кундера Милан. *Книга смеха и забвения.* Фрагменты романа. Перевод с чешского и вступление Нины Шульгиной [8]

Ланге-Мюллер Катя. *Рассказы.* Перевод с немецкого и вступление Г. Косарик [9]

Лахири Джампа. *Рассказы.* Перевод с английского М. Салганик [1]

Малерба Луиджи. *Гранада-клуб.* Роман. Перевод с итальянского Ф. Двин [8]

Модиано Патрик. *Маленькое Чудо.* Роман. Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой. *"Я играю с огнем..."* Из интервью П. Модиано [7]

Павич Милорад. *Кровать для троих.* Краткая история человечества. Интерактивный показ моделей одежды с пением и стрельбой. Белград, XX—XXI век. Перевод с сербского Ларисы Савельевой [3]

Пильх Ежи. *Песни пьющих.* Главы из романа. Перевод с польского К. Старосельской [10]

Пуиг Мануэль. *Поцелуй женщины-паука.* Роман. Перевод с испанского Антона Ильинского. Борис Дубин. *Я как другой: инвенция для двух голосов* [6]

Равалек Венсен. *Ностальгия по черной магии.* Роман. Перевод с французского и вступление Ирины Стаф [10]

Рансмайр Кристоф. *Ужасы льдов и мрака.* Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой [2, 3]

Ривера Томас. *Саламандры.* Рассказ. Перевод с английского С. Силаковой [1]

Сальвейр Лиди. *Трепетные души.* Роман. Перевод с французского Ирины Волевич [4]

Сеппяля Юха. *На черном острове.* Рассказ. Перевод с финского Ольги Андриановой [7]

Фернандес Роберто. *Рассказы.* Перевод с английского С. Силаковой [1]

Ха Цзинь. *Рассказы.* Перевод с английского А. Смирновой [1]

Хандке Петер. *Опыт познания природы jukebox.* Эссе. Перевод с немецкого и вступление Г. Косарик [2]

Хемон Александр. *Слепой Йозеф Пронек.* Рассказ. Перевод с английского А. Ильинского [1]

Херманн Иселин К. *Par avion. Переписка, изданная Жан-Люком Форёром.* Роман. Перевод с датского Татьяны Доброницкой [6]

Хильдесхаймер Вольфганг. *Конец света.* Рассказ. Перевод с немецкого Галины Окуловой [9]

Эрнандес Фелисберто. *Повесть и рассказы.* Переводы с испанского. Борис Дубин. *Гофмановская фантастика в ла-платской глуши* [3]

Эстерхази Петер. *Исправленное издание.* Приложение к роману "Harmonia cælestis". Перевод с венгерского и послесловие Вячеслава Середы [11]

Стихи

Али Ага Шахид. *Стихи.* Перевод с английского и вступление А. Нестерова и И. Ковалевой [1]

Атенсиа Мария Виктория. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен [8]

Гонсалес Анхель. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Н. Ванханен [12]

Иоанн Павел II. *Римский триптих.* Размышления. Перевод с польского Асара Эппеля [10]

Каттафи Бартоло. *Стихи.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [11]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2003 год [1—12]

Королева Нина. См. Фэйнлайт Рут [4]

Кэй Джеки. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого [6]

Любомирский Карл. *Стихи.* Вступление и перевод с немецкого Е. Соколовой [2]

Майер Лиза. *Стихи из книги "По крышам опять барабанит".* Перевод с немецкого Д. Белякова и Д. Кузьмина [7]

Майрёкер Фридерика. *Стихи и эссе.* Вступление В. Куприянова. Перевод с немецкого Е. Соколовой и В. Куприянова [2]

Мальпика Луис Армента. *За спиной Бога.* Фрагменты поэмы. Перевод с испанского А. Щетникова [12]

Моушен Эндрю. *Стихи.* Перевод с английского и вступление М. Калинина [7]

Риди Джерард. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого [11]

Саид. *Стихи.* Из сборника "Будь ночью мне. Стихи о любви". Перевод с немецкого Е. Колесова. Вступление Андрея Битова [9]

Симик Чарльз. *Стихи из сборника "Ночной пикник".* Перевод с английского Дмитрия Веденяпина [1]

Стихи поэтов Японии. Танка и хайку [10]

Уэльбек Мишель. *Стихи из книги "Возрождение".* Перевод с французского Михаила Яснова [3]

Фэйнлайт Рут. *Цвет сахарной бумаги.* Поэма. Перевод с английского М. Бородицкой. Нина Королева. *Анна Ахматова — современный миф* [4]

Энценсбергер Ханс Магнус. *Стихи.* Перевод с немецкого С. Морейно [9]

Вглубь стихотворения

Бахман Ингеборг. *Что истинно.* Слова. *Переводы с немецкого. Вступление Елизаветы Соколовой* [2]

Лир Эдвард. *There was a Young Lady of Russia.* Переводы с английского. Составление и вступительная статья Бориса Архипцева [3]

Шимборская Вислава. См. Литературный гид

Из классики XX века

Бенн Готфрид. *Стихи.* Перевод с немецкого С. Морейно [9]

Бернхард Томас. *Племянник Витгенштейна.* История одной дружбы. Перевод с немецкого и послесловие Т. Баскаковой [2]

Додерер Хаймито фон. *Рассказы.* Вступление и перевод с немецкого В. Седельника [2]

Янн Ханс Хенни. *Деревянный корабль.* Фрагменты книги. *Глава IV. Буря.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой. Вступление Н. С. Павловой [9]

Литературное наследие

Нодье Шарль. *"Рассказы здравомыслящего насмешника".* Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной [4]

Литературный гид

"Батальное полотно – "он" и "она" в поисках равновесия" [6]

"Нобелевская библиотека" [5]

"Уснуть и видеть сны..." [12]

Алейсандре Висенте. *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Бориса Дубина [5]

Берньер Луи де. *Клад Мамаситы.* Рассказ. Перевод с английского Ильи Кормильцева [12]

Брюкнер Паскаль. *Новая война за самоопределение (Мужчины и женщины).* Фрагменты книги "Искушение невинностью". Перевод с французского Н. Хотинской [6]

Вайнштейн Ольга. *Мужчина моей мечты – этюды по истории тела* [6]

Гомес де ла Серна Рамон. *Новая теория сновидений.* Эссе. Перевод с испанского Е. Матерновской [12]

Горбачева Мария. *Жизнь есть сон...*

Грэм Грин. *Мой Собственный Мир.* Фрагменты книги. Перевод с английского Е. Зиминой [12]

Дубин Сергей. *Колдунья, дитя, андрогин: женщина(ы) в сюрреализме* [6]

Зингер Исаак Башевис. *Рассказы.* Перевод с английского Д. Веденяпина [5]

Кайуа Роже. *Чары и проблемы снов. Онейрический образ. Образ претерпеваемый и завораживающий.* Перевод с французского С. Зенкина [12]

Картер Анджела. *Алисон смеется.* Эссе. Перевод с английского А. Борисенко [6]

Кертес Имре. *Эврика!* Стокгольмская речь. *Два эссе.* Перевод с венгерского Вячеслава Середы и Елены Малыхиной [5]

Найпол В. С. *Полужизнь.* Роман. Перевод с английского В. Бабкова [5]

Пас Октавио. *Сыны праха.* Глава из книги. Перевод с испанского Татьяны Ильинской [5]

Перек Жорж. *Темная лавочка.* Фрагменты книги. Перевод с французского Ирины Радченко. Вступление Бориса Дубина. Роже Бастид. Послесловие к французскому изданию [12]

Табукки Антонио. *Сны о снах.* Главы из книги. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой [12]

Толстая Татьяна. *Зверотур.* Эссе [12]

Хини Шеймас. *Стихи.* Эссе. Перевод с английского и вступление Григория Кружкова [5]

Шварц Делмор. *Сны порождают обязательства.* Рассказ. Перевод с английского Л. Беспаловой [12]

Шимборская Вислава. Вглубь стихотворения. *Две обезьяны Брейгеля.* Утопия. Тень. Переводы с польского [5]

NB

Йонсон Уве. *Я о себе самом.* Рассказы. Из переписки Уве Йонсона и Макса Фриша. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Предисловие Павла Топера [9]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2003 год [1—12]

Ривас Мануэль. *Карандаш плотника.* Роман. *Рассказы.* Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой. *Вместо послесловия. Мануэль Ривас: из интервью разных лет.* Перевод с испанского Н. Богомоловой [11]

Документальная проза

Конвицкий Тадеуш. *Памфлет на самого себя.* Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской [5]

Поссе Абель. *Пражские тетради.* Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко [4]

Роуз Филлис. *Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс.* Фрагменты книги "Сравнительные жизнеописания". Перевод с английского А. Бураковской [3]

Хоффман Эва. *Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке.* Перевод с английского А. Борисенко [1]

Эмис Кингсли. *Мемуары.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [10]

Эпистолярий

Кафка Франц. *Из писем Фелиции Бауэр. 1912–1913.* Вступление, перевод с немецкого и примечания М. Рудницкого [2]

Портрет в зеркалах

Мануэль Пуиг [10]

Говорит Мануэль Пуиг. Из интервью разных лет. Перевод с испанского Антона Ильинского [10]

Дубин Борис. *От составителя* [10]

Кабрера Инфанте Гильермо. *Страсть и поэзия.* Перевод с испанского Бориса Дубина [10]

Ливайн Сьюзен Джилл. *Читая Мануэля Пуига: взгляд биографа.* Перевод с английского Антона Ильинского [10]

Мартинес Томас Элой. *Смерть – это уход навсегда.* Перевод с испанского Бориса Дубина [10]

Пиглья Рикардо. *Мануэль Пуиг и магия повествования.* Перевод с испанского Антона Ильинского [10]

Сперанса Грасиела. *Необъяснимая улыбка.* Перевод с испанского Бориса Дубина [10]

Публицистика

Хитцер Фридрих. *Короткие замыкания и переменные токи.* Эссе о терроризме и антитерроризме. Перевод с немецкого Н. Федоровой [9]

Статьи, эссе

Апдайк Джон. *Памяти Р. К. Нарайана.* Два эссе о творчестве Нарайана. Перевод с английского и вступление Н. Демуровой [7]

Борисенко Алексадра. *Иэн Макьюен – Фауст и фантаст* [10]

Борисенко А., Демурова Н. *Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы* [7]

Бродский Иосиф. См. Каласссо Роберто [8]

Грубер Марианна. *Два плюс два лишь изредка четыре.* Перевод с немецкого Е. Кацевой [2]

Демурова Н. См. Борисенко А. [7]

Каласссо Роберто. *Брак Кадма и Гармонии.* Глава из книги. Иосиф Бродский. Вместо предисловия. Перевод с английского Е. Касаткиной [8]

Ли Джоан Фон Джин. *Азиатоамериканцы рассказывают о себе.* Фрагменты книги [1]

Манн Томас. *Генрих фон Клейст и его повести.* Перевод с немецкого и вступление С. Апта [9]

Мельников Николай. *"Чудовищная проза" Джона Барта* [4]

Набоков Владимир. *"Знаете, что такое быть знаменитым писателем?.."* Из интервью 1950—1970-х годов. Составление и предисловие Н. Г. Мельникова. Переводы с английского, французского и итальянского [7]

Николаева Н. *Японское искусство в суждениях Ван Гога* [3]

Саид Эдвард. *Мысли об изгнании.* Перевод с английского С. Силаковой [1]

Соколова Е. *С Востока на Запад и обратно.* Литература Германии после объединения [9]

Сонтаг Сьюзен. *Болезнь как метафора.* Перевод с английского Марка Дадяна [8]

Тлостанова Мадина. *Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми* [1]

Хвин Стефан. *Воспитательница с Тверской.* Перевод с польского К. Старосельской [3]

Зрительный зал

Старосельская Наталья. *Философские щипцы* [3]

Наши интервью

Василий Аксенов: "Американским писателем я не стал" [1]

"Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое..." С австрийской писательницей Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов [2]

Ингрид Нолль: "Женщина как личность мне интереснее мужчины..." [9]

Полный словарь английской поэзии. Наташа Спендер: "Стивен был потрясающе независтливым человеком". Беседует Глеб Шульпяков [7]

Наши гости

Шандор Каняди: "Все другие края для меня – океан; моя суша, моя земля – здесь". Вступление и запись беседы Л. Васильевой.
Шандор Каняди. *Куплеты о красном трамвае.* Перевод с венгерского Н. Горской [11]

Комментарий

Зверев Алексей. *Шутовство с петлей на шее* [5]

Возвращаясь к напечатанному

Лазарев Л. — *"А по пятам война грохочет вслед..."* О "Траектории краба" Г. Грасса [9]

Трибуна переводчика

Киселев Геннадий. — *Ландольфи. Слово. Томмазо Ландольфи. Бекас. Новелла.* Перевод с итальянского Г. Киселева [7]

Ландольфи Томмазо. — См. Киселев Геннадий [7]

"ИЛ": истоки и история

Вестник иностранной литературы, 1901–1908 [5]

Среди книг

Адельгейм Ирина. — *"Непереводимая игра слов (прим. перев.)"* [8]

Балакина Антонина. — *Рим всюду* [9]

Баскакова Татьяна. — *Ажиотаж вокруг фройляйн Штарк* [4]

Богомолов Николай. — *Русская сторона души* [11]

Бондарчук Дарья. — *Спасительная близость* [7]

Борисенко Александра. — *Американская дочь* [3]

Драйтова Элина. — *Безумная Женщина в белом на рубеже веков* [9]

Драйтова Элина. — *Книги и люди: взгляд из Германии* [9]

Дубин Борис. — *В сердце Европы, к Востоку от Запада* [3]

Ермонский Андрей. — *...и Африка нам не нужна?* [5]

Зенкин Сергей. — *Меланхолический пророк* [11]

Кузнецов Сергей. — *Без пяти 1984* [9]

Медведева Ольга. — *Стихи и судьбы* [3]

Мельников Николай. — *Смешной недуг мистера Эндерби* [8]

Романова Алиса. — *"Невидимый город" Алессандро Барикко* [5]

Стаф Ирина. — *Память культуры* [7]

Табак Мария. — *Один путь к свободе* [7]

In memoriam [7]

Курьер "ИЛ" [2, 3, 5—12]

Австрийская литература на страницах "ИЛ" [2]

Немецкая литература на страницах "ИЛ" [9]

Авторы номера [1—12]

Наша почта

"There was a Young Lady of Russia" Эдварда Лира [12]

Анкета + Чайнворд [12]

Дорогой читатель!

Мы снова обращаемся к Вам. Нам очень важно знать Ваше мнение. Надеемся на Ваш отклик.

1. С какого года Вы читаете "ИЛ"?

2. Какие публикации двух последних лет (2002—2003 гг.), в том числе и малых форм — новеллы, стихи, эссе, — Вы считаете наиболее удачными?

3. Назовите наши наименее удачные публикации.

4. Как Вы относитесь к специальным номерам и "Литературным гидам"?

5. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал: лучше, хуже...

(Подчеркните нужное или, по возможности, дайте свое определение. Прокомментируйте Ваше мнение.)

6. Произведения каких зарубежных авторов Вы хотели бы видеть в выпускаемой издательством “Иностранка” серии “ИЛлюминатор” (Библиотека журнала “Иностранная литература”)?

7. Предполагаете ли Вы выписывать наш журнал и впредь?

8. И немного о себе: возраст, пол, образование, профессия и все, что сочтете важным и интересным.

Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию; если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке, мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка, как, впрочем, и ответы на чайнворд.

Среди тех, кто пришлет ответы на анкету, мы разыграем 20 книг из серии “ИЛлюминатор” (Библиотека журнала “Иностранная литература”)

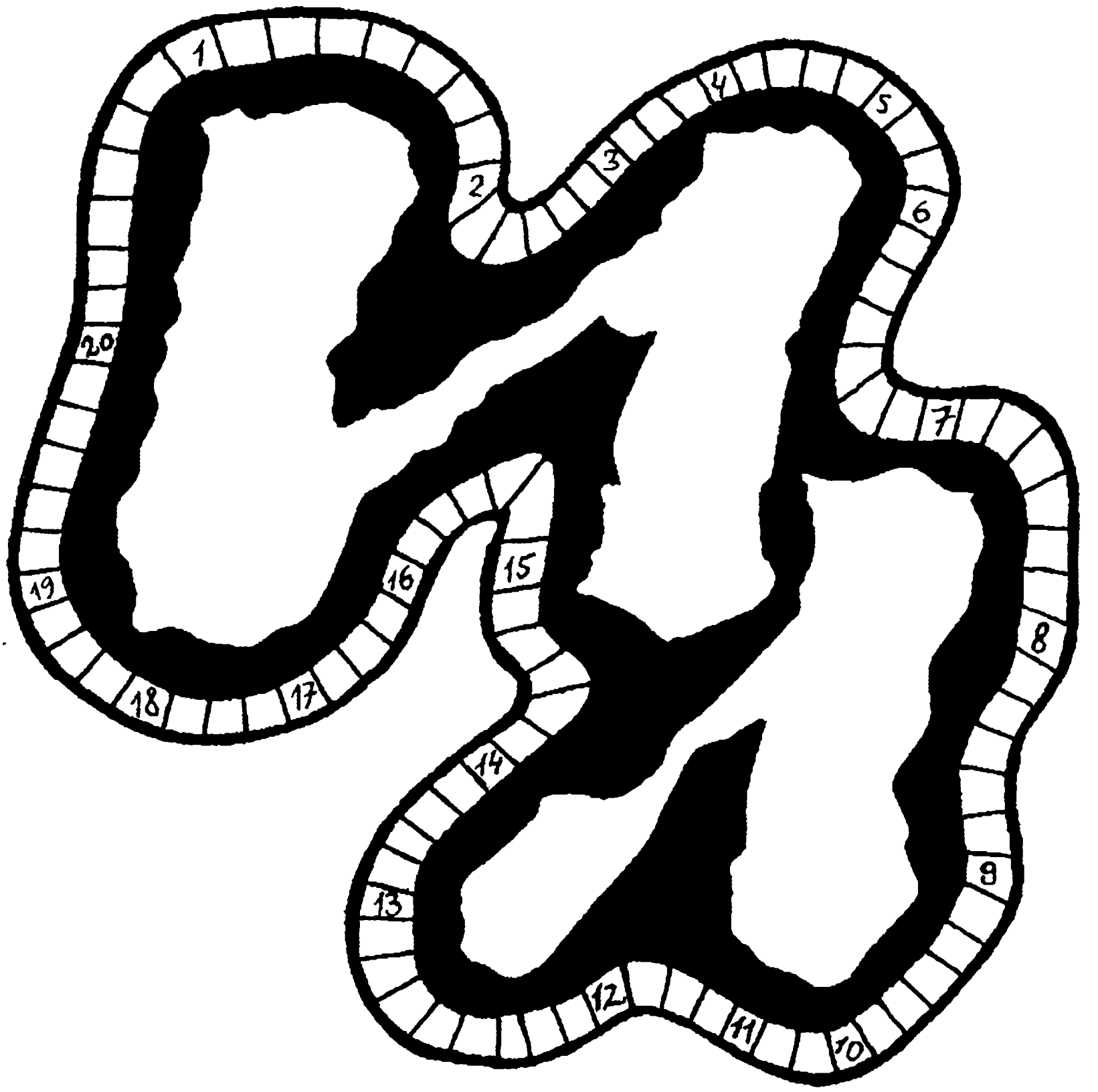
А десять бесплатных подписок на 2004 год мы разыграем среди тех читателей, кто разгадает наш чайнворд.

Благодарим Вас за участие.

Чайнворд–2003

Вопросы

1. Автор журнала, чьим именем названа премия, ежегодно присуждаемая за лучший перевод с французского.
2. Писатель, поэт, драматург, недавно посетивший редакцию.
3. "По 'образу чувств' я мадьяр, по видению мира, по складу ума — валах". (Автор высказывания.)
4. "... вернулся?" (Название романа.)
5. Неодушевленный предмет, от лица которого ведется повествование в романе английского писателя.
6. Имя автора романа "Бог мелочей".
7. Известный русский прозаик, выступивший на страницах журнала как переводчик стихов.
8. Автор романа о конце света и о черной магии.
9. Двуязычный писатель, чьи произведения в переводе с обоих языков публиковались в "ИЛ".
10. Персонаж пьесы Павича.
11. Русский писатель, пишущий и по-французски, лауреат Гонкуровской премии и премии Медичи.
12. Журнал, называющий себя "лучшим в мире".
13. Классик мировой литературы, чьи романы публиковались в "ИЛ" с 1956-го по 2000 год.
14. Стихотворение Набокова, представленное в журнале в четырех русских версиях.
15. Русский писатель, так и не ставший по его собственному признанию, американским писателем.
16. Автор "Медеи".
17. Рот, но не Йозеф.
18. "Как можно жить долго и счастливо, если не пить?" (Автор сентенции.)
19. Автор романа о влюбленных, никогда не видевших друг друга.
20. Один из переводчиков стихов Ага Шахида Али.



rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент картины
бельгийского художника
Поля Дельво [1897—1995]
Эхо [1943].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
в Санкт-Петербурге — в магазине
издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15,
тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

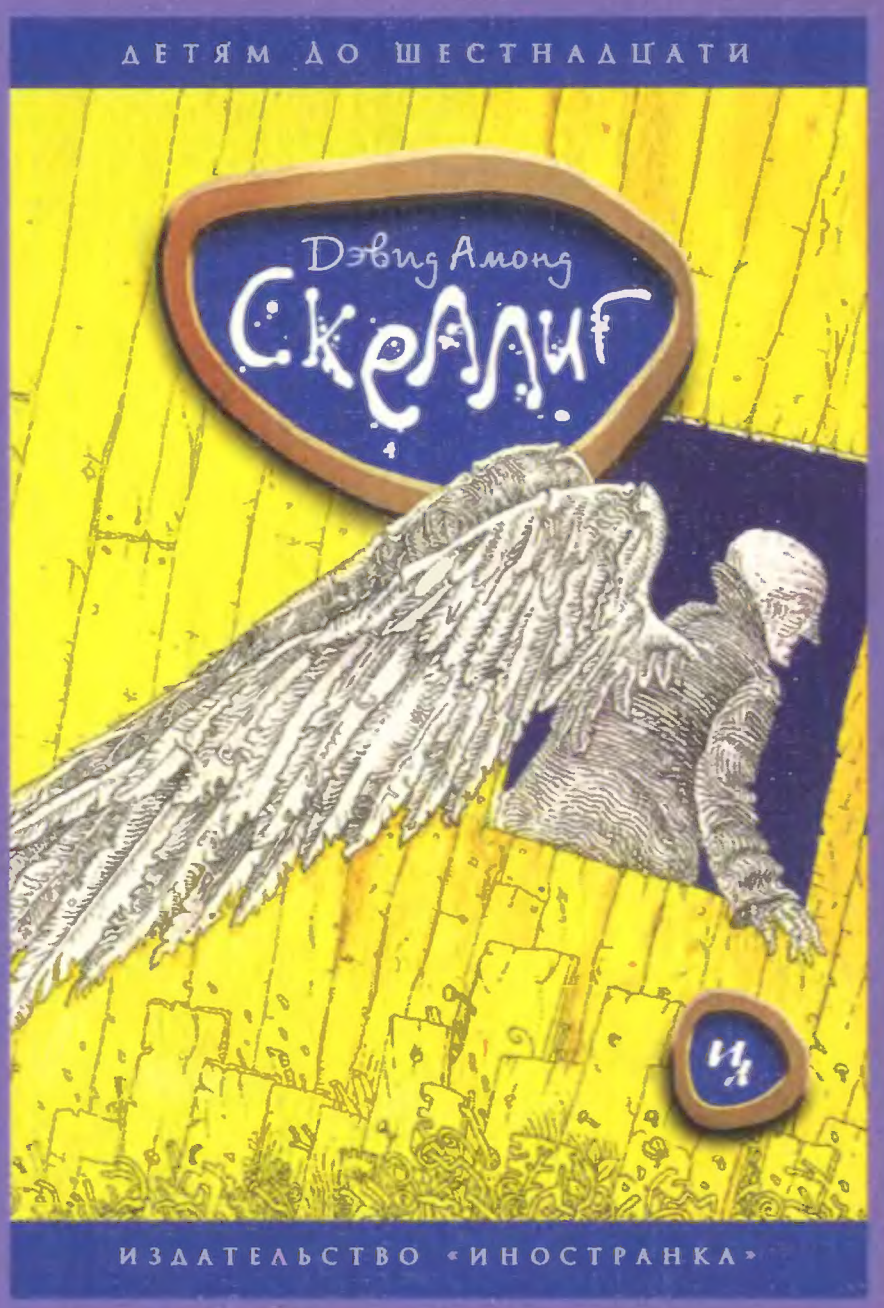
Подписано в печать 15.8.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2234.
Тираж 8 600 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[1] 2004

РОМАН ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА “ЖЕЛЕЗО, РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО” / ПОВЕСТЬ ПАВЛА ХЮЛЛЕ “МЕРСЕДЕС-БЕНЦ” / СТИХИ ЯН ЛЯНЯ / РАССКАЗЫ ГОВАРДА ФАСТА, МАРИ ДЕПЛЕШЕН, ЛУИДЖИ МАЛЕРБЫ / СТИХИ МЕРВИНА ПИКА, ЭССЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / “ИЛ”: ИСТОКИ И ИСТОРИЯ

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»

ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №12, 1-258